Эшелон (Дилогия - 1)

Олег Смирнов

SHOUT
SHARE
IT

- Смирнов Олег

Смирнов Олег
Эшелон (Дилогия - 1)

Олег Павлович Смирнов

ЭШЕЛОН

Роман Олега Смирнова "Неизбежность" посвящен финальным событиям второй мировой войны, ее "последним залпам"- разгрому и капитуляции японской армии в 945 году. Стремясь к сознанию широкой панорамы советскояпонской войны, писатель строит сложное, разветвленное повествование, в поле действия которого оказываются и простые солдаты, и военачальники.

В помане "Эшелон" писатель рассказывает о жизни советских воинов в период между завершением войны с фашистской Германией и начадом воины с империалистической Японией.

1

В Германии цвели сады, и я крутил любовь. Иные солдатики так и говорили: крутит любовь. Возможно. Потому что происходящее у нас с Эрной, кажется, не назовешь серьезной, большой любовью, которую испытывают или питают и о которой писано в книгах. По крайней мере с моей стороны такой красивой, книжной любви не замечалось. А может, не очень вдумывался, понесло-закрутило, глубоким анализом будем заниматься какнибудь после.

И об Эрне ничего определенного сказать не могу. Она радовалась, когда я приходил к ней, печалилась, когда уходил. Этого достаточно для любви? Не уверен. Да и что за любовь может быть между немкой, потерявшей отца под Сталинградом, и советским офицером, чья мать расстреляна гестаповцами в Ростове? Но вообще-то мне с Эрной было неплохо, вовсе неплохо.

Я навещал Эрну часто: днем - чтобы перебросится несколькими словами с ней, с ее матерью, принести им чего-нибудь поесть, ночью - чтобы остаться до рассвета. Я знал, что их комнатки на втором этаже не заперты - нарочно для меня, - осторожно нажимал плечом на тяжелую дубовую дверь, на цыпочках шел в угол, к кровати Эрпы. Она не спала, ждала. А мать по соседству то ли спала, то ли притворялась спящей. Сперва присутствие матери за стенкой смущало, тревожило, потом попривык.

А началось все это так. 9 апреля мы штурмом взяли Кенигсберг - под конец войны досталось разгрызть твердый орешек, немало там под занавес погибло нашего брата, немцев - еще больше. Сопротивляться для них было бессмысленно, город

был окружен, блокирован, однако они отвергли капитуляцию, пришлось штурмовать. Грохот бомб и снарядов, рев танков, команды "Вперед!", крики раненых, бесчисленные пожары - горели вроде бы и каменные степы серых мрачных зданий, и бетонные форты, и брусчатка мостовых, - черная смердящая пелена стлалась над городом-крепостью, над тусклой балтийской водой. Хоронясь за броней тридцатьчетверок, мы, пехота, шаг за шагом, квартал за кварталом продирались по улицам, выкуривая из окон пулеметчиков и тотальников с фаустпатронами, подрывая гранатами "ферднкандов"; фаустниками были совершенно бешеные молокососы из "гнтдертогенда", по пятнадцати-шестнадцати лет, а самоходные установки так и норовили садануть по нашим танкам. Уличные Поп закончились на территории госпиталя, невероятно огромного - он уходил и под землю, - и везде в палатах, наверху и Б подземелье, па двухъярусных копках лежали мертвецы, видать, во время многодневной осады было не до раненых, и они мерла бескровные лица, остекленелые глаза, ни одного живого.

В газетах я прочел, что заявил па допросе плененный комендант крепости генерал Отто Ляш. его слова я переписал в свои блокнотик: "Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, быстро падет. Под Кенигсбергом мы потеряли стотысячную армию. Потеря Кенигсберга - это утрата немецкого оплота па Востоке..." Быстро или не быстро, но Кенигсберг пал к исходу четвертых суток непрерывных штурмовых боев, командир стрелкового взвода лейтенант Глушков это подтверждает.

Лейтенант Глушков также подтверждает: этот самый генерал Ляш не принял предложение командующего Третьим Белорусским фронтом маршала Василевского о капитуляции, однако попросил, чтоб мирному населению позволили выйти из Кенигсберга до открытия огня. Видали гуманиста? А тысячи немецких солдат должны были превратиться в то, что называется пушечным мясом, да и паша кровушка прольется, когда начнем штурм... Советское командование согласилось, хотя с толпами горожан у нас в тылу могли оказаться и солдаты, и это грозило опасностью, фашисты есть фашисты, от них любой пакости жди. По с гражданскими мы не воюем, ото гитлеровцы вытворяли над нашими гражданскими - вспомнить страшно, полютовали всласть. Так что гуманизм как раз за нами, и толпы женщин, детей, стариков потянулись из осажденного города по "коридору", который был для того установлен. А потом был штурм, кровь с обеих сторон...

И знаете, что еще показательно? Гитлер впал в ярость, когда

ему доложили о падении Кенигсберга, который он объявил абсолютно неприступным бастионом немецкого духа, лучшей немецкой крепостью за всю историю Германии. И бесноватый фюрер приговорил Лягаа заочно к смертной казни. Мне рассказывал про это замполит батальона Трушин, а ему - знакомые ребята из седьмого отдела политуправления. Может, выдумывают? За сколько купил, за столько и продаю. Но похоже па правду. Вот так-то, верноподданный генерал Отто Ляш, такие-то делишки. Между прочим, в городе и пригородах мы захватили около девяноста двух тысяч пленных, из них тысячу восемьсот офицеров и генералов, свыше трех с половиной тысяч орудий и минометов, около ста тридцати самолетов и девяноста танков, что же касается автомашин, тягачей и тракторов, так их и подсчитать трудно было. Впечатляет?

Назавтра после овладения Кенигсбергом наш полк и вся дпвпзия вместе с другими частями и соединениями прошли по дымящимся руинам. Нас вывели в ельник на берегу залива. Мы и город-то толком не осмотрели. Побывали лишь в порту, где у причалов торчали полузатопленные суда, по пути набрели на памятник Канту, тому самому философу, что пустил по миру знаменитую "вещь в себе". На развороченных, присыпанных кирпичной пылью и битым стеклом улицах уже работали возвратившиеся жители Кенигсберга - расчищали проезды, разбирая груды кирпича. Немцы в принципе народ со здравым смыслом. Поняли, что власть переменилась, и, коль советский комендант приказал выйти на расчистку, вышли. Хотя попадаются всякие немцы. В подвале мои солдаты захватили в плен раненого фаустнпка. Я ему сказал:

- Зачем сопротивлялись? Ведь не было же никакой надежды, крови сколько лишней пролито...

Юнец окрысился, прошипел:

- Вы же сопротивлялись под Москвой...

- Тогда война начиналась, сейчас кончается.

Не знаю, дошло ли до него. Потупился, отвернулся. Возможно, принял меня за немца. Я высок, рус, голубоглаз - прямо-таки арийская раса, - чешу по-немепки, и многие пленные почему-то принимали меня за немца-перебежчика. Немецкий я изучал еще до войны, частным образом, на фронте напрактиковался и вот теперь владею тремя языками: русским, немецким и матерным - опять-таки на фронте овладел им в совершенстве.

Ну, потопали мы из города. Он и под апрельским солнцем оставался темной, угрюмой, камешю-враждебной громадиной. Пока топали по окрестным дорогам, на кого не надивились: в

беретах и лыжных шапочках, закутанные в пледы и в полосатых лагерных куртках, на ногах деревянные башмаки и подвязанные проволокой боты; все бледные, кожа да кости, пошатываются от морского ветра; русские слова и английские, французские, польские, чешские и еще бог весть какие. Вавилонское столпотворение! Негра видел, не вру! Дороги запружены этими толпами бредущих пз угона, из концлагерей домой, на родину. У каждого своя родина.

Негр, надо полагать, возвращается в Африку.

Да, вывели нас в лесок, за песчаным пляжем, за дюнами - плеск балтийской волны. Только поставили мы шалаши из еловых веток, только принялись вылавливать по округе фашистских недобитков - и слова марш, порядочный, километров за семьдесят от Балтики. Но рубить лапник на шалаши не пришлось - полк разместился в довольно-таки уцелевшем городишке. Мой взвод занял дом почти на самой окраине, сселив хозяев - мать и дочь - в две комнатушки наверху, на втором этаже поселился и я со своим ординарцем.

Ну, а в Германии, точнее - в Восточной Пруссии, действительно вовсю зацвели сады. Будто бело-розовые облачка повисли на яблонях, вишнях, сливах. От них явственно пахло медом. Над цветущими деревьями кружились пчелы, и казалось, что это ив они гудят, что гудит сам прозрачный, прогревшийся воздух. Словно не пахло совсем недавно дымом, взрывчаткой, разлагающимися трупами, словно небо не гудело от самолетов. Солнечно, синё, нет дымных пожарищ, нет взрывов. Как-то странно, пожалуй.

Да что же странного? Война-то для меня окончилась. Разумом понимаю, а сердце как-то не верит: неужто позади четыре года боев, крови, смертей? Вот-вот добьем фашистского зверя в его логове, в Берлине, - и войне конец. Всей войне конец! За победу плачено немало, но Родина спасена, но освобождена Европа! Мы спасли, мы освободили. Мы - это я и такие, как я. Народ. Да, о народе надо говорить, а не о себе. Но я ведь - тоже народ? Хотя народ в моем представлении - нечто огромное, могучее, непобедимое и прекрасное, я же всего-навсего отдельно взятый человек со своими слабостями и недостатками...

И вот я - отдельно взятый человек - остался жив! После такой-то войны! Как говорит ротный старшина, обалдеть можно.

И я не то что обалдел, но голова кружится - это точно. Кружится от желания жить и любить. Да, и любить, черт подери! Мне же всего двадцать четвертый...

В эти-то апрельские денечки я и повстречал Эрну. Иногда кажется: от меня нынешнего, распираемого радостью, будто некое

излучение, будто я испускаю некий постоянный и яркий лучик.

Эрна увидела луч, пошла на него, и я увидел ее. Мы увидели друг друга так замкнулось кольцо...

Эрну с матерью оставили в этом доме по личному распоряжению командира полка - в порядке исключения, как объяснил мне ротный. А чего объяснять? Я понимал: цивильным немцам и нашим воякам жить вместе не положено, местным выделили домов двадцать - на всех, братья-славяне заняли остальные, но мать Эрны больна, что-то с ногами, почти не встает. Не перетаскивать же ее? Пусть лежит в соседней комнате, никому не мешает. Кроме меня. И то я уже отчасти свыкся с ней.

Обычно гражданские немцы - это были дети, женщины, старики (другие мужчины, помоложе, мне ни разу не попадались) - эвакуировались заранее, до боев, а когда наши наступающие части нагоняли их где-то западнее, они возвращались на свои места. Измученные, вышибленные из привычных житейских условий, напуганные и чаще равнодушно-покорные, они плелись, таща скарб на санках зимой, на колясках весной. Эти толпы встречались с толпами освобожденных иностранцев, и нередко те пытались сводить счеты, и немцы просили защиты у советских солдат, и нам приходилось урезонивать пылких французов или обидчивых поляков. А по правде, не очень хотелось защищать немцев.

С какой стати оберегать от справедливого гнева?

Зима здесь была мягкая, сырая, туманная, как выразился ротный гриппозно-тифозная. Тиф, понятно, ни при чем, насморк же схватить либо ангину вполне можно было бы. Однако удивительно: на войне я - с моей носоглоткой - совершенно не болел.

Что же касается весны в Восточной Пруссии - иной разговор.

Она не по-немецки бурная, щедрая на солнце, тепло, зелень, и воздух пропах медом и хмелем, и голова покруживалась, будто хватил чего-то крепкого. В мае уже можно было загореть вовсю, будь свободное время. Но его, как на грех, не было: то, что на войне удавалось далеко не всегда, теперь завертело нас, закружило, наслаиваясь, - занятия по боевой и политической подготовке, в классах и в поле, партийные, комсомольские, солдатские, офицерские собрания, совещания, слеты, семинары. Вдобавок баня, стирка, обшивка, утренняя и вечерняя поверка, караульная служба, полковые и дивизионные смотры. Вдобавок - ночные тревоги, когда взвод поднимали "в ружье": где-то на кого-то нападали террористы из тайной фашистской организации "вервольфов", по-русски "оборотней", мы бежали или ехали машинами к месту происшествия и никаких "оборотней" не

заставали. Сдается, что не менее половины этих тревог были ложными.

При тревоге мой ордпыарец сперва по-мышиному скребся ногтями в дверь, затем стучал костяшками согнутых пальцев и затем дубасил кулачищем. После этого я вскакивал как ошпаренный! Помотавшись по лесу и не обнаружив "оборотней", мы возвращались в городишко, и я опять возвращался к Эрне. На своей постели в соседней комнате я ночевал считанное число раз, к неудовольствию ординарца и многих других. Шут с ними! В конце концов, имею на это право.

Впервые я увидел Эрну в тот день, когда мы вселялись. Солдаты галдели, гремели сапожищами, хлопали дверьми. Эрна с матерью не показывались, сидели у себя. Я вошел к ним без стука, властью победителя, и тотчас пожалел о своей бесцеремонности:

фрау Гарниц вздрогнула под пуховой периной, которой была укрыта по подбородок, и Эрна вздрогнула всем телом, полуодетая: в брюках и без кофточки, в куцей комбинашке. По-немецки я пробормотал извинения. Мать кивнула, любезнейше улыбнулась. Эрна поспешно надела через голову кофту, пригладила волосы. Они были медно-красные, в мелких завитушках и настолько жесткие, что мне вдруг захотелось поколоть о них ладони.

"Нелепое желание", - подумал я и назвал себя. Немки тоже представились. Эрна сделала книксен. Поклон с приседанием! Этого еще не хватало, этих благородных манер, черт бы их побрал.

Я сказал немкам, что был рад познакомиться (так рад, что дальше некуда), что мы не стесним хозяек (они нас стесняли, а не наоборот), что мы будем видеться и беседовать (век бы их не видеть, а беседовать - о чем?). Споткнувшись об угольные брикеты, наваленные у двери, вышел в коридорчик.

Мне запомнились не одни медно-красные жесткие волосы, по и пушок над верхней припухлой губой, и тонкая белая шея, и маленькие торчливые груди. Эрне было лет семнадцать или восемнадцать, не больше. В сущности, девчонка - с покорным и грустным взглядом.

В госпитале - я уже был ходячий - меня удостоила своим вниманием старшая сестра Марина. По должности была старшей, но по возрасту моложе остальных сестер, она именовала их, тридцатилетних и сорокалетних, старухами и нещадно гоняла. А с рапбольными обходительная, даже поблажки им давала. Была Марина холостячка: кто говорил, что муж пропал без вести на фронте, кто - будто разошлись они. Фигуристая, в глазах вечно какой-то голод.

На Октябрьский праздник Марина пригласила меня в компанию: сестры и врачихи - с хахалями, врачи - с законными супругами, я - неизвестно в качестве кого. Наверно, как будущий хахаль. И вот на этой вечеринке, едва собрались, Марина словно забыла о моем существовании и стала заигрывать то с одним мужиком, то с другим, то с третьим. Я уставился в тарелку, баюкая раненую руку, - остриженный под машинку, худой, бледный, жестоко терзающийся из-за женского коварства. А я-то, дурень, опасался, что Марина сразу, без подготовки, начнет обращать меня в хахаля! О женщины! Но ничего, ничего... Под конец вечеринки она вспомнила обо мне, прижалась, шепнула: "Ночевать у меня будешь?" Я гордо отодвинулся, с ледяным презрением сказал: "Вы не по адресу обратились, мадам". Она пьяно засмеялась: "Брось, не сердись! Прости!" Однако простить я уже не мог. Страдая от обиды и унижения, избегал ее вплоть до выписки. А выписался из госпиталя - перестал страдать и вскоре вообще запамятовал старшую сестру Марину, фигуристую, у которой муж то ли без вестп пропал на фронте, то ли оставил ее.

Вечером я вновь заглянул к немкам. Фрау Гарниц лежала лпцом к стене, не подавая признаков жизни. Эрна сидела перед матерью на стуле, ссутулившаяся, съежившаяся, в халатике. Я скадал: "Абенд!" - и в этом заключался некоторый шик. Потому что.

как я заметил, немцы произносят не "гутен абенд!" ("добрый вечер!"), чему пас учили в русских школах, а разговорное, короткое "абенд!", то есть "вечер!". В данном случае я выглядел истинным немцем. Но на Эрну это не произвело впечатления. Она привстала, сделала свой реверанс и опустилась на стул, глядя на меня с равнодушной безропотностью.

Не ожидая приглашения, я присел и стал рассуждать о погоде, о садах и о прочих нейтральных вещах. Эрна зябко куталась в халат, хотя в комнате было тепло, душно, кивала и покачивала головой - от нее словно исходило жаркое сияние. А потом зевнула, запоздало прикрыв рот ладошкой. И я рассердился, умолк.

Распинаюсь тут перед этой фрицихой, а она изволит зевать во всю пасть, ей, видите ли, неинтересно. С кем? С офицером-победителем, с офицером-освободителем!

Она пошла к себе, и я, будто против своей воли, будто привязанный, поплелся за ней.

- Господин лейтенант, - сказала Эрна, - вы прекрасно владеете моим родным языком.

"Следом задаст вопрос, не фриц ли я", - подумалось мне, но Эрна об этом не спросила.

- Вы меня перехваливаете, фрейлейн, - сказал я. - Как благовоспитанная хозяйка...

Она перебила:

- Господин лейтенант, я вынуждена быть благовоспитанной.

Чувствуя, что разговор принимает щекотливый характер, я постарался сменить тему. Кашлянул и сказал невпопад:

- А мне уже двадцать четвертый год...

Она пожала плечами, в глазах вежливое безразличие. Олух царя небесного, чего тут пасусь? Сгинуть надо - и побыстрей.

Тонге мне. кавалер нашелся.

Я собрался было встать, распрощаться и внезапно упал вместе с охнувшим стулом. Вскочил, огляделся. Эрна сказала:

- Извините, стул рассыпался, старый.

- Дряхлый, рассохся, - согласился я, потирая ушибленный зад.

Эрна всплеснула руками, рассмеялась коротко. Я посмотрел на нее, сдерживавшую смех, и, вместо того чтобы разозлиться, также засмеялся, и мне стало как-то легко. Я собрал стул, но пользоваться им поостерегся, присел на табуретку.

Болтал о том о сем, шутил, как мне представлялось, удачно и, разболтавшись, незаметно для себя тронул Эрну за коленку. Честное слово, без умысла. А она, закусив губу, встала и распахнула халат. Я обалдел. Мне впору было зажмуриться, однако я этого не сделал. Сказал негромко:

- Что вы, Эрна? Вы меня неправильно поняли.

Она оправила халатик, в растерянности уставилась на меня.

Мне было скверно. В соседней комнате на подушке покоилась голова фрау Гарпиц в чепчике - небось догадалась, что произошло.

Собственно, ничего не произошло. А могло, не будь я рохлей.

Я повторил:

- Вы ошиблись, Эрпа. - После паузы поучающе добавил: - Советские воины не требуют от немецких женщин...

Чего те требуют, не решился обозначить, запутался и умолк.

Вот тут-то разозлился всерьез, по-настоящему, - на Эрну, на себя, на ее мать, на ординарца Драчева, заявившегося звать меня на ужин. Ах, лейтенант Г лутков, кто тебя разберет - то ты прямолинейный, правильный, то неуравновешенный, смутный человек!

Я встал, поклонился и вышел. Меня провожал робкий, жалкий, незащищенный взгляд.

В своей комнате я отчитал Драчева за холодную кашу, хотя она не остыла, за толсто нарезанный хлеб, хотя ординарец всегда так резал, за грязный подворотничок, хотя ординарец и раньше не бывал пристрастен к чистым подворотничкам, разумея:

несправедливо это, глупо, ненужно. Ковырял в котелке - гречневая каша с консервированным мясом, брал с тарелок трофейный харч:

французские шпроты и колбаса, голландский сыр, - прикладывался к бутылке с немецким портвейном. Я пил, жевал и думал:

"Ну и немочки, запросто у них все это... Впрочем, что мне? Но какая она все-таки худенькая, бледная, Эрна. Что они едят с мамашей? Ведь с едой у цивильных не шибко..."

Вспомнил, как глядела Эрна - пришибленно, беззащитно, и подумал, что не худо бы ординарцу отнести немкам чего-нибудь поесть. Мы нынче богатые, трофейчики имеются, не обеднеем. Да и офицерский дополнительный паек вчера получен: сардины, слпвочное масло, печенье.

Но к хозяйкам я отправился сам. Допив портвейн и оттого повеселев, завернул в газету колбасу, сыр, печенье, подхватил котелок с кашей. Фрау Гарниц не спала, встретила меня любезно.

Эрна окинула беглым, косвенным взглядом и потупилась. Я сказал как ни в чем не бывало:

- Прошу угощаться. Как говорится у нас, у русских, чем богаты, тем и рады.

Мамаша стала отнекиваться. Эрна теребила поясок халата.

Я поставил котелок на стол. Наконец мамаша сказала:

- С благодарностью примем это, если вы, господин офицер, разделите с нами ужин.

- Разделю. - Я развернул сверток с припасами. - За компанию, как опять же говорят русские.

Вот так я стал наведываться к ним, подкармливать. Но вообще угощения эти были на взаимной, что ли, основе: у немок в подвале вдоволь картошки, и мы жарили ее на американском лярде - недурно!

Не скрою: я жалел Эрну, молоденькую, угловатую, робкую.

Мамашу - с ее обнаженной предупредительностью, со слащавыми улыбками терпел. По совести, иногда и к ней, больной, прикованной к постели, чувствовал некую жалость: живой человек, женщина к тому же.

Мать к тому же! Ты это понимаешь, Глушков? Как не понимать. Когда-то у самого была мама. Которую расстреляло гестапо.

Прости, мама, что не уберег тебя. От немцев, от гестапо. Нет, не так. Я, конечно, не смешиваю в кучу немецкий народ и гестапо.

Иначе бы по-другому относился к этим двум немочкам. Нельзя смешивать, нельзя! Да и досталось гражданским немцам

от войны. Не от нас - от войны, развязанной Гитлером. А гражданские - это старики, женщины, дети. Я считаю: слабых не обижай...

Прошло несколько дней, мы как-то притерлись друг к другу.

И однажды вечерком, после припозднившегося ужина, я засиделся у немок. Мать по своему обыкновению отвернулась к стенке, будто все не могла налюбоваться тирольским ковриком - вельможные особы верхом выезжали из замка на соколиную охоту.

Эрна и я, примостившись у столика, чинно беседовали: я рассказывал, как учился на "пять", она - как училась на "единицу": я уже был наслышан, что в немецкой школе кол соответствует нашей пятерке. Словом, мы были отличники, выражаясь по-нашему.

Она совсем недавно, еще в этом году, училась, пока не пришла война; как я и предполагал, Эрне было восемнадцать. Ну, а я окончил десятилетку аж в тридцать девятом, это было так давпо, что и не высказать. В эти минуты я сам себе казался многоопытным, пожившим, чуть ли не стареющим. Тем более в сравнении с Эрной.

Так мы говорили, и вдруг возникла долгая и томительная пауза. Мы оба уловили ее значение, потому что опустили глаза, замерли. А потом я, не вставая, обнял Эрну, поцеловал, и она поцеловала меня. Я не думал, что может последовать дальше. Вернее, подумал: сегодня ничего не будет, кроме поцелуев. Но Эрпа прошептала:

- Не сердись, хочу тебя. Хочу испытать это по-настоящему...

О господи, эти слова - испытать и питать - рядом со словом любовь! Да где она, любовь? Какая она? Но руки гладпли нежную женскую кожу, и женщина эта, молодая-молодая, взяла в свои ладони мое лицо, сжала его и повторила:

- Хочу по-настоящему...

Эрна прикрыла дверь в соседнюю комнату, погасила свет, и мы раздевались в темноте, толкаясь, мешая друг другу. Мои пальцы дрожали, дыхание спирало. Эрна легла, а я продолжал возиться с пуговицами и лихорадочно соображал: спит мать или нет, слышит или не слышит? А ну как засечет все это - что будет? На мпг представил: фрау Гарнпц приподымается на локтях и кричит не своим голосом: "Вы что там устроили?" У меня богатое воображение, точно, и не зря комбат не раз внушал мне, что оно мешает воевать. Видимо, не только воевать...

Эрна лежала рядом, обняв меня, и целовала в губы, едва прикасаясь. Я старался не думать о том, что за стеной мать. Мои руки ощущали нежное, податливое тело, и в конце концов я забыл

о фрау Гарниц, обо всем на свете забыл.

А потом опять прислушивался, не ворохнется ли мамаша.

Только что пережитое отходило, блекло, растворялось. В голове - острые осколки мыслей, склеивавшиеся в одну: "Победители не требуют у немецких женщин и не просят, само собой получается?" - и вновь дробившиеся. Разгоряченная, влажная от пота Эрна прижалась ко мне и зашептала в ухо, щекоча его воздухом.

Щекотно было и щеке - от жесткой прядки. Но я не отодвигался, хоть не переношу щекотки, и думал: "Зачем она рассказывает об этом, гадком?"

Это действительно было гадко - над ней пытались надругаться. Трое эсэсовцев. Месяц назад. Затащив в сарай. Двое удерживали, третий срывал одежду. Спас Эрну случай, нередкий на войне: вблизи начали разрываться бомбы - советские. И сразу эсэсовцам стало не до нее. Они убежали, а она все не поднималась. Не было сил подняться, и чувство было, будто насилие совершилось... Шепот Эрны свистел в моем ухе, на грудь мне капали горячие слезы, как будто прожпгали ее.

Я верил Эрпе еще и потому, что мне попадались листовки, в которых германское командование, приводя подобные факты, требовало от своих солдат и офицеров уважительного, рыцарского отношения к соотечественницам. Но фашисты, повторяю, есть фашисты. В России вон что выделывали, теперь вытворяют в Германии.

- Непавшку тех, кто хотел растоптать меня! Всех немцев ненавижу! шептала Эрпа. - Тебя люблю!

- И я тебя.

Это, видимо, была неправда, ибо я отчетливо сознавал: многое навсегда встанет между нами. Хотя Эрпа и шт в чем не виновата.

В темноте я видел: сытые, ражие мужики, провонявшие табаком и шнапсом, лапают Эрну за коленки, она отбрасывает их лапы, и тогда ее волокут в сарай, рот затыкают платком. Видел:

двое заломили ей руки, третий срывает с нее одежду. Будьте вы прокляты, негодяи! Точно, точно: у меня богатое воображение, и оно мешает не только на войне.

Я успокаивал Эрну, бормотал дежурные, необязательные фразы, но больше ее так и не тронул. Когда оделся, она спросила:

- Завтра придешь, Петер?

- Приду. - сказал я, не очень уверенный в этом. И внезапно со всеохватывающей ясностью ощутил: война кончилась!

Так это все началось у нас с Эриой.

2

Да, в ту ночь я будто впервые осознал, что война в самом доле закончилась. Фактически она окончилась для нас со взятием Кенигсберга. То, что мы прочесывали леса в поисках недобитков или "оборотней", не в счет. Это уже были, если хотите, послевоенные операции. Еще шли бои за Берлин и в Берлине, егпе шли бои в Чехословакии - на нашем же участке всо было завершено. Потом завершилось и там, и было 9 мая - праздник Победы. И мы праздновали: митинговали, бросали вверх шайки, налилп из автоматов и ракетниц - салют, пили спирт и заморские коньяки, пели песни, бродили в обнимку по чужим, затаившимся улицам, солдаты постарше плакали.

Как и все, я радовался, но где-то в глубине сидела мысль: а ну как после этих мирных праздников снова настанут фронтовые будни - марши, бои, смерти? Я войну прошел от звонка до звонка, на фронте четыре годочка, исключая госпитальные лежания, и поэтому вжился в нее, впаялся. В жизни я умел делать понастоящему одно - воевать, и было странным, непривычным, что наступил мир, что придется заниматься чем-то другим. Н я не мог до конца поверить в наступивший мир и в то, что я уцелел в такой войне.

Нужен был какой-то, пусть самый малый, толчок, чтобы полное понимание озарило меня. И этим толчком была близость с Эрной. Четыре года ходил я между жизнью и смертью, любой осколок, любая пуля могли убить меня. И не убили. Я остался живой. Жив - в двадцать три года, и вся жизнь была впереди!

Оговорюсь: иногда, в минуты дурного настроения, я кажусь себе чуть ли не стариком. Но в серединные майские денечки сорок пятого настрой у меня был в принципе отличный - радостный и отчасти беззаботный. Светило солнышко, благоухали сады, каждая мышца у меня играла, я напевал или насвистывал. Хотелось жить. И я жил, и у меня была женщина.

Для меня эта женщина, случайная, немка, играла особую роль. Дело в том, что я, по сутн, был одинок: отец давным-давно умер, мать расстреляли оккупанты, отчима тоже, по-видимому, нет в живых, из родии - двоюродный дядя в Чебоксарах да троюродная сестра где-то в Средней Азии, седьмая вода на киселе. Не было и любимой девушки. Словом, один как перст.

Конечно, были друзья-фронтовики, была надежная мужская привязанность. Но война есть война, и я терял этих ребят. Они падали в бою, на смену им приходили новые, а тех сменяли другие - неумолимый конвейер войны. Если мысленно поставить их всех в шеренгу, это была бы длинная шеренга.

Но за четыре года у меня не было ни одной близкой женщины. Как-то складывалось так, что не находил общего языка

ни с фронтовичками сашшструкторшами, поварихами, связистками, прачками, - ни с освобожденными смолянками, белорусками, литовками, польками, ни с медсестрами и нянечками в госпиталях.

Признаться, дичился женщин. Может, с отвычки? Или характер не весьма общительный, настырностп не хватало?

А с Эрной сложилось все просто и легко. Не то чтобы очень уж просто и легко. Скорей наоборот, сложно и трудно складывалось, ибо подспудно в наших отношениях таились и сознание их временности, и недосказанность, и гибель ее отца и моей матери, - но все-таки было ладно. Я был ошалелый, нетерпеливый, и Эрна теребила меня за вихор:

- Ты сумасшедший, Петья!

Раньше она звала меня Петер, теперь - Петья, то есть Петя, я научил ее произносить свое нмя на русский манер. Она никогда не улыбалась. Когда бывала весела, то резко, гортанно смеялась, когда печалилась либо сердилась, ее черты словно увядали. Если в эти мгновения я целовал ее, лицо оживало, светлело, как окропленное живой водою.

С утра преследовали неудачи. У меня всегда так: или весь день удачи, пли весь день неудачи. Нынешний денек никак не отнесешь к удачным. Начальное звено в этой цепи - утренний осмотр роты. Старшина Колбаковский, прищурившись, как бы прицеливаясь, обходил строй спереди и сзади - походка крадущаяся, животик обтянут гимнастеркой, нижняя губа отвисла, мясистая и неизменно мокрая. Не скрою: мпе старшина неприятен. Он платит той же монетой: откровенно меня недолюбливает, иптепдантская душа, складская крыса. Еще бы не крыса: в войну заведовал складом ПФС [Продовольственно-фуражное снабжение.], в январе сорок пятого только и вытянуло на передовую. А он меня, знаю, кличет "ветродуй,), а вот за что не знаю. Почему ветродуй?

Трения у нас пошли с того часа, когда я обрезал Колбаковского. Да и как было не обрезать? Сказанул мне: "Ты, лейтенант, не мудри..." Этак он разговаривает с командирами двух других взводов - старшие сержанты на офицерских должностях терпят старшинские грубости. А мне зачем терпеть? Теперь он обращается ко мне "вы" и "товарищ лейтенант", но во взоре лед: лейтенантик мальчишка, кто ты супротив кондового, непотопляемого старшины?

Осматривая строй, Колбаковский дольше всех обнюхивал мой взвод, и наперед было известно: придирки будут именно к первому взводу. Так и есть: старшина остановился перед строем, поглубже надвинул фуражку и сказал, шлепая нижней губой:

- Внешний вид роты удовлетворительный. За исключением первого взвода. Там, видать, пренебрегают истиной: война закончилась, а внешний вид остается! Давайте взвесим положение в первом взводе...

И Колбаковский противным тенорком, врастяжку, начал перечислять бойцов, у коих не почищены пуговицы или сапоги, не сменены подворотнички, плохо заправлены гимнастерки. Мы - командир роты и взводные - стояли в сторонке, и ротный сказал с укоризной:

- Надо полагать, товарищ Глушков примет надлежащие меры.

- Надлежащие? Приму, товарищ капитан, - сказал я, натягивая кожу на скулах и стараясь не взглянуть на злонамеренного старшину.

Далее. Подразделение направили на хозяйственные работы, точнее - пилить деревья, обрубать сучья. Вроде бы неплохо это - побыть на природе до обеда. Но я так не могу. Если что-то поручено, надо исполнять без дураков, на совесть. Поскольку же пилой и топором владел худо, то и не показывал личного примера.

Какой там пример! Пилу я тянул куда-то вбок, рывками, напарник, замполит батальона Трушин, щербато ухмылялся:

- Петро, прямей держи, неустойчивый ты элемент! Да не дергай, веди плавно!

Лезвие топора то не дорубало ветки, то с нерасчетливой силой вонзалось в самый ствол. Гвардии старший лейтенант Трушин и тут подтрунивал:

- Аи, Петро, Петро, этак ты нам все бревнышки попортишь!

Я отшучивался, но старался, лез из кожи вон.

Не хотелось ударить лицом в грязь - и перед подчиненными, и перед начальством, перед Трушиным. Удивительные у меня с ним отношения. Конечно, он для меня начальство - заместитель командира батальона по политической части, я всего-навсего взводный. Но мы на "ты", я с ним могу спорить, говорить дерзости и вообще хамить. Как будто мы друзья-приятели. В сущности, мы и являлись таковыми. С тех пор, как втроем околачивались в резерве фронта, три младших лейтенанта - покойный Витя Сырцов, Трушин и я. С Витей я дружил накрепко, парень был изумительной души, к нам примкнул Трушин, подружились и с ним.

Из резерва мы с Витей Сырцовым попали в одну дивизию взводными, Трушин - в гвардейскую. Уже после гибели Вити Сырцова в батальон прибыл Трушин преуспел на политработе. Обнялись, расцеловались, а назавтра стали лаяться. Выяснилось, что мы с ним довольно разные характерами - за месяц болтания в

резерве этого не выяснили! - но он прощал любое нахальство, тянулся ко мне, ну а я вообще отходчив: поругался и забыл, зла не таю. Да, Грушин мужик ничего. Хотя до Вити Сырцова ему как земле до неба. Витя Сырцов - это друг навсегда, даже со смертью.

Жаль, я его редко вспоминаю. У меня вот так: чем дороже человек, тем реже поминаю. А пожалуй, кроме мамы, у меня не было человека ближе, чем Витя Сырцов.

Пил и топоров всем не хватило, многие полеживали на травке, посиживали на бревнах, покуривали, сыпали анекдотами, в том числе ротный и старшие сержанты, те самые врио командира взвода. Капитан задумчиво поглядывал в безоблачное, густо синеющее небо, щелчком стряхивал пепел с папиросы. Старшие сержанты позевывали, похохатывали, удивительно похожие большелобые и большеротые, белобрысые, курносые, с усиками. Впрочем, усы едва ли не у всех: фронтовая мода, гвардейский шик! Правда, паша дивизия не гвардейская, но носит наименование Оршанской, награждена орденами Суворова и Красного Знамени. Боевая дивизия!

А вот я усов не завел. Из принципа. Замполит Трушин посмеивался:

- Что. Петро, стремишься этим выделиться? Утвердить свою самостоятельность, независимость от людей?

Я отвечал: точно, мол, утверждаю самостоятельность. Он подмпгивал, подкручивал взращенные любовно усики-стрелки.

Поперву мои бойцы подходили ко мне:

- Товарищ лейтенант, дозвольте подменить?

Я не дозволял, и они перестали подходить. Трушин работал играючи, наслаждаясь, я же с топором, с пилой замаялся. Взмок, сбросил гимнастерку. Поясница ныла, на ладонях натер волдыри. Один из них лопнул, ранка засаднила. Работничек!

Трушин схитрил:

- Подустал я маленько, передохнем.

Меня щаднл. Я сказал:

- Комиссар, не выдумывай, я еще не выдохся.

- Как знаешь.

Я рванул пилу на себя, желтые сырые опилки брызнули на мои сапоги. Они, опилки, пахли скипидаром, и в памяти мелькнуло: пацаном простыл, мама натирает мне грудь скипидаром, от него режет глаза и щиплет в носу.

А в довершение, когда стали строиться, выяснилось: пет Кулагина, автоматчика из третьего отделения. Я к отделенному:

- Где?

- Не могу знать, товарищ лейтенант. Вроде крутился здесь.

- Вроде Володи, - сыронизировал я достаточно бессмысленно.

На меня смотрел ротный, смотрели старшие сержанты-близнецы; старшипа Колбаковский брякнул:

- Самовольная отлучка?

- Никуда не денется. Может, по нужде отлучился.

Когда рота выходила из лесу, объявился Кулагин, сутулый, сухотелый солдатик неопределенного возраста, с разноцветными глазами: карий смотрел виновато, серый - нагло.

- Где был?

- Там... - Кулагин неопределенно повел рукой.

Я учуял запах самогона и рявкнул:

- Не виляй! Где был?

Серый, наглый глаз:

- Ну, у колхозников...

- Не нукай! Как стоишь перед офицером? Распустился!..

Кто тебе разрешил уйти на хутор?

Карий, винящийся глаз:

- Та я думал, товарищ лейтенант... управлюсь быстренько...

Землячков повидать...

- Повидал! Самогону хлебнул?

- Трохи, товарищ лейтенант! Земляки же, белорусские, про артельное хозяйство покалякали, я ж бывший звеньевой, полевод...

А пилы да топора все равно не было свободных!

Экий ты, бывший полевод, нерасторопный малый, а твоему взводному топорик и пилочка достались. Зато насчет хутора ты оказался расторопным. Этот хутор, где обосновалась группа колхозников из Белоруссии, у наших командиров сидел в печенках.

Одноногий председатель колхоза из-под Барановпчей и два пожилых бригадира выявляли по округе и собирали в гурты угнанный немцами скот, а погопщпцы, отборные, кровь с молоком девчата, больше крутили с солдатами, угощали пх первачком, вон и Кулагин повадился. Здесь я подумал: "Ты, лейтенант Глушков, крутишь любовь, а им нельзя? Они ведь не хуже тебя понимают, что войне капут!"

- Значит, нарушаешь воинскую дисциплину. Кулагин?

- Трошки, товарищ лейтенант...

- Нехорошо это!

Теперь оба глаза - и серый, и карий - виноватые: - Нехорошо, товарищ лейтенант... Я что ж? Я ж ничего ж...

Исправлюсь...

Ротная колонна во главе с капитаном вытягивается на шоссе, уходит, а я все разбираюсь с автоматчиком Кулагиным. Говорю проникновенно:

- Посадить бы тебя на "губу", Кулагин. На полную катушку!

- Я готовый, коли заслужил...

Припоминаю, что на передовой гауптвахты не было в помине, нет ее покуда и нынче, в мирной жптухе. Думает об этом, видимо, и автоматчик Кулагин, ибо оба глаза у него уже нахальные: зазря лаешься, лейтенант, отвязался бы, ей-богу!

- Догоняй строй! - приказываю.

- Слушаюсь! - отчеканивает и ходко чешет; я с трудом поспеваю за ним, прытким.

И далее. После обеда я шел с ротным командиром и мило беседовал. О чем? Да о том, что личный состав взвода подразболтался и надо бы подтянуть дисциплинку. Капитан выражал такое пожелание, я выражал согласие с этим пожеланием. Сытые, отяжелевшие, мы не спеша шагали по тротуару, обходя воронки.

Обед был вкусный и плотный, по прошел он чопорно, скованно.

Нет, мне это не нравилось: в громадной столовой собирались офицеры полка, во главе стола полковой командир; он садился - все садились, оп отодвигал тарелку с первым - все прекращали хлебать супеи, он вставал все вставали. Это были так называемые офицерские обеды, строго по этикету. Доходило до нелепого: подполковник брал салфетку, чтобы вытереть губы, - и все хватались за салфетки. Офицерский корпус! Ну, сразу после войны почемуто затеялся великий шум по поводу его традиций, этикета, исключительности. Я это обособление не понимал и не принимал, потому что на фронте варился с солдатами в одном котле, - вот это и есть наша традиция: быть всегда вместе!

Но я отвлекся, прошу извинить. Итак, прогулочным шагом мы с капитаном двигались по солнечной, пыльной, с разбитым асфальтом улице и благопристойно разговаривали. У ротного на висках благородная седина, оп затянут портупеей, изящен, воспитан, отменно вежлив - до поры до времени, потом как врубит - закачаешься. Главное - упредить этот взрыв. Покуда до взрыва далеко. Все мы с воцарением мира стали немного благодушны, так сказать, миролюбивы.

Пожалуй, не все. В этом я убедился пять минут спустя. Навстречу нам. взвихривая пыль, по мостовой прокатил открытый "виллис", на переднем сиденье, рядом с водителем, - подполковник, заместитель начальника политотдела дивизии. Мы с капитаном отдали честь, подполковник козырнул в ответ, машина проехала.

А затем она затормозила, развернулась и догнала нас. Замначподива поманил меня указательным пальцем:

- Подойдите! Вы, вы. лейтенант!

Мы переглянулись с капитаном. Он остался стоять, я подбежал к "виллису". Не выходя из машины, откинувшись на сиденье, подполковник пристально рассматривал меня, морщинил бледное, отечное, тщательно выбритое лицо со шрамом на лбу.

- Та-ак... Лейтенант Глушков, стало быть? Очень приятно!

Верней, совсем неприятно! Должен вам заявить категорически, Глушков: вы спутались с немкой, советский офицер с немкой, с нацисткой... Это недопустимо, это не лезет ни в какие ворота...

Слушая его сбивчивую, какую-то чавкающую речь, я думал:

"Информация добирается по лесенке: замполит батальона сообщает в полк, замполит полка - в политотдел дивизии. Ничего не имею против этой информации. Но надо подбирать выражения!"

- Во-первых, она не нацистка, товарищ подполковник...

- Что? Не рассуждать! Он еще рассуждает! Вы что, Глушков, соскучились по парткомиссии? Так мы вас вызовем, привлечем к партийной ответственности! Ни в какие ворота... Категорически требую: прекратить всякую связь с немкой! Честь мундира советского офицера... Недопустимо... - Лицо подполковника порозовело, лишь шрам на лбу остался бледным. - Вы меня поняли?

- Так точно!

- Исполняйте! Всё! Вы свободны! Шофер, поехали!

Я поглядел вслед навонявшему сизым дымком "виллису". Исполнять? Черта лысого! Я уцелел в военном пекле, мне нравится эта немка, она неплохой человек. И я ей нравлюсь. Так какого же рожна вам надо? Чего вы разорались, товарищ подполковник?

Да еще в присутствии солдата. Вы роняете мое офицерское звание в глазах рядового - шофер-то по званию рядовой. Впрочем, вы больше свое роняете, товарищ подполковник.

Капитан сжал мне локоть.

- Пошли, товарищ Глушков. Не расстраивайтесь. И сделайте правильный вывод.

- Сделаю, - сказал я и подумал: как оп мог, подполковник, разговаривать в таком топе с лучшим комвзвода, да, да, лучшим в полку! Награжденным орденами Красного Знамени, Отечественной войны и Красной Звезды! Которому командующий фронтом генерал Черняховский лично руку жал!

Но ничего, ничего, главное - я не вспылил, как-нибудь переживем. Хотя некрасиво, товарищ подполковник, очень

некрасиво.

И вообще вы принципиальную ошибочку допустили: не нужно бы пугать меня, потому - пуганый, ныне меня чем устрашишь?

Хуже того, доложу вам: пыпе, если постращают, я еще упрямей и безбоязненней становлюсь.

Не уважают вас в дивизии, товарищ подполковник, за крикливость, за постоянные разносы по делу и без дела. Хоть человек вы храбрый, израненный - ногу приволакиваете, это с Курской битвы. Вам бы поучиться у своего начальника, у начподива. Вот настоящий комиссар! Смелый, как и вы, в передовой цепи увидеть не диво, да к тому же широкая, добрая душа, не добрячок - всерьез добрый. Ну, да что об этом? Вы злюка, в этом корень.

И здесь я вновь подумал о командующем войсками Третьего Белорусского фронта, о генерале армии Черняховском, - как он был у пас на передке. Это было в январе сорок пятого, дивизия прорвала немецкую оборону, противник подтянул резервы из глубины, полез, мы отбивали контратаки. Шурша волглой плащ-накидкой, сопровождаемый почтительной свитой, командующий шел по траншее, красивый, молодой - гораздо моложе нашего седеющего комдива. Командир полка представил меня, сказал, что мой взвод в числе первых ворвался во вражескую траншею, при отражении контратак гранатами подбил два "фердинанда" и "пантеру". Командующий переспросил: "Глушков?" - и пожал мне руку, похлопал по плечу, как товарищ товарища. А ведь это был генерал армии! В общем-то мне чуждо чинопочитание, я и полковников не считаю парящими над грешной землей, но уже генерал-майор - иное, качественный скачок! А тут генерал армии, прославленный на всю страну полководец! Кое-как я пробормотал:

"Служу Советскому Союзу!" - взмокнув от волнения. Командующий осмотрел в бинокль окраинные домишки, где засел противник, и сказал, что немцы на своей земле сопротивляются и будут сопротивляться отчаянно, к этому мы должны быть готовыми.

Да, это было так: чем ближе к Пруссии, тем ожесточенней дрались немцы. В октябре сорок четвертого Третий Белорусский фронт, прорвав мощнейшую полосу железобетонных пограничных укреплений на реке Шешупе, вынужден был остановиться вблизи границы. Наш полк занимал оборону в районе Виллюпена, и немцы не давали нам покоя, норовили сбросить в воду. 13 января фронт пошел вперед. Но за трое суток беспрерывных боев полк продвинулся только до второй траншеи. В ночь на 17-е немцы не выдержали, начали отход. Мы вели преследование в сторону

Пилькаллена - Тильзита, однако Тпльзит был взят Сорок третьей армией. Нашу дивизию повернули на запад. Ночью мы прошли горящим Гросс-Скайгирреном, горел и Гольдбах - городок, начиненный крупными магазинами и дотами. Потом вышли к Правтену, восточному пригороду Кенигсберга, где попали в ловушку и 27 января драпаиули километра на три, потом заняли оборону под Варгепом. Впрочем, я отвлекся, я хочу досказать о Черняховском. 6 апреля дивизия начала наступать на северо-западную окраину Кенигсберга - Метгетеп. Но Третий Белорусский штурмовал Кенигсберг уже под командованием маршала Василевского, потому что Иван Данилович Черняховский погиб 18 февраля, - возле города Мельзак его "виллис" засекли немецкие наблюдатели, артиллерия взяла в вилку: первый снаряд перед машиной, второй позади, третий угодил, разорвался шагах в пятнадцати. В наступившей после взрыва тишине адъютант услыхал голос командующего: "Алеша, я ранен. Чувствую на лопатке кровь". Не потерявший самообладания адъютант перевязал, рана была навылет и большая, кровь пропитывала бинты. Ивана Даниловича привезли в ближайший медсанбат, врачи обработали рану, сделали перевязку, переливание крови, уколы. Из медсанбата срочно повезли в госпиталь. Накануне, 17-го, выпал мокрый снег, по обочинам он лежал белый и рыхлый, а на шоссе были черные лужи.

Подтягивавшиеся к передовым позициям резервы останавливались, пропускали машину с красным крестом: от шоферов, ехавших в тыл за боеприпасами, уже знали о ранении командующего, - колонны пропускали ее с молчаливой тревогой. Не доезжая госпиталя, Иван Данилович Черняховский умер, и тогда санитарная машина повернула к командному пункту фронта. Мертвый полководец ехал туда, откуда он, живой, командовал своими войсками. И тот же Трунит сказал мне: командир 28-й танковой дивизии полковник Черняховский встретил 22 июня 41-го года на восточпопрусской границе, и здесь же через три с половиной года командующий Третьим Белорусским фронтом генерал армии Черняховский погиб, вот как иногда складывается... Помню, у меня была мысль: лег бы в гроб вместо него.

Вот так: гибли рядовые, гибли полководцы, кто подсчитает - до одного человека, - сколько пало наших людей на полях сражений? Кто? Па тех бесчисленных полях, что неотвратимо открывались нам на пути от западных границ до Москвы и Сталинграда, и от Москвы и Сталинграда до западных границ, и дальше - до Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии,

Румынии, Болгарии, Австрии, Германии. Долгий и страдный путь, по обочинам которого могилы, могилы, могилы.

Они пали, мы выжили. Живые в долгу перед мертвыми. Сперва казалось: кончится война - и на следующий день оставшиеся в живых станут хорошими, отличными, прекрасными, плохие исчезнут, все враз переменится. Потом я подумал, что мгновенного превращения не произойдет, что меняться к лучшему мы будем постепенно. Постепенно, по необратимо!

И я буду становиться лучше, и политотдельский подполковник, что давеча на меня напустился. И с чего ты, собственно, предъявляешь к нему претензии, к пожилому, израненному человеку? Других судить берешься, себя сначала научись судить.

Повторяю, день сложился неудачный. Но если неприятности на утреннем осмотре и пилке деревьев я перенес безболезненно, то от разговора с заместителем начальника политотдела горьковатый осадок оставался до вечера. Что-то беспокоило, взвинчивало, раздражало.

Вечером Эрпа поцеловала меня, приняла фуражку, помогла снять портупею, полила воды, подала полотенце, усадила за стол.

Она села напротив, подперев подбородок кулаком, ждала, когда заговорю. И я на миг представил себе: вернулся с работы, жена меня встретила. Представил - и внутренне усмехнулся: невозможно это. Эриа никогда не станет моей женой, и с какой работы я могу вернуться? Что умею? Воевать. Четыре года воевал, то есть убивал врагов и старался, чтоб враги не убили меня и моих бойцов. У меня нет иной профессии, я сыт ею - вот так, под завязку.

В тридцать девятом году в белорусском городе Лида, когда начинал служить действительную, я впервые умотал в самовольную отлучку. За уборной был лаз, и приятели им пользовались. Уломали и меля. Шатался с ними по закоулкам, по скверикам, пил в ларьках пиво, зубоскалил с девчатами, а сам томился: скорей бы кончалась эта самоволка, скорей бы отвести оторванные доски в заборе, пролезть, снова свести их - и ты в расположении части.

Фу, какое облегчение!

И еще пару раз подавался в самоволки. Томился в них, вернувшись в часть, испытывал облегчение.

Боялся не наказания - позора.

Везло: так и не погорел. Везучий я.

3

Проснулся от всхлипываний. Плакала Эрна, зпепившпсь в мою напряженную руку. Я спросил:

- Что с тобой?

- Дерешься! Мне больно...

По тону, каким она это произнесла, догадался: не только больно, по и обидно. А со мной бывает: могу врезать во сне. Приснится рукопашная - и примешься молотить кулаками, не соображая.

- Не сердись, - сказал я. - Это не нарочно, это во сне.

Обнял ее, поцеловал. Она прижалась ко мне, все еще всхлипывая. Фу, как скверно! Как стыдно! Наяву я не то что не подымал руку на женщин - я и словом-то опасался причинить им боль.

Жалею их. И еще детей жалею. Вот увижу мальчугана или девочку, так и подмывает угостить чем, подарить что, взять на руки, погладить по голове. Откуда это у меня? Я ж юнец, и отцовские чувства мне неведомы.

Я погладил Эрну по жестким спутанным волосам, поцеловал, и она притихла, засопела подле уха. Я тоже задышал мерно, задремал. Штыковой бой больше не снился, снилось совсем другое, такое, что когда пробудился, то у самого глаза были влажные. После этого сна не всегда плачу, но часто, это уж так: вижу море и девочку, море выпуклое, до горизонта, то синее, то в барашках, девочка - в белой панаме, с ведерком и совком, то живая, то мертвая.

Когда-то было реальное море и была реальная девочка. Давно, много лет назад. Море запомнилось твердо, а черты девочки стерлись и каждый раз виделись по-новому, даже одежда бывала другая. Но каждый раз это была та девочка со взморья, которая, я решил, стала как бы образом моего будущего счастья. Или символом, что ли.

Море и она начали спиться на войне. И спились гораздо реже, чем рукопашный бой. А может, это к лучшему? Ибо не очень-то ловко расчувствоваться, расслабиться, рассиропиться почти дзадцатпчетырехлетнему парняге, боевому офицеру.

В дверь заскребся ординарец Драчев. Не дожидаясь, покуда он постучит костяшками пальцев либо задубасит кулачищем, я протрусил к выходу почти что телешом.

- Тревога?

- Так точно, товарищ лейтенант!

- Да не ори, побудишь...

И право же, одеваясь, я был рад этой ночной тревоге. Оттого, что ощутил себя собранным, энергичным, деятельным, - надо было выполнять то, что составляло смысл моей нынешней жизни.

Взвод посадили на "студебеккер", на "додже" разместились офицеры и бойцы контрразведки, и машины газанули. В кабину

"студебеккера" со мной сел старший лейтенант - смершевец. Покуривая сигарету, хмуря подпорченное оспой лицо, он поставил задачу: окружить ельник, что южнее хутора, и прочесать. Не ново, подобное мы делали много раз.

- Понятно, лейтенант?

- Понятно, старший лейтенант.

Он с удивлением вскинул голову, возможно, подумал, почему я не сказал: "товарищ старший лейтенант". Да потому, что и я не услышал: "товарищ лейтенант". Смершевец цокнул, дернул плечом. Дошло? И хорошо, ибо мне эти взгляды сверху вниз надоели, откуда бы ни исходили. Коль офицеры, значит, нужно взаимное уважение. А то раскричались: офицерский корпус, офицерский корпус! Да, неуравновешенный товарищ этот лейтенант Глушков: умиляется, плачет, тут же раздражается, злится. Выражаясь научно, невропат. Попросту - псих.

Гудел мотор, грузовик потряхивало на выбоинах, за стеклом пролетали сонные, обсыпанные лунным светом поместья и хутора, добротные, каменные, под красной черепицей, чистенькие, аккуратненькие и после боев, если повезло, но чаще захламленные, с битой черепицей, вышибленными окнами, развороченными стенами, с обгорелыми стропилами; и нигде ни огонька.

Красный стоп-сигнал "доджа" мигнул, и "додж" съехал с асфальта на грунт. Мы за ним, на ухабе "студебеккер" накренило, старший лейтенант навалился на меня жестким, костлявым плечом. И у меня неожиданно возникло такое предчувствие, что обратно мы с ним уже не поедем вместе. Предчувствие я истолковал так: меж памп пробежала кошка, пу, кошка не кошка, а чтото пробежало, поэтому будет естественно, если особист поедет в "додже", со своими.

Машины остановились, не выключая моторов. Мы с особистом спрыгнули на влажную, мягкую землю, размялись. Из кузова вылезали молчаливые, нахохлившиеся солдаты. В сторонке - хуторские постройки, там догорал подожженный сарай.

Я вполголоса подал команду, половина бойцов пошла за мной вправо от машин, вторая - с особистом и помкомвзвода - влево по опушке. Мы рассредоточивались, охватывая лесок, в котором, как предполагалось, прятались те, кто напал на хутор.

Ельник настороженно чернел. Где-то выла собака. Под сапогами чавкало. Было свежо, хотелось спать, и я зевал, поматывая головой и как бы отгоняя сонливость. Автомат висел на груди, толкал меня магазином под ребро, когда я оступался.

Цепь продвигалась, рассекаемая деревьями и кустами - они

посажены аккуратными рядами, - в кустах как раз и могли хорониться "вервольфы". Мы вглядывались в пятна мрака и в силуэты друг друга - чтобы не потеряться. Это желание не заблудиться, не отстать было у солдат, по-моему, сильнее желания отыскать "оборотней". Я уже подумал, что опять никого не найдем, когда слева и чуть сзади затрещали автоматные очереди, жахнул взрыв гранаты и взмыла белая ракета, высвечивая верхушки елей, подлесок, пеньки. На миг я оцепенел: от этих фронтовых звуков не отвык, но внезапны и неуместны были они в сопливом ночном лесу. Скомандовал: "За мной!" - и побежал туда, где стреляли.

Было светло - луна, серия осветительных ракет, включенные фары наших машин, - и тем не менее я не разглядел яму, оступился, зашиб ногу и дальше бежал, хромая и чертыхаясь.

Подоспел к шапочному разбору: стрельба прекратилась, майор из особого отдела, руководивший операцией, хриплым, сорванным голосом отдавал распоряжения: раненого отнести к машине, задержанного отконвоировать на хутор. Раненым оказался старший лейтенант, ставивший мне задачу в кабине "студебеккера".

Он лежал на плащ-палатке, запрокинувшись и скрестив руки, как покойник. Я отогнал это сравнение, сказал себе: "В госпитале спаСуТ" - и вспомнил о том своем предчувствии. То оно, да не то: поедем врозь, но кто куда; он прямым путем на операционный стол. Ничего, лишь бы спасли. Эх, старшой, старшой, что ж не поостерегся?

Мне было приказано со взводом закончить прочесывание ельника. Хотя задержанный буркнул, что он один. Это же он подтвердил позднее, на допросе на хуторе. Может, и в самом деле нет сообщников, а может, не хочет выдавать. Так или иначе, но никого мы в лесу больше не нашли. Уже перед рассветом я доложил майору о результатах. Он недовольно пожевал губами, взглядом приказал мне обождать минутку и кипу л переводчику:

- Ну-ка, скажи ему - пусть не темнит. Откуда и куда шел - это он врет. Пусть говорит правду!

Майор сутулился на стульчике, немец стоял перед ним навытяжку, но глядел твердо и надменно, а развитые, выпяченные челюсти были плотно сжаты - такой не захочет сказать, так и не скажет. Немец был одет в гражданскую куртку, штапы, охотничьи сапоги и шляпу с пером, и это озадачило меля: прежде не зрел двадцатипятилетнего фрица в цивильном одеянии! Фрицев, исключая стариков и пацанов, зрел в военной форме - общался четыре годика и знаю, как поступать. А этот вроде бы мирный. Черта с два мирный, он и есть доподлинный "оборотень":

переоделся, а гранату ловко метнул в окно на хуторе, а в старшего лейтенанта не промазал из "шмайссера".

- Переведи ему, - сказал майор старшине-переводчику, - мы его заставим раскрыть хлебало! Не здесь, так в отделе...

Немец тянется по стойке "смирно", а крупный рот стиснут, серые глаза холодны и непреклонны. Попадись ему - пощады не будет. Рука у него не дрогнет. Как не дрогнула, когда стрелял в старшого лейтенанта, когда швырял гранату в комнату, в спящих. Осколки могли задеть всех, но поранили лишь деваху из тех крепких, щекастых погонщиц и бригадира. Он-то и увидел немца, подкравшегося к окну, - услыхав шорох, приподнял голову, да не успел ничего предпринять, как звякнуло разбитое гранатой стекло. С бригадиром я был знаком. Это был подслеповатый, постоянно кашляющий и постоянно подтягивающий штаны полещук. Говорил сбивчиво, тихо и почему-то оглядывался - особенно когда принялся выспрашивать меня, не отберут лп пограничники барахлишко, которым он в Пруссии разжился. Я предполагал, что не отберут, а он все переживал: слыхивал, на границе отбирают, приказ есть пограничникам.

Я понимал треволнения полещука - хоть что-нибудь привезти домой, в разоренную, сожженную, лютой бедности деревеньку. Мы прошли Белоруссию насквозь, видели: вся она разграблена немцами, спалена, ютится в землянках, сидит на одной бульбе. И вообще пообнщала наша страна за войну. Что содеяно на оккупированных территориях! Руины, пепелища, задичавшие поля, сплошной разор. В Восточной Пруссии мы то и дело натыкались на наше, советское - от трактора и станка до патефона и полотенца. Уж что-что, а грабить фашисты умели. И еще умели эшелонами угонять наших парней и девчат на принудительный труд в Германию. Здесь, в Восточной Пруссии, многих мы освободили от каторги на заводах, шахтах, фольварках.

И досыпать я отправился в комнату к ординарцу. Правда, днем я зашел к хозяйкам, принес рыбные консервы, буханку хлеба. Так-то со строгостью. Мягкотелые мы, что лп, чересчур добренькие? И почему мы, а не я? Может быть, это просто я таков - как личность, а не как национальный характер.

Провожали старичков. Стоял солнечный денек, над землей поднимался пар, наверное, еще немного - и поле можно пахать.

Однако никто не готовился к пахоте. Немцы разбирали завалы, ремонтировали дороги и жилища, а больше сидели по домам. Но когда заиграл духовой оркестр, кое-кто выполз из своих щелей.

И, клянусь, на немецких физиономиях было нечто вроде

радости!

Сперва я подумал: радуются за наших старичков, отбывающих на родццу. Затем сообразил: довольны оттого, что советские солдаты покидают Пруссию. Не рано ли радуетесь, господа хорошие?

Кто-то из нас уедет до дому, до хаты, а кто-то будет нести оккупационную службу, теперь наша силища обосновалась у вас надолго.

Покамест судьба пашей дивизии неизвестна, и демобилизовали только рядовых, которым по пятьдесят и около, и некоторых специалистов агрономов, инженеров. Уволили в запас и моего ротного. Оказывается, в принципе благовоспитанный, интеллигентный капитан по довоенной профессии бахчевод (а никогда словом не обмолвился). Ну, поскольку без арбузов и дынь победителям теперь не обойтись, капитана вернули в народное хозяйство. Меня же произвели в ротные, то есть не совсем произвели: в приказе я назван врид - временно исполняющий должность. Поразительно, но я по весьма этому назначению обрадовался. Поразительно потому, что давненько мечтал о ротном командирстве. И то сказать:

кадровый вояка, до войны отбухал полтора годика и два годика, как командую взводом, - на роту потянул бы. Не везло. Однажды, перед тем как принять роту, меня ранило, уволокли в госпиталь, после которого попал в другую дивизию и опять сел на взвод. Вдругорядь накануне выдвижения угораздило напиться.

Я одурел, вылез на бруствер и учиипл стрельбу из пистолета.

Куда? Я предполагал - в немцев, мне ответствовали: в своих.

Ладно, что никого не зацепил и что меня немцы не зацепили, - кто-то вовремя стащил в траншею. Комдив рассердился: роты не получит, бузотер, сопляк, пить не умеет. А я умею, на фронте научился. Иногда только не рассчитаешь, переберешь. Особенно еслп питье незнакомое. И побузишь слегка. Огорчался тогда ужасно этими своими неудачами в служебной карьере. А сейчас не шибко рад выдвижению. Почему? Потому, наверное, что война кончилась и пора думать о гражданке, об учебе в институте, которую я начал в сентябре и прервал в октябре тридцать девятого - весь мой студенческий стаж. Прощаясь, благовоспитанный капитан изволил пошутить, что мне еще служить, как медному котелку. Да, шутник. А может, я не шибко рад потому, что врид - это как бы несостоявшееся, и состоится ли оно вообще - неведомо.

А старичков мы проводили душевно. В роте их набралось семь человек, во всем полку - около сотни. Состоялся митинг - как же без митинга? Выступали ораторы: остававшиеся желали

уезжавшим успехов в народном хозяйстве, здоровья и счастья, уезжавшие желали остававшимся успехов в воинской службе и конечно же здоровья и счастья. От имени командования полка каждому демобилизованному вручили небольшой подарок - кое-что пз вещичек и еда, - обернутый в голубую бумагу и перевязанный розовой ленточкой.

Демобилизованные двинулись на станцию колонной, под полковым знаменем и под звуки марша. Провожавшие - в основном офицеры - шли позади и сбоку. На станции, перед посадкой в эшелон, я переобпимался и перецеловался со стариками из пашей роты. Они были взволнованы, утирали глаза, сморкались. Я тоже разволновался, по до слез не дошло: плачу лишь по ночам, во сне.

А щеки мои были мокрые - от чужпх слез на чужих щеках.

Горше всех хлюпал Абрамкин, и я снял с руки часы, трофейные, швейцарские:

- Держите, Фрол Михайлович!

- Да что вы, товарищ лейтенант?

- На память!

Абрамкин вытирал слезы, переминался, бубнил:

- Да что вы, товарищ лейтенант? Ей-богу, как можно?

И как вы будете без часиков?

- Достану.

- Чем же отблагодарить? Взамен? А? - Абрамкин оглядывал себя, трогал туго набитый вещмешок, и было очевидно: и хочет одарить, и жалко с чем-то расстаться.

Я его понял: в порушенной, обнищавшей за войну курской деревушке все ему потребно, все на вес золота. Я похлопал Абрамкпна по узкому, покатому плечу.

- Ничего не надо, Фрол Михайлович. Память о вас я и так сохраню: вы молодцом воевали...

Это правда: старики вроде Абрамкипа воевали безотказно. Ну, что за война в пехоте - известно: в слякоть, в распутицу, в холод и зной пёхом да пёхом, твой дом окопчик да чистое поле, в наступлении иди грудью на проволочные заграждения и пулеметы, через минные поля и огневой вал, в обороне отбивайся от танков, самолетов, артиллерии, автоматчиков, словом, жизнь эта не сладкая, труднее, чем в любом роде войск. И никогда эти папаши не роптали. Не в пример некоторым помоложе.

Накануне отъезда демобилизованных я заглянул в большую комнату, где обосновался мой взвод. Несмотря на то что остался за ротного, я продолжал командовать и взводом, жил в том же доме и запросто мог зайти к бойцам. Я и зашел запросто - посидеть последний вечер с ними.

Уезжали трое, и они группировались в уголочке: завязывали вещевые мешки и скатки, деловито переговаривались. Верховодил Абрамкин, с солидной вескостью дававший советы, как и что надо укладывать в мешок, как и где надо захватывать место на парах в теплушке. Когда они перестали хлопотать, я сказал Абрам кину:

- Ну что, Фрол Михайлович, можно начинать мирную жизнь?

Носатый, востроглазый, плешивый, со втянутыми, плохо побритыми щеками. Абрамкип осклабился:

- Истинно, товарищ лейтенант! - Но тут же вздохнул, его лицо болезненно передернулось. - Кабы она раньше началась, мирная-то жизнь. Заждались мы ее до зарезу, товарищ лейтенант! Посудите: мне пятьдесят один, сколь еще проживу? А четыре года отняла война распостылая, считай, что и не жил...

И двое других скучно подтвердили:

- Чего уж там, маловато, в обрез достанется нам тон жпзни-то послевоенной...

- Это факт, те четыре года вычеркивай, пропащие годы...

Но Абрамкип тряхнул головой, вновь осклабился и бодро проговорил:

- А все ж, товарищ лейтенант, радостно. Войне капут и мы вживе! Страну отстояли, долг сполпили, возвернемся до дому!

Возьмите меня: пораненный вдоль и поперек, а вживе. Трое сынов воевали, старшак погиб, остальные вживе. Дома, в Михеевке, старуха и дочерь дожидаются. Так-то семья хоть бы и с трещинами, а все складывается. В колхозе трудяжить буду...

И те двое приободрились:

- Это факт, поживем еще... Всласть поживем... совесть-то чиста...

- Залечим раны, все наладится. Стосковался я по работушке... Ух, и поработаю!

Глуховатыми, немолодыми голосами они говорили о близких, которые ждут дома, о родных краях, о том, как будут работать и вообще какой линии жизни придерживаться, - получалось, что это хорошая линия. Я слушал их и думал: "Ну, а как скоро увижу Россию я, грешный? Я тоже хочу жить на родипе, учиться, работать, любить и все такое прочее. Домой хочу! Но поскольку я молодой и глупый, то одного моего хотения мало".

Мне было шесть лет, и я впервые увидел на парковой эстраде духовой оркестр. Именно увидел, а не услышал, ибо я был поражен не звуками его, а видом - сияющие медью трубы. Мама насилу увела меня от музыкальной раковины, но несколько дней я бредил духовым оркестром. В парке же нашел в траве изогнутую трубку от фонаря, смахивающую на некий духовой инструмент.

Я дул в нее, счастливый. Это была моя любимая игрушка в

течение целого года.

4

МОРЕ

В Гагру Лидия Васильевна приехала с сынишкой поздно вечером. Автобус стоял у тротуара. Лидия Васильевна одной рукой тащила к выходу громоздкий чемодан, другою - сонного, вяло переставлявшего ноги мальчика. Он зевал, куксился, расхлябанные, со сбитыми задниками сандалии так и норовили у него слететь.

- Да живей же, Петенька, ради бога, живей, - скороговоркой произнесла Лидия Васильевна и тащила, тащила сына и чемодан.

Шофер-грузин с черными усиками и в белой тужурке помог ей спустить чемоданище, подержал за локоток, сыпля любезности, пожелал счастливого отдыха и вспрыгнул на подножку. Автобус отъехал, и справа за домами и деревьями открылось нечто темно-серое, сливающееся с небом. Лидия Васильевна воскликнула:

- Петенька, море!

- Где? Где море, мама?

- Вон, вон, туда смотри!

Но мальчик, сколько ни напрягал зрение, ничего, кроме липучей темноты, не увидел. Капризничая, сказал:

- Спать хочу! Где наш дом?

Воздух был теплый, влажный то ли от тумана, то ли от мороси, пахнущий чем-то сладким, дурманным. Белое здание автобусной станции будто плыло, светясь в темноте, фонари на столбах отбрасывали круги, высвечивая диковинные деревья. Над городком нависали горы, почти неотличимые от неба. Подниматься по улице надо было в гору, туда уверенно вела одна из одетых в черное платье женщин, окруживших маму с криком: "Комната! Есть комната!" Эта женщина завладела ими потому, что крепче всех хватала Лидию Васильевну за рукав.

Веки у Пети слипались, слетали сандалии, сбившимся носком натирало палец. Мальчик спотыкался о гальку, хромал и сердито сопел. А мама старалась не отстать от хозяйки и ласково повторяла:

- Сейчас придем, сейчас ляжешь спать, сыпок...

Проснувшись, Петя не сразу сообразил, где находится. Он лежал на высокой, пышной кровати. Было жарко, душно, хотя ветер трепыхал тюлевую занавеску на раскрытом окне. Ослепительное солнце ломилось пучками, затопляло комнату, отражаясь в зеркале, в цветочных вазах, в никелированных кроватных шишках. Простыни, пододеяльник и наволочки, майка и трусики были влажные, неприятные, и Петя ногами отбросил

одеяло, сел на постели, озираясь. С настенных фотографий на пего неодобрительно взирали черноусые мужчины с кинжалами - мужчины были маленькие, кинжалы большие. С порога смотрела свернувшаяся пушистая собачка, с подоконника свернувшийся пушистый кот, они также смотрели без одобрения, и оба подрагивали усиками.

"Тут все усатые, - подумал Петя. - А недовольны тем, что я столько продрых..."

Петя прошлепал босиком к окну, отвел шторку и ахнул: поверх соседних крыш, поверх верхушек деревьев в отдалении шевелилось, переливалось огромное, синее, живое - море! С минуту простояв в оцепенении, он сорвался с места и кинулся к двери, испуганные кошка и песик вскочили, выгнули спины.

Он сбегал по улочке к морю, накалывая пятки и не замечая этого, не замечая и того, что за ним бежит пушистая собачка и чуть дальше - мама. Прохожие оглядывались, пожимали плечами, улыбались, что-то говорили ему вслед - он не слышал. В конце улицы перешел на шаг и побрел по гальке, задыхаясь от бега и от счастья. У кромки берега остановился, смятый ощущением неповторимости открывшегося ему чуда. Этим чудом было море, ластившееся к его ступням, без конца, без края, до горизонта, голубое, синее и зеленое, ровно дышавшее, без устали катившее волну за волной в мелкой кружевной пене.

И казалось непостижимым, что в это чудо, как свои, входили люди, и плескались, и плавали. То, что пароходы плыли по морю и катера, - понятно, но люди... И вдруг решимость овладела мальчиком - чем он хуже других? - и он шагнул в воду. И тотчас его схватили за руку, вытащили на берег, крича:

- Ты с ума сошел! Ты утонешь! Надо же - удрал без спросу один к морю! Как с цепи сорвался! У тебя глаза абсолютно дикие!

Так кричать мама может, если очень рассержена, вообще же она не повышает тона. А глаза у пего, быть может, и были дикие - от счастья. Он и улыбнулся от счастья - широко, белозубо, задвигав носом. Мама сказала:

- Он еще улыбается, проказник... Чтоб это было у меня последний раз, побеги твои!

Опа с трудом увела его домой, пообещав, что после завтрака они придут на пляж. И пушистый песик кивал мордой, словно подтверждая: придем, придем, не беспокойся. Петя тягуче сплюнул и сказал:

- Ну...

- Перестань плеваться и нукать. Говори "да", а не "ну"!

Что?

- Чего мне сбегать, когда море под боком...

И мама перестала сердиться, потрепала его за волосы.

- Сынок, ты доволен, что мы сюда приехали?

- Ну! - И он сплюнул.

Мама посмотрела на него, вздохнула и промолчала: она знала, что говорить "ну" вместо "да" и сплевывать для Пети своего рода удовольствие. И только опять потрепала его.

Так они стали жить в Гагре. Городок, а точнее - поселок, лепился, вытягиваясь, на узкой равнине, равнина была зажата между хребтом и морем. Стоял октябрь, а жарило, как в разгар российского лета. Солнце по утрам выкатывалось из-за горной гряды, поросшей непроходимыми лесами, в которых не усматривалось ни одного желтого пятнышка, и затопляло все палящим светом - море света! Солнце катилось по безоблачному небу медленно, как бы желая подольше покрасоваться и отдать весь ласковый и злой жар. По вечерам, раскаленное до алости, оно опускалось за горизонт, тонуло в море; утонув до половины, напоминало по форме стог, утонув на две трети - юрту; потом алела скобочка - как обрезок месяца. А потом и пи скобочки, но по небесам бродили отсветы; багровые превращались в лиловые, лиловые - в лимонные, лимонные поглощала темнота. Она наступала сразу, обволакивая море, горы, домики среди виноградников, хурмы, инжира, яблонь и груш, кривые улочки, мостки, заборы, веерные пальмы (и впрямь ветви как веер у Лидии Васильевны), банановые пальмы (ветви как слоновые уши), эвкалипты (кора облезла, висит, как у бродяги лохмотья, а обнаженная сердцевина белая, будто березовый ствол), островки пампасскон травы (метелки, словно у камыша), бамбуковые рощицы, магнолии, кактусы, цветочные клумбы. Эта обрушившаяся лавиной темнота была необоримой, хотя были лупа и звезды. Темнота приторно пахла цветущей маслиной и переспелым черным виноградом, трещала цикадами, пела гортанным голосом подвыпившего гуляки, гудела нетерпеливыми автомобильными гудками.

А утречком солнце опять всплывало пад зубчатой грядой, и Петя радостно поражался: тонет в море - всплывает в горах!

Впрочем, и солнце, и горы, и домики, и зелень - все было прекрасно, лишь дополняя чудо. Чудо же было одно - море.

Мать и сын ходили к морю трижды на дню - после завтрака, обеда и ужина. Но ночью, во сне, Петя не расставался с чудом ни на минуту: он лежал на топчане - и глядел на море, сидел на нарапете - и глядел на море, шел вдоль кромки - и глядел на море, плескался у берега - и глядел на море. Насмотреться на него Петя не мог и ночью, во сне, повторял то, что делал днем, наяву.

Когда море было доброе, спокойное, оно бережно несло на себе суда, людей и дельфинов; днем было теплое, млелое, вечерами курилось в охолодавшем воздухе, неся на себе блескучую лунную дорожку.

Полуденное солнце пронзало толщу воды, и она переливалась, меняла цвет - зеленый, голубой, синий, пенно-радужный, - а то вдруг все краски смешивались в одну, которой и названия нет.

Если было безоблачье, вода становилась еще синей от отраженного в ней неба, если хмарь, море становилось еще свинцовей от отраженных туч. Под дождинками оно словно кипело, при грозе молнии впивались в его поверхность, гасли без следа. В шторм ревело, гнало высоченные волны, ветер срывал барашки, и тысячетонный прибой сотрясал набережную. Петя любил море и в шторм, норовя подойти поближе, чтобы ощутить на губах гневные соленые брызги. Хотя мама не пускала его и страх не пускал.

Море было изменчивое, каждый раз неожиданное. Поэтому и мальчик каждый раз, увидав его, задыхался от счастливого волнения, как будто знакомство происходило впервой. И Лидии Васильевне надоело это видеть. Сначала она щадила сына, посмеивалась про себя, но впоследствии, окончательно закиснув в этом забытом боженькой райском уголке, стала выговаривать не без раздражения:

- Петенька, нельзя же быть столь впечатлительным и, если хочешь, сентиментальным... Ты мужчина, закаляй характер!

Мальчик не очень понимал, чего хочет мать, и уж совсем не обращал внимания на ее тон. И ей делалось неловко, она привлекала сына, тормошила, целовала. Стараясь не обидеть мать, он высвобождался, оглядывался: не застукал ли кто этих нежностей, он же пацан, не девчонка. Хотя маму он любит всегда и всякую - добрую и сердитую, ласковую и строгую, молчаливую и разговорчивую. Только чтоб без нежностей, чтоб не слюнявиться.

Лидия Васильевна приехала в Гагру с непреходящим чувством одиночества, знакомым ей не один год. Но рядом все-таки был сын, а вот теперь он отдалился, носится со своим морем, и ей стало вовсе одиноко. До смерти наскучила эта курортная глухомань, куда она прикатила, наслушавшись рассказов сослуживицы о благодатном абхазском климате и рыночной дешевизне. Хотелось доставить сыну радость - и доставила. На что ж и на кого нынче обижаться? Но обида крепла, будто отпочковавшись от той громадной обиды, что появилась еще до рождения Пети.

Данные о рыночной и прочей дешевизне были сильно преувеличены, а климат действительно был благодатный. Но уже раздражали лазурное море, теплое солнце, яркая зелень, местные жители - шумливые, назойливо-гостеприимные. И вовсе были непереносимы курортники. Не те, которых поменьше, - работяги в обтрепанных брюках, партийки в красных косынках, - а те, которых было побольше, - упитанные вчерашние буржуечки и нэлманочки с нынешними ответственными мужьями не меньшей упитанности, восточные люди в соломенных шляпах и чесучовых костюмах, из Тифлиса, Эривапи, Баку, их дамы сверкали кольцами и браслетами. Вся эта гладкая, самодовольная публика вертелась вокруг пляжей, базаров и ресторанов. Жарило солнце - восточные люди за ресторанными столиками вытирали пот со лиа не носовыми платками, а бумажными салфетками, шли парные дожди - на тротуары выползали улитки, под подошвами курортБНКОВ хрустели, как пустые спичечные коробки. Противно. Бархатный сезон, будь он неладен...

Лидия Васильевна вспомнила московский деревянный домкупчину и как она, восемнадцатилетняя, стояла на крыльце, а сверху шмякался голубиный помет, а по железной кровле стучали коготками голуби, словно дождь стучал. И ей захотелось не этого южного, парного дождика, но московского - холодного, секущего, по-настоящему октябрьского. Домой, в Москву!

Одно событие ускорило отъезд.

Петя с мамой был на пляже. Мама лежала на топчане лицом вверх, на носу приклеена бумажка, чтоб не обгорел, глаза прикрыты. Петя сидел рядом на гальке, смотрел в море. Оно было дремотное, в прозрачной дымке, шлепало ленивым прибоем. По горизонту плыл, будто стоял, трехтрубный пароход, поближе к берегу белел косой парус яхты, белели шлюпки с рыбаками. Выпрыгивая из воды, играл черный лоснящийся дельфин. На глубине, у флажков, плавали взросые, на мелководье плескались дети.

- Мама, я окунусь, - сказал Петя.

Не открывая глаз, Лидия Васильевна ответила:

- Далеко не заходи.

- Хорошо, - сказал Петя, вставая, и тут увидел: из моря выходит девочка в оранжевом купальнике, в резиновой шапочко, вода стекает с девочки. Что-то поразило Петю, и он пошел к ней.

И пока дошел, задохнулся от внезапного счастья. Будь постарше, он бы подумал: одно чудо - море - родило другое чудо - девочку. Он бы понял, что девочка была большим чудом, но перед морем он благоговел, а к девочке можно было подойти и взять за руку. И он взял ее за влажную, прохладную и тонкую руку. -

Давай дружить. Меня зовут Петя.

Она не удивилась, сняла резиновую шапочку, тряхнула русымп завитками.

- Давай. Я Вика.

- Мне почти семь, - сказал Петя. - Скоро восьмой пойдет.

- А мне уже семь. Я старше тебя!

- Старте, - сказал Петя. - Ты здорово плаваешь. Научишь?

- Да. Если будешь слушаться.

- Буду, - сказал Петя.

Ему казалось: разговаривая с этой необыкновенной, поразившей его девочкой, он и сам становился каким-то необыкновенным, новым, который все может, даже научиться плавать. В чем ее необыкновенность, он не знал. Но это был факт, что она не походила ни на кого из девчонок, - это-то он наверняка знал.

Он проводил Вику до топчана, где загорала со мама, полная красивая женщина в шелковом купальнике, постоял, переминаясь. Мама весело спросила:

- Вика, это твой кавалер?

Девочка, вытиравшаяся махровым полотенцем, ответила:

- Это Петя. Мы будем дружить.

- Дружите, дружите, - сказала Викина мать и повернулась на другой бок.

Петя с Впкой уселись на галечник и стали играть в чет-нечет, готом бросали плоские камешки, "пекли блины" - у кого галька больше подскочит на воде. Побеждала Вика, и Петя этому не удивлялся. Она была иной, чем все девочки. А потом Вика учила его плавать вдоль берега. И саженками, и по-лягушачьи, и под водой.

Петя суматошничал, хлебал горько-соленой водицы, но у него коечто получалось, хоть малость держался на воде. А раньше умел плавать лишь по-топориному. Дайте срок - будет плавать и саженками, и по-лягушачьи: он ведь сделался чуть-чуть необыкновенным. От Вики передалось.

Они купались, грелись на солнышке, играли, снова лезли в море, и у Пети не проходило чувство необыкновенности всего этого - Вики, моря и его самого, Глушкова Пети. Он не отходил от девочки нп на шаг, и Лидия Васильевна еле дозвалась его на обед. А Впкина мама смеялась:

- Дочуня, до чего ж у тебя преданный кавалер!

- Он не кавалер, а Петя.

- Это все равно! - Викина мама смеялась егде заразительней.

В столовой Лидия Васильевна выговаривала сыну:

- Просто непрплпчно - так прилипнуть к чужой девочке.

- Она не чужая. Мы с ней дружим.

- Ладно, ладно! - Лидия Васильевна отмахнулась от назойливой, свирепой осы. - Компот будешь пить?

- Ну! - сказал Петя и сплюнул.

Грозно жужжали осы. За раскрытым окошком сигналила на дороге грузовая автомашина, скрипели повозкл, запряженные буйволами. У изгороди коровы бренчали колокольнями, .хрюкали черно-белые, пятнистые свиньи с треугольными деревянными колодками на шеях - чтоб не пролезли в огород. На террасе соседнего дома, где сушились на гвоздях связки красного перца, кукурузных початков, табака, мужчина в клетчатой руСашке кричал женщине в блузке, с отвисшей грудью:

- Хэ, кого учишь? Меня учишь!

Жужжите, сигнальте, скрипите, хрюкайте, разговаривай го, пойте - все звуки нужны Пете Глушкову. И чем их больше, тем лучше. Сам бы закричал что-нибудь, или пропел, пли свистнул, да мамы опасается. Тем более она жалуется: "В этом поселке адский шум, буквально голова раскалывается..."

И на их квартире шума хватало. Лидию Васильевну особенно донимали грохот машин, лай и мяуканье - пушистые собака и кот были голосисты. Но Пете они нравились; во-первых, жили дружно, спали и то на пару, во-вторых, ластятся к людям, любят поиграть, поноситься. Пегий, криволапый Шарик был хитер, изворотлив и добродушен. Мурзик - полосатый лежебока с насмешливым прищуром крапчатых глаз, в темноте они горели дьявольски.

Шарик был попрошайкой: становился на задние лапы и глядел умоляюще до тех пор, пока не получал вкусненького. Мурзик благосклонно, а то и надменно принимал дары - как будто делал одолжение. Оба ластились к кому угодно, но преданы были только хозяйке, Медее Виссарионовне, седой, тощей и бородавчатой, в неизменно черном одеянии. Медея Виссарионовна неутомима, с утра до ночи она возится в саду и на огороде, прибирает в комнатах, стряпает кушанья, стирает, гладит. Однако она находит время приласкать Шарика и Мурзика. Если ласкает Шарика, кот начинает тереться о ее ноги, ревниво мяукать, если ласкает Мурзика, о ее ноги трется пес, ревниво взлаивая. Это, пожалуй, единственный изъян в их собачье-кошачьей дружбе.

Петя с мамой обедали в столовых, а завтракали и ужинали у Медеи Виссарионовны, и поэтому мальчик имел возможность подбросить Шарику и Мурзику куриную косточку, кусочек баранины, хлебца с маслицем, конфетку. Нельзя сказать, что собака и кот были слишком уж неразборчивы, скорее наоборот -

простую хлебную корочку, без масла, они могли понюхать и не съесть. Им бы что полакомей!

А еще Петя одаривал Вику. Тут уже подношения были иные:

яблоко или груша, шоколадка или хурма, кисть "изабеллы", горсть фундука, початок вареной, горячей кукурузы. Петя совал их девочке везде, где виделся с ней, - на пляже, в приморском парке, на пристани. Лидию Васильевну это вгоняло в краску, а Викина мать хохотала:

- Аи да кавалер! Широкая натура!

На пристани, где обосновались рыбаки с удочками, гордые и неприступные, Петя ухитрился выпросить только что пойманную рыбу-иглу, зд"сь же подарил Вике. Та подержала ее в руках, скользкую, извивающуюся, и отпустила в море. Петя спросил:

- Не жалко?

- Жалко, - сказала Вика. - Но, может, рыбка не простая, а золотая и выполнит мое хотение.

- А что ты загадала?

- Секрет.

Петя не стал допытываться, хотя любопытство разбирало.

Вика шепнула ему на ухо:

- Я просила: пускай она сделает так, чтобы я дожила до ста лет! Как бабушка Элико!

Это верно, бабушке Элико сто лет, и она еще бодрая, сидит на раскладном стульчике у пляжного входа под большим зонтом и за две копейки взвешивает на весах всех желающих. Петя попробовал представить Вику столетней и не сумел. Вика не могла быть старенькой, хотя и бодрой, но седой, морщинистой. Вика могла быть лишь такой, какую видел сейчас мальчик. Он улыбнулся и сказал ободряюще:

- Доживешь.

Прогулочный катер отваливал от причала, мигая зелеными и красными огнями. Море шлепало о сваи, йодисто пахли гниющие водоросли. Летучие мыши мельтешили в сумерках, стригли воздух будто всплескивающими крыльями. Сторожевой прожекторный луч прорезал мглу, ложился на воду, как лунная дорожка, освещал Вику - в матроске, в юбочке с оборками, на затылке бант...

Утром, придя на пляж, Петя не увидел ни Вики, ни ее мамы.

Он не успел спросить, почему их нет, как услышал то, от чего мурашки поползли по спине. Об этом на пляже говорили все завсегдатаи - перебивая друг друга, с подробностями, с размахиванием руками и закатыванием глаз.

Вчера вечером на взморье Викина мать и ее курортный приятель, основательно пьяный, надумали покататься на лодке.

Вика отговаривала, но мать высмеяла ее: "Трусишь? Так и скажи, что трусишь!" Вика села с ними. Подвыпивший мужчина пожелал купаться. Покупался. А когда влезал, перевернул лодку. Его и Викину мать подобрали, девочку не спасли. Хотя она неплохо плавала, но что-то, видимо, стряслось, может быть, ударило лодкой. Девочку выловили мертвой и откачать не сумели. Поминутно ахавшая и охавшая женщина в сарафане, будто бы видевшая, как Вику привезли на пристань, пришепетывала:

- Лежит себе, голубушка, как живехонькая, ручки вот эдак сложены, а в глазках стоит вода, ну ровно плачет девчушка-то...

Петя не все понимал из слышанного, но одно понял: Вики нету в живых, она никогда не придет к нему на пляж. Мурашки ползли по спине, начал колотить озноб. Петя поднял голову, посмотрел на море, штилевое, мирное. Это чудо оказалось злым! Или люди виноваты? Тогда почему утонула Вика, а не тот, постылый, пьяный, опрокинувший лодку?

Петины плечи затряслись в рыданье, он упал на гальку. К нему подбежала растерянная, пришибленная Лидия Васильевна:

- Что с тобой, сынок? Ах, боже, какое несчастье! Нет, все, завтра же уезжаем отсюда! Слышишь, Петенька, - уезжаем! Успокойся, ради бога! Ах, какое несчастье...

Сначала море и девочка часто вспоминались Пете Глушкову, но с годами воспоминания тускнели, стирались и наконец вовсе стерлись, имя девочки забылось. А на войне, уже взрослому, море и девочка стали сниться, и он просыпался с мокрымн глазами.

5

Восточная Пруссия - обжитая, ухоженная сторона. Спрямленные асфальтовые дороги, обсаженные липами, тополями или декоративным кустарником, голубая мечта шоферов. Конечно, наше российское бездорожье тут помянешь не раз: дескать, живут же люди. Батальонный замполит Трушин меня поправлял: во-первых, не люди, а фрицы, фашисты, во-вторых, мы не должны низкопоклонничать перед заграницей, должны разоблачать ее. Я отвечал ему в том смысле, что фрицы бывают разные, не все сплошь фашисты, насчет же разоблачения - правильно, надо разоблачать, однако же живут недурно, никуда не денешься. Другое дело, что немцы выкачивали из покоренных государств богатства и вкладывали в свое хозяйство, в свою страну, из непокоренной России тоже повысосали - будь здоров. Но факт, как говорится, налицо:

распрекрасные дороги, каменные дома, теплые уборные, ванные, кухни облицованы кафелем, мебель - ничего не скажешь. Да нет, устроены они неплохо. Леса разрежены, сады чистенькие - немцы аккуратисты и трудолюбивы, этого у них не отнимешь.

Не будь войны, мы бы жили похлестче немцев, но ничего, после победы заживем! На это Трушин ответил: не выскакивай с собственным мнением, когда есть официальное. Я спросил его:

- А ты имеешь собственное мнение?

- Имею. - Трушин щербато усмехнулся. - Оно всегда совпадает с официальным.

- А мое подчас не совпадает. Как в данном случае.

- Умней всех хочешь быть, - проворчал Трушин.

Нет же, не хочу быть умней всех. Просто хочу прийти к самостоятельным выводам, без подсказок. Голова дана для того, чтобы ею думали, а не только чтоб водружать на нее пилотку или ушанку. Разумеется, я могу ошибиться и таки ошибаюсь: опыта маловато, еще зелен, глуп, мальчишка (хотя бывает, что чувствую себя шестидесятилетним). Но я не автомат, это немцы воспитывались как автоматы, чтоб не рассуждали. А отчего бы мне не порассуждать?

- Бессмысленное занятие, - сказал Трушип. - Болтовня и словопрения. Надо делать дело, поменьше разглагольствовать.

Это он путает: рассуждать, размышлять не значит бездельнпчать, и рассуждая можно дело делать. Я сказал ему об этом. Он не согласился, заявил:

- Ты доморощенный философ. Всему торопишься выставить оценку. А оценки, между прочим, выставляет история.

- В смысле - отдаленное будущее?

- Более или менее отдаленное.

- Я хочу, чтобы и мое мнение учла история.

- Мало ли чего мы хотим, мелочь пузатая.

- Если тебе нравится, можешь считать себя мелочью. А мне противно это самоуничижение!

- Обиделся? - искренне удивился Трушин. - И зря. Надо быть самокритичней, не переоценивать себя.

Тут он, пожалуй, прав: это со мной приключается - переоцениваю свои возможности. И самокритичности не хватает, признаю. Но почему мы с замполитом так часто спорим? Разные мы с ним. Хоть он и политработник, подкованней меня, а со многими его высказываниями я не согласен. Подчас он мне неприятен как человек. А все же, случается, и соглашаешься с ним: бросит какую-нибудь фразу - как будто попадет не в бровь, а в глаз. В самую точку попадет, и нечем крыть.

Но больше всего примиряет с Трушиным то, как он воюет. На войне это главное - как ты воюешь. Вот здесь-то могу перед Трушиным снять шляпу, то есть пилотку: храбрейший малый, никогда не ограничивается словесными призывами, ломит в атаку наравне с бойцами. Где они, там и он. Вот это я понимаю,

комиссар показывает личный пример. А то приходилось встречать: пламенные призывные слова, сам же чуть что - в кусты. Иначе говоря, в тылы. Вы на пулеметы, а я в обоз, ездовых нужно еще поагитировать. И надо же - того трусоватого накрыло миной из шестиствольного, а Трушин, чертяка, изо всех переделок выходит невредимый.

Я говорю почему-то в настоящем времени: воюет, выходит невредимый. Но ведь надо говорить в прошедшем времени! Это все было, ушло, сгинуло, теперь иное - войны нет. Ни артобстрела, бомбежек, пулеметного огня, ни наступления и обороны, маршей и привалов - ничего нету. Настал мир, тот мир, о котором мы мечтали четыре года. Мы победили! Наверное, чем дальше мы будем отходить от дня Победы, тем величественней будет она выглядеть. Ее значимость будет расти во времени, пока не станет ясно всем: это событие решило судьбу человечества...

С каждым днем солнышко пригревало жарче. Трава зеленела, выбившись отовсюду, где можно. Она казалась особенно сочной оттого, что и здешняя земля, в сущности, обильно полита кровью.

На лесных опушках появились первые ландыши, вдоль полевых окрайков колокольчики, кашка, одуванчики и цветы, которых я в России не видел. Над полями висели невидимые жаворонки, словно обсыпали трелями высохшие, разомлелые поля.

И я млел от близости лета и от женской близости. О, мирные деньки мелькали - не то что на войне, там они нудно тянулись.

Так вот всегда: хорошо тебе - время бежит, плохо - время стоит.

Не пропадала мысль: я свое отслужил, отвоевал, пора в гражданку, за учебу, пусть другие послужат.

Прислали других. Это было пополнение, десятка три желторотых, семнадцатилетних: на щеках незнакомый с бритвой пушок, припухлые губы, доверчивые и детски любопытные глаза, цыплячьи шеи. Подобных юнцов я видывал в пополнениях, прибывавших на фронт, - не все они доживали до второго боя. Эти прибыли после победы, и многие жалели: эх, не повоевали, без нас кончилось. Ребята были послушны, исполнительны, вовсю глядели на наши ветеранские груди, где звенели-позванивали ордена да медали. А я глядел на их чистые юношеские лица и чувствовал себя стариком, у которого за плечами фронтовые годы разлуки с женой, с детьми и с внуками. И от этого было грустно.

Еще было грустно от сознания: этих солдатиков прислали служить не вместо тебя, а у тебя. Это мои подчиненные, я их отецкомандир. Я должен служить. Сколько - никто не знает. Кроме бога и Верховного Главнокомандующего, он же нарком

обороны.

Бога нет, это я знаю точно. Верховный и нарком есть, и это я знаю не менее точно. Ну что ему стоит, Верховному и наркому, издать приказик: дескать, студенты, которые не доучились... и так далее. А ведь не издаст, чует мое сердце, не издаст.

Солдатики же из последнего пополнения, разумеется, ни о какой демобилизации не помышляют. Они хотят служить. Они послушны, не испорчены и на шесть годов моложе меня. До чего ж много - шесть лет!

Это пополнение послужило толчком к одному занятному разговору с Эрной. Проведав, что солдатикам по семнадцать, Эрна сказала мне:

- Почти мои ровесники.

Задумалась. Посмотрела на меня искоса. Спросила:

- А если я тебе, Петья, принесу пополнение, а?

Сперва я не разобрал, о чем речь, переспросил:

- Что-что?

- Сына тебе рожу или дочь, - сказала Йрна. - Ты кого хочешь?

И засмеялась - отрывисто, будто вскрикивая. Не люблю, когда она смеется. Лучше б улыбалась. Но она ни разу не улыбнулась. Покраснев, кое-как пересилив смущение, я ответил:

- Родить-то родишь, а что с ним делать? Кем он будет считаться, ребенок, - русским ли, немцем...

- Это был бы мой ребенок. - Эрна перестала смеяться. - И твой... Но не беспокойся, ребенка пока не будет.

"Пока-то пока, а все-таки", - подумал я, продолжая дурацки краснеть и потеть.

- Ну, не расстраивайся, мой милый, не сердись. - И Эрна поцеловала мне руку.

- Не сержусь, - сказал я, хотя действительно ощутил нечто вроде досады.

Сказанула черт-те что, а теперь целует руки - у мужика. Мда.

Ну, а ежели она и впрямь забеременеет? Родит мне наследника?

Куда я с ним денусь? И куда она денется? А руки целовать взяла за моду с тех пор, как фрау Гарниц полегчало. Я попросил полкового врача осмотреть ее. Он осмотрел, принес порошки, пилюли и мази, фрау Гарниц стала лечиться, и однажды Эрна поцеловала мою ладошку.

- Спасибо за маму. Она встает, скоро будет ходить.

А потом начала целовать мне руку после каждой нашей близости. Я сказал:

- Эрна, не надо.

Она ответила:

- Я очень люблю тебя и благодарю за все. И ты позволь мне... Позволишь?

- Ну, пожалуйста, как хочешь.

Я был не в своей тарелке. После близости я тоже бывал благодарен ей за теплоту, за ласки, за нежность. Но у самого не было потребности поцеловать ей руку. А вот она целовала. И мне было неловко, нехорошо оттого, что она испытывает эту потребность, а я нет.

- Не сердись, не сердись, - говорила Эрна, - я не рожу. Ты хороший, я не сделаю тебе неприятное... Ты очень хороший!

"Это в сравнении с другими, - подумал я. - А так - какой там хороший?"

Я поцеловал Эрну, потрепал по щеке. Она сказала:

- Петья, а правда, что нас выселят?

- Кого вас? Тебя с матерью?

- Немцев, которые живут в Пруссии.

- Откуда взяла?

- В городе все немцы об этом говорят. Нас выселят в Германию, а Восточную Пруссию заберут себе русские или поляки.

Это правда?

- Мне не докладывали, - сказал я.

- Не хочу отсюда уезжать, - сказала Эрна. - И куда столько немцев разместят?

Что верно, то верно, трудно будет разместить переселенцев - уж больно плотно населена Восточная Пруссия, она нашпигована городами, городками, селами, фольварками, на каждом шагу поселение. Да ладно, как-нибудь перемогутся, наш народ и не то вынес. За войну надо расплачиваться. Поэтому вполне возможно, что пруссаков стронут с насиженных мест.

Я подумал об этом, но Эрне ничего не сказал. Она-то при чем?

Тут ее беда, а не вина. Заварили кашу главари, расхлебывать же приходится всей нации. Эрна сказала:

- Если бы ты знал, как я ненавижу фюрера и его свору, тех, кто развязал войну. Будь они прокляты!

- Их будут судить, - сказал я. - Хотя в печати сообщалось, будто Гитлер и Геббельс покончили с собой.

- Трусы! Боялись держать ответ. Подлые трусы и убийцы! - Щеки Эрны побледнели, губы скривились. - Будь они прокляты!

И будь прокляты все мы, немцы!

Она еще сильней побледнела, плечи ее передернулись. Что же, это было прозрение, жестокое, неумолимое, запоздалое. К концу войны многие немцы стали прозревать.

Ей досталось вдоволь горького. Да и мне. Но мы живы и будем жить. А сколько людей не будет? Вот и перед ними, павшими товарищами, я также виноват. Может быть, я должен был погибнуть заодно с ними. Временами я почти уверен в этом. А временами чертовски хочется жить, радоваться жизни и брать от нее все, что положено живущему на земле.

Разговор с Трушиным. О чем? Не о чем, а о ком. Об Эрне.

Трушин сказал мне как бы невзначай:

- Расстанься с немочкой, Петро. Что, русских баб не хватает? Оглянись вокруг...

- Хватает. Но пойми, так получилось. Прикипел к ней. Временами мерещится: люблю ее, немку, по-настоящему...

Сказал и вспомнил: по-настоящему - это ее выражение, Эрны.

Трушин сморщился.

- Вот уж точно: тебе мерещится! Осенись крестом - и сгинет наваждение!

Изволит шутить? И отчего затеял этот разговор? По собственной инициативе? Вдруг озарило:

- Тебя замначподива подбил?

Трушин малость смутился:

- На данный разговор? Ну, он, что из этого?

- Ничего... Но можете вы понять: немка тоже человек?

- Кто ж спорит, человек. Однако время, ситуация неподходящие...

- Мы всегда интернационалисты!

- Даешь, Глушков! Нашел на чем демонстрировать интернационализм! По-твоему выходит, ласкать немочку - святое даже дело...

- Ничего не выходит. - И я смутился. - Просто так получилось... И к тому же немки и немцы начнут меняться после войны...

- Дай-то бог.

- Я в том уверен...

- Слушай, Петро, ты же всемирно известный скромник по

женской линии. Соблазнила тебя, что ли?

- Пошел к черту!

- Приворожила? Опоила зельем?

- Я сказал: иди к черту!

- Вот и побеседуй с таким... Ладно, будем считать: поручение замначподива выполнил. А углубляться в данную тему не буду:

слишком интимна, так ведь?

- Воистину так, милый ты мой замполит! Отчепись, как говорят у нас на Дону. Я же не маленький, сам за себя отвечу...

- Ну и отвечай. Мой долг - предупредить...

- Уже предупреждали.

- Ох и упрямый ты осел, Петро!

- Благодарю за добрые слова.

- Не за что.

И мы рассмеялись - вроде бы ни с того ни с сего. Рассмеялись, впрочем, невесело. И уж вовсе мне стало грустно, когда Трушин добавил доверительным, дружеским тоном:

- Я тебя понимаю, Петро. Понимаю, но одобрить не могу. Извини.

Я с вечера знал, куда мы пойдем утром. Нас, офицеров, после обеда оставили, и командир полка объявил, чем подразделения займутся завтра. Новость была ошеломляющая, и сразу забылся казус за обеденным столом.

К обеду я опоздал - задержался в штабе дивизии, куда выезжали с комбатом на инструктаж по караульной службе, - в столовую мы вошли, когда уже раздавали второе. Комбат и я попросили разрешения присутствовать, командир полка кивнул. Комбат пошел к голове стола, я - к хвосту: за каждым был закреплен стул согласно чину. У нас принято говорить: "Приятного аппетита". Мне это пожелание давно казалось сусальным, мещанистым, и я решил на сей раз избежать его, шутливо сказал соседям:

- Волчьего аппетита!

Кто-то рассмеялся, кто-то обронил: "Спасибо, тебе того же", начальник же штаба скрипуче произнес на всю столовую:

- Товарищ Глушков, к вашему сведению: мы люди, а не волки!

Гляжу на него - майор бурачно-красный, злой. Неужели я сморозил что-нибудь? Или шутка не дошла до майора, большим умом он не отличается. Надо было бы сказать: "Хорошего аппетита!" - и он бы не разозлился. Мне неудобно, я смущен. И всем неудобно, кроме майора. Оп скрипит:

- Вы поняли, лейтенант Глушков?

Я собираюсь ответить: "Так точно, товарищ майор", привстаю и цепляю за скатерть - тарелка с супом опрокидывается на меня.

Стою дурак дураком, с макаронинами на гимнастерке...

А командир полка сообщил нам: завтра будем тренироваться в посадке в эшелоны, выделен один железнодорожный состав, поэтому будет составлен график, какому подразделению в какой день тренироваться.

Перед ужином начальник штаба собрал офицеров, зачитал инструкцию о том, как грузиться в эшелоны, и перечислил подразделения, выделенные для тренировки завтра; была названа и моя рота.

Я слушал майора, стараясь не думать, почему у багроволицего, тучного человека скрипучий, въедливый голос. Я старался думать о том, как получше подготовить личный состав к необычным завтрашним занятиям.

Накачал командиров взводов и моего заклятого друга Колбаковского. С той поры, как меня назначили ротным, старшина переменился - сама учтивость и предупредительность. Хитер старый служака, на всякий случай перестроился: пу как из временного стану постоянным? А вообще-то он толковый хозяйственник, хотя и комбинатор, за ним нужен догляд. Опытен, трудолюбив, требователен. Сдается, не было веских причин конфликтовать с ним, я раздувал, прыткий, самоуверенный вьюнош.

Подспудная, копошилась, саднила мысль: тренируют в погрузке на поезд, значит, дивизию повезут. Куда? На родину, конечно! Но куда конкретно? Родина необъятна.

Солдаты еще как будто не знали о предстоящих занятиях - я должен был объявить им на вечерней поверке, - но уже по всем углам слышу: скоро нас повезут домой! Даже места называют.

Правда, разнобой: тот Рязань предсказывает, тот - Казань, тот Вологду. Откуда берут сведения? Из сообщений ОБС - одна баба сказала. Женщины болтливы, это факт. Однако и мы, мужики, не всегда им уступаем. Почему Вологда? Почему не Сызрань? Ейбогу, болтуны.

Но поразительней всего то, что о тренировочных посадках в эшелон знала и Эрна. Ночью она сказала мне:

- Будете садиться в эшелон? Завтра учеба, а послезавтра и в самом деле уедешь?

И схватила мои руки, принялась целовать. Я еще не раздевался, еще не было между нами ничего, а она целовала и целовала мои руки, и я ощутил на них мокрое, теплое.

- Не плачь, Эриа. Когда-нибудь я ведь должен уехать.

- Понимаю. Но без тебя будет тяжело. Вот в городе все радуются, когда русские солдаты уезжают домой, и мама радуется.

А я тоскую, я понимаю: сейчас уезжают они, а потом уедет и мой Петья... Ты мой?

- Твой, твой.

- Иди ко мне...

Я не высыпался, по утрам лень было вставать, хотелось поваляться, побыть с Эрной. Но в это утро поднялся решительно.

Умылся холодной водой из крана. Побрился, изучив в зеркальце свою исхудавшую, осунувшуюся физиономию - в подглазьях синева. Насвистывал опереточный мотивчик и разумел, почему у меня настроение отменное. Потому что сегодня учимся посадке в эшелон, а завтра либо послезавтра, глянь, и натурально уедем. Домой, в Россию!

На железнодорожную станцию шли с полной выкладкой, но легко, ходко, с песнями и посвистом. Вижу, у всех великолепный настрой. Еще бы - Казань или Рязань маячат. А в Кушку не хотите? Да и Кушка подойдет, лишь бы на родину, в Союз, к своим.

Тем более - пущен очередной слух: в Союзе дивизию расформируют - и все по домам.

На станции полно войск и техники. Расцепленный на части состав облеплен людьми: тренировка уже идет. Мы подходим к выделенным нашему полку крытым вагонам и платформам, и потеха начинается. Покрикивают командиры: "А ну, больше жизни!" - покрикивают солдатики: "Раз, два - взяли! Еще раз взяли!" Солдатики выполняют команды с ходу и с рвением, всех охватывает азарт. Кто-то поет, кто-то матерится. Ржут лошади. Свищет маневровый паровоз.

Подкатываются пушки, подводятся кони, волокутся ящики и тюки сена, катятся бочки. С погрузочно-разгрузочных площадок бойцы заводят в вагоны лошадок, на платформы с откинутыми бортами закатывают пушки, повозки, полевые кухни. Последней в теплушки садится матушка-пехота - это ей раз плюнуть. Затем принимаемся за выгрузку.

Поодаль, у разбитого вокзальчика, за погрузкой-разгрузкой наблюдает дивизионное и полковое начальство: полковник и подполковник взглядывают на часики, многозначительно покачивают головами. Что, не укладываемся в срок? Стало быть, нас будут гонять еще с этой погрузкой-разгрузкой. И точно: нас гоняли до седьмого пота. А жара уже летняя, основательная.

Трижды мы погружались и выгружались - с неизменным удовольствием, распаренные, усталые, возбужденные. Это было похоже на игру взрослых, непосредственных, по-детски радующихся и самой игре, и тому, что за ней последует.

А я, по совести, не совсем уяснил, для чего, собственно,

нужны эти тренировки. Чему тренироваться? Ну, взяли и сели в эшелон, только и деловито. Вот как сейчас. Комбат пояснил:

- Видите ли, Глушков, на погрузку отводится определенное время. Так же, как и на выгрузку... Командир полка поставил задачу: суметь погрузиться досрочно.

- А зачем досрочно?

- Разве плохо, если мы опередим график?

- Но что это даст? Для чего опережение?

- Для пользы службы, - сказал комбат многозначительно.

А гвардии старший лейтенант Трушин ухмыльнулся:

- Лезешь не в свои сани, философ. Тебе известно, что на погрузке в эшелоны будет лично присутствовать командир корпуса?

- Нет.

- Ну, а мне известно. Что же, командиру корпуса будет приятно, если мы сядем раньше хотя бы на пяток минут.

- А если вовремя? То уже неприятно? Для формы, для парада все это. Скажешь - нет?

- Скажу! Мы, советские люди, так воспитаны: выполнять все досрочно. И это хорошо, а не плохо. В армии особливо.

- Но всегда ли это целесообразно? Ведь эшелон уйдет по расписанию, а не на пять минут раньше. Как хочешь, но тут я не обнаруживаю смысла.

- Бессмыслица?

- Да вроде.

- Выбирай выражения. - Трушин поморщился. - Как-никак ротой командуешь, соображать бы надо.

- Я и соображаю.

Трушин промолчал, посопел: что, мол, за спрос с этого Глушкова - чудак, краснобай, спорщик. Словом, философ. Не прав ли Трушин? Не слишком ли я философствую, рассуждаю, сомневаюсь? В армии надлежит не сомневаться, а выполнять приказы.

Армия есть армия. Я есть пехотный лейтенант, доктор философских наук это кто-то другой. Это я с победой стал говорливей.

На фронте больше помалкивал. Воевал. Было не до излияний. Теперь же и по пустякам высказываешься. Стоит ли? К тому же тебя не понимают. Либо не желают понять. Как Трушин, например. Разговаривает со мной свысока, поучает, как будто я не ротный. Нет, надо вести себя с большим достоинством. Не кипятиться, не разбрасываться словами налево и направо, знать им цену.

Пора повзрослеть! Не странно ли взрослеть мне, начавшему

войну по сути мальчишкой и закончившему ее так, что иной раз мерещится: шестьдесят за плечами.

Абрамкин Фрол Михайлович незадолго перед демобилизацией сказал мне:

- Товарищ лейтенант, заглавное горе мое - сын-старшак сгиб на войне. Я вот после победы и отписал старухе: "Извини, Катерина, что я остался жить, а наш сокол..." Старуха отписала:

"Коли так случилось, чего ж, живи..." И у меня отлегло от души, ровно бы простила она меня...

А май разбегался, набирал скорость, дни мелькали, сливаясь один с другим. Не за горами был июнь, 22 число, которое не переставало меня тревожить. 22 июня сорок первого и 9 мая сорок пятого! Между этими датами уместилась едва ли не вся моя жизнь, спрессованная, как тюк сена: распотроши - и годы рассыплются, разлетятся аж в далекое детство. Но все, что было до войны, - как бы пролог к моей жизни. То, что будет после войны, - это эпилог?

Погода держалась жаркая. Перепадали дожди, грозовые, грибные, неосвежающие. Солдаты бегали освежаться к мелкой, илистой речонке за городом, хотя был строжайший запрет: можно напороться на мины, были уже случаи. Но все бегали окунаться в коричневую, в кувшинках воду, лениво текущую среди низменных, топких берегов. Я не составлял исключения. Подговаривал Эрну, однако она стеснялась появляться со мной на людях: что скажут немцы, что скажут советские офицеры? А когда бывали с ней наедине, то никого и ничего не стеснялась, озадачивая и пугая меня.

В полях цвели колокольчики и ромашки, на диво крупные.

Я нарвал их, нарвал кувшинок, получился приличный букет. Принес Эрне. Она приняла его, прижала к груди.

"Будет целовать мне руки", - подумал я. Она не поцеловала, отошла к столу, поставила букет в вазу, а когда подняла глаза, то они поразили меня. Не знаю чем. Что-то в них было такое, что я сам прикоснулся губами к ее руке. И подумалось: подарил жене цветы, надо было бы что-нибудь подарить и ребенку, игрушку какую-нибудь. Ребенок у нас не родился? А может, война убила его - на войне и около нее убивают и неродившихся детей. Стало муторно, тяжко, я сел за стол, опустил голову.

А если ребенок все-таки родится? Что ждет его? Эрну я не могу забрать с собой в Россию, если б и захотел. Не могу стать ее мужем и здесь. Многое разделяет нас, слишком многое. И сколько я еще пробуду в Пруссии? Сплошная неизвестность. На станцию тренироваться нас больше не водят. Пошел слух: дивизию не выведут в Россию, будет нести оккупационную службу. Слух

исходит от агентства ОБС - одна баба сказала. Но мне не смешно. Что тут смешного?

Ночью меня разбудил Драчев. Свистящей фистулой, которую слышала и Эрна, возвестил:

- Тревога, товарищ лейтенант! Собирайтесь!

Тревога? Ее давненько не было, "вервольфы" перевелись.

В чем же дело? Глядя в угол, ординарец сказал:

- Товарищ лейтенант, посыльный баял - сборы полные, весь полк подымается.

- Ладно, иди. Я мигом...

Прикрыл за ним дверь, постоял в нерешительности. Сердце колотилось: эта тревога неспроста, что-то серьезное. Эрна встала с кровати, шлепая пятками по линолеуму, подошла ко мне. Не обнимая и не целуя, сказала:

- Я предчувствую: тебя поведут на станцию, сегодня ты уедешь...

Голос еле слышный, больной. Недаром и у меня сердце билось учащенно: и я предчувствовал, что сегодня мы расстанемся навсегда. Я привлек ее к себе. Так, прижавшись, мы простояли, покамест Драчев снова не постучался:

- Товарищ лейтенант, поспешайте!

- Поспешаю, - сказал я, разомкнув ее руки.

Оделся, обулся. Обнял, поцеловал, слегка оттолкнул.

- Прощай, Эрна. Будь счастлива.

- И ты будь счастлив. Спасибо за все. Прощай.

- Не поминай лихом.

- Не забудь меня...

Мы говорили хриплым, придушенным, немощным шепотом, словно на большее недоставало сил. Внизу, на первом этаже, хлопали дверьми, топали сапогами, звенькали котелками. Я напоследок взглянул на Эрну и шагнул за порог. Она осталась стоять, полуодетая, с безвольно опущенными руками, дрожавшая мелкой дрожью. Эта дрожь передалась и мне, покуда обнимал Эрну.

Меня знобило, неуемно трясло и когда я осматривал выстроившуюся роту, и когда колонна вышагивала по безлюдному, безмолвному городку. Обыватели спали, окна немо чернели, лишь в одном горел свет. В окне комнаты Эрны. Ставшей и моей комнатой.

Было мозгло, накрапывал дождь. За деревья, за придорожные кусты цеплялся туман. Темнота расползалась, в разрывы пробивалась рассветная серость. Туча с рваными краями волочилась над кирхой, над островерхими черепичными, словно чешуйчатыми, крышами городка, который мы покидали, надо

полагать, навечно. На станции перекликались паровозы, станцию мы тоже покинем на веки вечные.

Мы погрузились, но час простояли, дожидаясь приезда комкора. Он приехал на "эмке", стройный, длинноногий, в сапогах-бутылках, с закрученными гвардейскими усиками, с погонами золотого шитья, на кителе Звезда Героя Советского Союза. Его сопровождал наш комдив, коренастый, грузный генерал-майор лет на десять старше и также со Звездой Героя. Генералы прошлись вдоль эшелона, пожелали нам благополучного пути. Затем, сопровождаемые свитой, встали на перроне и, когда эшелон стронулся, взяли под козырек.

Окончательно рассвело. На бугре высветился высокий столб с дощечкой, на которой готическим шрифтом было начертано, что здесь похоронен лейтенант кавалерии Ульрих фон Катценбах, погибший в России 7 июля 1941 года; пониже - небольшое аккуратное кладбище с массивными надгробными плитами, с краю кладбища два православных креста на могилах русских военнопленных, умерших еще в первую мировую. И столб, и кладбище мне знакомы: неподалеку проводились занятия по тактике. О, до чего же далек теперь сорок первый так же, как четырнадцатый год!

6

Солдаты столпились у раскрытой двери теплушки. Смолистый воздух тек снаружи, из сосняков и ельников, косо разворачивавшихся, показывавших себя со всех сторон, из тучки высовывалось солнце, моросил дождик. Солдаты радовались, шутили: слепой дождь, слепой дождь это к удаче, полный вперед!

Я был в центре этой толпы. Облокотясь на березовый кругляк, перегораживавший выход из вагона, смотрел на окрестные леса и поля, слушал солдатский трёп и ощущал своим телом их тела.

Была приятна теснота, и верилось, что и в мирные дни мы будем плечом к плечу, как в военные, что новые времена не разъединят нас. Я почему-то опасаюсь: с окончанием войны начнет исчезать то чувство братства, которое соединяло фронтовиков. Ибо мы перестали быть фронтовиками. Неужто станем отчуждаться друг от друга?

Хотя кое-кто поговаривал, что командиры подразделений будут следовать в штабном вагоне, мы ехали со своими подразделениями. Да ведь очевидно же, что так мы не выпустим подчиненных из поля зрения, сможем всю дорогу оказывать на них непосредственное влияние. А в дороге всяко может случиться. Наша рота заняла две теплушки, в одной ехал я, во второй гвардии старший лейтенант Трушин: не захотел ехать в штабном вагоне с комбатом и некоторыми офицерами полкового

штаба, прибился к нам, жить без нашей роты не может. Я шучу. А всерьез: зачем лишний раз офицерам отделяться от солдат и сержантов?

Колеса стучали под деревянным полом, вагон покачивало, он скрипел, вдосталь послуживший на своем веку товарняк. За спиной у меня травили байки, хохотали.

Ей-богу, любо уезжать, люба дорога - на сердце всегда радостно, хотя и малость неспокойно. Так или иначе, но уезжающим легче, чем остающимся. Я вспоминал Эрну, ее безвольную, поникшую фигуру и как она глядела не отрываясь, словно ппкого не существовало для нее в тот миг, кроме меня. А для меня в тот мнг существовала и она, и необходимость спешно одеться, и моя рота, и мои дела, которые предстояли после тревоги. Наверно, она все же любила меня. А я? Любил ли я ее по-настоящему? Сейчас Эрна воспринимается уже расплывчато, отдаленно, моя растерянность и расстроенность при прощании кажутся шалостью нервишек, не больше.

Конечно, мне жаль покидать милую, ласковую и покорную Эрну, но Германию покидать не жаль. Черт с ней, с Германией, откуда на нас покатилась война и куда мы обратно отогнали войну. Мы пришли сюда по необходимости. И кто-то из нас по необходимости же останется в Германии на столько, на сколько ему прикажут. А кто-то возвратится на родину, кому повезет.

Мне повезло. Как сладко ёкнуло в груди, когда паровоз дал гудок, эшелон дернулся, звякнули буфера и перрон с генералами сдвинулся, поплыл назад! Это было здорово - поезд убыстрял ход, генералы отдавали нам честь, мы им махали пилотками, кричали "ура", ветерок залетал в теплушку. То, что эшелоны провожали комкор и комдив, было отлично. Для меня генералы, повторяю, это люди, несравнимые с прочими смертными, от рядовых до полковников, это качественный скачок. Хотя, естественно, генералы выходят из полковников. Как бы там ни было, генералитет глубоко уважаю, верю в него и считаю неспособным ошибиться.

И даже история с Власовым не поколебала моего убеждения. Он, может, единственный мерзавец из всех генералов, по нему ли судить об остальных? А пожалуй, можно судить: один предатель и сотни верных, знающих, талантливых генералов. Иначе говоря, исключение из правил. Исключение, подтверждающее общее правило.

Нас провожал генерал-лейтенант, и я сделал вывод: перебрасывается весь корпус, не одна наша дивизия. Возможно, вся армия перебрасывается? Куда едем? Уже надоело гадать. Приедем - увидим. Побачим, как сказал слепой.

Ветер ерошил волосы, залезал за ворот гимнастерки, приятно холодил щеку. Распогодилось. Блеснул пруд, в котором купались бойцы-железнодорожники. Опи ныряли, плескались, орали нам что-то вслед. Эшелон пробежал сбоку взорванной водокачки, сбоку поселка, на его руинах копошились немки, старые и молодые.

Они не подняли голов, понурые, вялые, как будто невыспавшиеся. Не желают с нами попрощаться? Да и мы не желаем. Между прочим, я с фрау Гарниц не попрощался. Не оттого, что не хотел, просто хозяйка спала, не будить же ее. Зато с Эрыоп попрощался.

Аж озноб заколотил. Славная она все-таки девочка...

Колеса погромыхивали на стыках, состав извивался, и тогда были видны теплушки спереди и сзади - везде раскрыты двери, солдаты сгрудились у кругляков. Паровоз усердно дымил, семафоры вскидывали руки, беспрепятственно пропускали эшелон, словно Германия стремилась поскорей вытолкать его из себя.

Проехали пересечение железной дороги и шоссейной, на шоссе стояла регулировщица - курносая, пилотка на макушке, на погонах ефрейторская лычка, выгоревшая гимнастерка с медалью "За боевые заслуги" над кармашком облегает высокую грудь, из брезентовых сапожек выпирают крепкие, ядреные икры. Вокруг меня закричали:

- Товарищ ефрейтор, дозвольте обратиться? Предлагаю законный брак!

- Девонька, айда с нами! С нами, с казаками!

- Ах ты, ягодка-малинка, вкусна, должно быть!

- До свиданья, лапочка! Не задерживайся в неметчине!

Девушка не удостоила кричавших внимания, она невозмутимо взмахивала своими флажками, пропуская колонну "студебеккеров". Я сказал:

- Ребята, что вы так набросились на бедную деваху? Неудобно.

- Ништо, товарищ лейтенант, - ответил за всех Драчев. - Пущай привыкает женский пол. Повозвертаемся до дому, штурмом будем брать. Как город-крепость Кенигсберг!

Солдаты захохотали. А старшина Колбаковский ввернул:

- Штурмом не потребуется. Добровольно будут падать к нашим стопам!

Глянь-ка, старый служака тоже в игривость впал. Глазки сощурились, масленые. Резвятся ребята. И разве осудишь их? Живые же люди. Как ты.

В голубом небе кружил самолет, в солнечных лучах

серебрился оперением. Текуче сверкали рельсы. Паровозик пыхтел, изредка по неведомой нам причине гукал. Однопутка раздвоилась, теперь параллельно шел второй путь - рельсы были еще в ржавчине, ненаезженные, щебенка насыпи чистенькая.

Толпа у березового кругляка рассосалась. Я не уходил, всматривался в даль, в дымчато синевший горизонт, и думал: люди едут до дому, к родным, а где мой дом, куда и к кому мне ехать? И получалось: некуда, не к кому. И получалось: мое пристанище - это траншея, землянка, теплушка, госпитальная палата, казарма, мои близкие - это парни и дядьки в военной робе. Вот они разошлись, и я остался один. Скверно быть одиноким. Но пока они поблизости от меня, живые, и пока я помню их, павших, я не буду одиноким. Не буду!

Навстречу прогромыхал эшелон из теплушек и платформ, наподобие нашего, однако порожний, обдал струей ветра и пыли.

Немного погодя - еще встречный эшелон порожняком. За нашим братом? Вывозить из Германии?

Кому-то также повезет: вскоре увидит родину. А когда-то мы мечтали дойти до Германии. Дошли поздней осенью сорок четвертого. Не все. Много моих товарищей пало по пути сюда - в Подмосковье, на калининской, смоленской и белорусской земле, в Литве и Польше. А сколько полегло здесь, на неметчине? Про то знают тесные братские могилы.

Наш батальон вступил в Пруссию ночью, форсировав пограничную реку Шешупу. Она была неглубокой, чернела посреди заснеженного подлеска. Обламывая ледок у заберегов и поминая добром саперов, разминировавших надежный проход, мы вброд перешли Шешупу. На немецком берегу бросились обниматься, целоваться, подкидывать ушанки. Хватанули спирта по такому поводу. Согрелись не спиртом - боем: гитлеровцы сопротивлялись ожесточенно, то и дело переходя в контратаки. Из-за фольварка садила тяжелая артиллерия, скрипели "ванюши"; в лесу урчали "фердинанды" и "пантеры". К рассвету мы продвинулись на километр, перед фольварком стали окапываться. Прусский пейзаж похож на приграничный литовский: холмы, перелески, аккуратные ельники, подстриженный кустарник, хутора. Вот только помещичьих фольварков, внушительно-роскошных, в Литве не было.

Этот фольварк горел, от пожара таял снег и вспыхивал пух, выпущенный из распоротых перин; на перинах лежат и ими же укрываются немцы, как узналось впоследствии. К полудню гитлеровцы потеснили батальон, чуть не сбросили в Шешупу, но саперы навели понтонный мост, переправились наши танки, и мы устояли, следом за ними ворвались в фольварк. И тут фаустники

из-за углов стали поджигать тридцатьчетверки. Было горько видеть, как гибнут наши люди в Германии, - прошли от Москвы, Сталинграда, Курска, чтобы найти здесь погибель.

Еще нигде фашисты не дрались с таким упорством, как в Германии. До последнего снаряда, до последнего патрона. И столь же упорно дрались власовцы: у них не было выбора, плена боялись не меньше смерти. Вот так: бывшие советские, одетые в немецкое, стреляли в своих. Иуды. И главный иуда - генерал Власов. Сдавшийся гитлеровцам, продавший Вторую Ударную армию под Волховом. Организовавший для них РОА - "Русскую освободительную армию". С ее-то подразделениями мы и сталкивались в Белоруссии, в Польше, за Шешупой. И пощады от нас власовцы не получали.

Щадить изменников, убивавших из немецкого оружия наших людей? Нет уж, увольте от подобных слюней. Война приучила к жестокости, к беспощадности. Отвыкать от них будет не просто.

Да и не во всем нужно отвыкать, видимо.

Немцы дрались за свою землю, власовцы - за свои продажные шкуры. Враг есть враг, но предатель хуже врага. Для меня власовцы были хуже гитлеровцев. Помнится, захватили за Олендорфом власовца - детина лет тридцати, звероватый, обросший рыжей щетиной, нарукавную нашивку "РОА" успел сорвать.

Спрашивают его: "Русский?" Молчок, затравленно, по-волчьи, озирается. Взятый в плен вместе с ним немец-фельдфебель говорит: "Русский. Власовский солдат". И мой солдат-автоматчик, который гменил власовца, сгоряча отвел его за сарай и расстрелял.

Я узнал об этом позже, когда автоматчика начали тягать к военному следователю. Налицо был самосуд, и мне стоило порядочных хлопот отстоять солдата от трибунала, благо война заканчивалась.

Понятно, лучше бы предателя расстрелять по приговору трибунала, но коль так обернулось, что же, затаскать нашего солдата по штрафным ротам? За кого? А боец, между прочим, прошел от Волги до Шешупы, трижды ранен, и каратели-полицаи сожгли всю его семью под Витебском.

У нас в армии Власова ненавидели люто. Особисты все выискивали, нет ли сочувствующих ему. Комроты-шесть Власова, однофамильца, вызывали в Смерш: не родственник ли генералупредателю? Бред! О каком сочувствии можно было говорить?

Хотя бдительность нужна, признаю.

Я не хотел думать о Германии, о немцах, о власовцах - и

думал.

Про Власова мне вот что рассказали. Был в моем взводе пулеметчик, смелый, разотчаянный хлопец, меткий стрелок и любитель поговорить. В сорок втором он находился на Волховском фронте, выходил из окружения и вышел вместе с немногими. Онто и рассказывал: когда немцы окружили Вторую Ударную армию, расчленили ее и начали по частям уничтожать на болотах, Власов находился в лесной избушке. Гитлеровцы окружили ее.

Власов вышел и сказал, кто он, и добавил, что сдается в плен.

И еще добавил: чтоб не было свидетелей этого, прошу расстрелять мое окружение. И немцы расстреляли автоматчиков из личной охраны Власова и медсестру, его любовницу. Таков этот человек, если его можно назвать человеком. Интересно, где он? В Берлине? Пойман ли? Если да, то петли ему не миновать. А меткий пулеметчик, бесстрашный говорун, погиб при форсировании Шешупы, пуля угодила в переносье, малость не дотянул до победы.

Во власовцы подавались уголовники, бывшее кулачье, дезертиры, военнопленные из лагерей, всякие обиженные на советскую власть. Публика пестрая, у которой общим было - безвыходность положения после того, как надели немецкий френч. Я видал на фронте немцев, одетых в нашу воинскую робу, без знаков различия: агитаторы на радиомашине, были и переводчики. Антифашисты. Но мало таких. Почти весь народ был околпачен Гптлером.

Трушин утверждает, что я загибаю. Черта лысого - загибаю.

Впрочем, вероятно, и загибаю. Сам же говорил: не может быть, чтоб весь народ был плохой.

Что будет с Германией? Пусть об этом голова у самих немцев болит. Мне ее ни капли не жаль, скорее наоборот. Что заслужила, то и получит. Жаль таких безвинных, как Эрна. И вообще, конечно, женщины и дети не должны страдать. Да что там! Батальонные повара раздавали суп немецким обывателям, военные коменданты обеспечивали их хлебом, топливом, медикаментами. Русская сердобольность? Или слюнтяйство? Но я же говорю: женщины и дети ни при чем.

Надо было бы думать о другом. О чем? Не знаю. Но - о другом.

Эшелон замедлил ход, остановился в поле. Солдаты собрались было спрыгивать на землю, но он опять отронулся, пошел, набирая скорость. Я продолжал стоять, опершись на кругляк, и глядел на прусский пейзаж. Близкий план мелькал, дальний медленно разворачивался. Мысли исчезли, голова

словно пустая. Так и нужно - ни о чем не думать. Башка отдохнет.

Окликнул старшина Колбаковский:

- Товарищ лейтенант, хватит стоять, в ногах правды нету.

Давайте к нам на нары!

Гулко отозвался колесам небольшой железный мост над речкой - молодцы ремонтники, восстановили. Речка была зеленая, в камышах и текла к лесу, над которым вставала радуга. Паровозный дым разрывался, лохматился, стлался вдоль эшелона, завоняло гарью. Я прикрыл дверь, оставив щель, и подошел к нарам.

Они были двухъярусные, справа и слева, посреди теплушки - топорной работы стол, противоположная дверь наглухо закрыта - там устроена пирамида для оружия. Вагон старый, зашарпанный, пол выщерблен, нары пообтертые, стояки лоснятся - теплушка послужила на своем веку, сколько перевезено нашего брата?

Нары укрыты плащ-палатками и трофейными одеялами, под ними разбросанное сено. Старшина Колбаковский организовал, то есть спер, тюк прессованного сена в хозвзводе. Ловкач. Я пощупал и обнаружил: там, где мне обитать, на втором этаже, возле окошка, сена сверхизобильно, в других местах скудно. Я раскидал сено, восстановил справедливость. Колбаковский с досадой ска-, зал:

- Товарищ лейтенант, вы же командир роты, и вам положено...

- Ничего, старшина, - сказал я, - ничего. Так будет правильней.

Колбаковский крякнул, отвернулся. Дуешься? Подуйся. Ловчи, да знай меру.

Я снял сапоги и залез на свое место, лег, закинув руки под голову. Справа вагонная стенка с оконцем, свет падал наискось, в нем толклись пылинки. Слева резиденция старшины, еще левее лежит сержант Симоненко, парторг. Начальственный закуток. Да, а все-таки восстановление попранной справедливости было демонстративным, мелким и отчасти неумным. Как-то надо было иначе проделать мне это, с сеном.

А пахло оно, сенцо, тонко и грустно, как скирда на лугу. Мне виделась эта скирда, за ней кобылица с жеребенком, оба тонконогие, в чулках, на лбу звездочка. Не представляю, видел ли когда-нибудь в прошлом скирду, кобылицу и жеребенка или вообразил их сейчас, но они были как взаправдашние. Дать бы им сенца, на котором валяюсь.

Старшина выразительно покашливал, отвернувшись. Сержант Симоненко почивал, подтянув колени к подбородку. Командиры отделений резались в подкидного дурака. На нижних нарах

высвистывали: "По кирпичикам и по камушкам растащили мы этот завод", ссорились вполголоса и пробовали лады аккордеона; немецкий аккордеон - собственность старшины Колбаковского, поскольку же он играть не умеет, то музыкальным инструментом временно пользуется ефрейтор Свиридов; старшина строжайше предупреждал: "Осторожней, не сломай!" - Свиридов небрежно ответствовал: "Что я, первый год замужем? Этих аккордеонов перебывало в моих руках несчетное количество!" Но судя по тому, как неуверенно и неумело обращается ефрейтор с инкрустированным сокровищем, как фальшивит, напрашивается вывод: вряд ли вообще бывал замужем. Репертуар у Свиридова своеобразный:

сплошь танго - сладчайшая музыка, любовь, встречи, разлуки, душераздирающие страдания.

Снова прогромыхал встречный, снова на минуту остановились и тронулись. Вагон качался, на нарах жестоко трясло, колесный стук отдавался в висках. Так-так-так - перестукивались колеса, и это напоминало короткие автоматные очереди. Я закрыл глаза.

Темно. Так-так-так - и все звуки в теплушке (кашель, говор, аккордеонные переливы) померкли, словно отодвинулись за стены.

Темно, потому что ночь. Идет ночной бой, беспрерывно стучат автоматы. Давно я не попадал в такие переплеты: метет метель, ни зги не видать, справа немцы и слева, связи с батальоном нет, в тылу, похоже, также чешут "шмайссеры". Деремся чуть ли не в окружении - где и когда? Под Кенигсбергом, в январе сорок пятого! Увы, так оно и есть: в ночь на 27 января немцы рассекли батальонные порядки, обошли нашу роту, и вот уже третий час мы ведем тяжелый бой. Что будет дальше, откуда подойдут свои?

Или нам надо отступать? Куда? Никто ничего не знает, и интеллигентный капитан ругается в бога и мать, и рота бьется насмерть на опушке заваленного снегом леса. Потом выяснится:

пробившийся из окружения гитлеровский полк ударил по дивизионным и полковым тылам, разгромил медсанбат и санроту, после ударил по батальонным тылам и нам, стрелковым ротам, в спину.

А пока слепит метель, рыхлый снег садится на разгоряченные лица, трещат автоматы, рвутся гранаты, стонут раненые...

К утру комдив подбросил резервы, вражеский полк был зажат в кольцо. И утром же на поляне, под елью, были найдены наш комбат Первушин и телефонистка Николаева. Я, видавший виды, и то содрогнулся: лица исколоты тесаками, в кровоподтеках,

глаза выколоты, носы отрезаны, на лбу у Первушина вырезана пятиконечная звезда, между оголенных ног Николаевой загнан осиновый кол, оба трупа полусожжены. Попавшие в плен гитлеровцы на допросе показали: капитана Первушина и Веру Николаеву захватили ранеными, пытали, а затем пристрелили, облив бензином, подожгли. Я не отходил от страшного костра, как пригвожденный. Комбат и телефонистка любили друг друга, их и смерть не разлучила. Это он, капитан Первушин, укорял меня за богатое воображение, но у меня не хватило бы воображения представить, как мученически закончится его жизнь. А нынешний наш комбат был тогда адъютантом старшим батальона, он стоял рядом со мной, закусив губу так, что из нее вытекла капля крови.

Это зверство было чудовищно и противоестественно для нормального человека. Что за выродком надо быть, чтобы сотворить такое с людьми? Каким садистом надо стать, чтобы так изуверски надругаться над беззащитной женщиной? Над могилой капитана Первушина и Веры Николаевой - их похоронили вместе - мы поклялись отомстить фашистам в бою. По-иному мстить не умели.

И не желали.

Алексей Первушин и Вера Николаева зарыты в немецкую землю. Как и многие мои товарищи по оружию. Каково им будет лежаться в немецкой земле, когда мы уедем отсюда? Будто наяву вижу Алексея и Веру: он плечистый, синеглазый, русоволосый кудряш, она тоненькая, хрупкая, с мальчишеской стрижкой ц тоже с синими глазами, он был неулыбчив, она хохотушка. Их породнила война. И схоронила их война.

- Товарищ лейтеиапт? - Интонация отчего-то вопросительная.

Я разлепил веки, и солнечный луч резанул по зрачкам. Я прикрылся рукой.

- Товарищ лейтенант? Скоро большая станция, обедать будем. Перед обедом положено пропустить сто грамм. У меня фляжка... Разрешите, налью?

Старшина Колбаковский. Старается говорить шепотом, но тенорку тесно, он рвет шепот в клочья. Та-ак. Следовательно, старшина перестал дуться, отмяк? Быстренько. Незлопамятный он, добрый? Или прикидывается таковым? А выпить в самый раз, выпьешь - и от воспоминаний станет не так муторно.

- Налейте, старшина. Закусить есть?

- Конфетка.

- Давайте. Благодарю.

Колбаковский сперва подает мне фруктовую подушечку, а после, покосившись по сторонам, незаметно плескает в

пластмассовый стаканчик из фляги. Я уже не думаю о справедливости - надо бы фляжку разлить на всех, ибо это лишено смысла: поллитра на сорок человек. Опрокидываю терпкую жидкость в пасть, проглатываю. Внутри все обжигает. Отдышавшись, заедаю конфетой.

Старшина выпивает свою порцию, на звук определяет, сколько еще вина во фляге, прячет ее в вещмешок. Да, это какое-то вино из трофейных, крепкое, дерет. Ну, да нам не привыкать. На фронте нельзя было не пить. Легче все переносилось. Но если сначала я пил, чтобы подольше туманило разум, то затем стал пить, желая поскорей сбросить хмель, по принципу: быстрей выпьешь - быстрей протрезвеешь. Это называется переводить добро, однако мне действительно, когда пью, хочется поскорей приобрести ясность разума. Причина - остерегался наколбасить. А было, колбасил, стрелял из пистолета бог знает куда, схватил за грудкп батальонного фельдшера - чуть до рукоприкладства не дошло.

Первушину в пьяном кураже ляпнул: "У нас нету незаменимых, я не то что ротой - батальоном смогу командовать!" Капитан тогда сказал: "Глушков, мы с вами в неравных условиях: вы выпили, я же трезвый". - "Так давайте уравняемся! Угощу, спиртик есть!" - хохотнул я. "Завтра уравняемся, когда проспитесь. Завтра и побеседуем".

Ох и пропесочил он меня, проспавшегося, до сих пор стыдно!

Я краснел, бледнел, меня кидало в жар и в холод. А капитан в заключение сказал: "Вы не умеете пить, не умеете лицемерить.

Что я имею в виду? Опытный выпивоха хлебнет как следует, но держится, будто трезв, стеклышко! То есть мастерски лицемерит.

У вас же, Глушков, все наружу... Я бы посоветовал: бросьте выпивать!"

Выпивки я не бросил, но стал осмотрительнее, потому и хотел, чтоб побыстрей прояснялся ум. А капитан Первушин не пил, не курил, не играл в карты, не любил женщин - кроме Веры Николаевой. Ну уж Веру любил здорово. В январе сорок пятого ему предложили ехать в Москву, готовиться к поступлению в Академию имени Фрунзе. Не мог без Веры, отказался. Уехал комбаттри...

Внизу галдели картежники:

- Что подбрасываешь, лопух? Виней у него нема, а ты кидаешь крести.

- Сам лопух! С чего зашел? С вальта. Ты и есть лопух!

На противоположных нарах Свиридов сводил и разводил мехи аккордеона, с чувством напевал:

Ночью, ночью в знойной Аргентине Под звуки танго шепнула: "Я люблю тебя".

Ночью, ночью в зной Аргентине!

О, Аргентину я не забуду никогда...

Угу. Знойная Аргентина. Аккордеон марки "Поэма", с инкрустацией. Танго. Сладость до тошноты. А вино было терпкое, горькое. Распивал с подчиненным, лейтенант Глушков? Да не будь ты ханжой! Ну, распивал. Главное - ум не пропить.

Старшина Колбаковск-ий не соврал, остановка на большой станции, дежурные потопали к вагону с кухнями. Солдаты высыпали из теплушек. Я спрыгнул за ними. С удовольствием ощутил под подошвами устойчивую, надежную твердь. Расправил плечи, потянулся. Из соседней теплушки спустился гвардии старший лейтенант Трушин, заспанный, зевающий. Я спросил:

- Как дела, комиссар?

- Дрыхнем, - ответил Трушин, прикрывая зевок ладонью. - Отсыпаемся.

- Нарушений нет?

- Покамест нормально. Вот пойдет Расея, узловые станции...

- Не каркай!

- Я не каркаю, а заостряю внимание. - Он ухмыльнулся, обнажая щербатинку, принюхался. - Шнапс употреблял?

- Вино. Старшина угостил.

- А комиссар должон быть тверезый? За всеми за вами доглядать? - Трушин говорил так, что я не понимал, всерьез он или шутит. - Ладно. Только чтоб в норме было. Не погоришь?

- Не волнуйся, - сказал я и зашагал вдоль эшелона.

Подле теплушек и платформ толпились солдаты; наигрывала гармошка; шутки, смех, песни. Из пульманов с лошадьми доносилось ржание. На платформах пушки, зарядные ящики, орудийные передки, повозки с поставленными торчком дышлами, спицы привязаны проволокой к бортам, под колесами упорные клинья.

На отдельной платформе - редакционный автобус, закрепленный растяжками; в автобусе бубнил радиоприемник, офицеры "дивизионки", с которыми я знаком, махали мне, приглашая зайти.

Я сказал, что как-нибудь в следующий раз, сейчас некогда, видимо, будем отправляться.

На соседних путях еще два эшелона - наш третий батальон и чужой, с самоходными установками; грозные, безотказные "СУ"

смирно отдыхали на платформах, неподвижные, с зачехленными стволами. Зато самоходчики - в комбинезонах и без шлемов - плясали на перроне, собрав тесный круг и откалывая

немыслимые коленца.

Сержант с закатанными рукавами синего комбинезона, с волнистым, вроде бы завитым, чубом, прямо-таки изламывавшийся в цыганочке, на секунду замер, глянул на меня и заорал:

- Дуй к нам, лейтенант! Дадим жизни, пехота? Ай, жги, жги, жги!

Я улыбнулся, кивнул, но прошествовал мимо, подумав: "Разболтанный сержант, как разговаривает с офицером... Да они, самоходчики, все подразболтанные, пехоту ни в грош не ставят. А что они без пехоты, царицы полей?"

Вокзал был полуразрушен, руины разобраны или прикрыты фанерными щитами. На фронтоне сохранено название станции, исполненное готической вязью, выше - русское название. В тупике голосил маневровый паровоз, ему отзывался паровоз, разводивший пары на путях. У водогрейки топтался патруль с красными повязками, бдительно следивший за порядком. Не побузишь.

Озабоченный, прохромал с палочкой наш комбат, начальник эшелона. Я отдал ему честь, он ответно козырнул, проговорил на ходу:

- Через десять минут отправляемся.

- Ясно, товарищ капитан!

Командир батальона прихрамывал - рана так себе, в медсанбат не пожелал, долечивался в строю. Со спины он красавец мужчина, фигура рюмочкой широченные плечи, узкие бедра, - но с с лица ошарашивает неривыкших: обгорело, кожа стянута рубцами, это еще в сорок втором, на Дону, в танковом десанте, сподобился, снарядом проломило борт тридцатьчетверки.

Я вернулся к теплушке, помог затащить термосы. К обеду приступили, как только эшелон миновал городок. Половником орудовал лично старшина Колбаковский. Обед вкусный: щи с мясом, гречневая каша на сале, чаю - от пуза, целый термос, вместо сахара фруктовая смесь, подушечки.

Перед едой старшина позвал меня наверх, в закуток, налил стаканчик. Я не отказывался, свербело клюнуть: до перебора было далековато. Я выпил, слез к столу, где в котелках дымились наваристые щи, и вспомнил, как Алексей Первушин учил меня уму-разуму: "Бросьте пить, Глушков. Вы молоды-зелены..." А был покойный старше, чем я, всего-то на пару лет.

Эрна говорила мне, что я выгляжу как мальчишка и это оттого, что я, наверное, легкомыслен: легкомысленные долго не взрослеют, не старятся. Эрна при этом смеялась, - видимо,

шутила. Но другие говорили мне подобное на полном серьезе. Что, я и впрямь легкого нрава человек?

7

Отобедав, забрался на нары. Старшина Колбаковский одобрил:

- Научно, товарищ лейтенант! Опосля обеда по закону Архимеда полагается вздремнуть!

Улегся рядом со мной, отдуваясь, как паровоз, минуту погодя захрапел; брюшко под гимнастеркой вздымалось и опадало. Было жарко - крыша вагона нагрелась. Я растелешился до трусиков, прикрылся пикейным одеялом; Драчев подобрал его где-то в Ширвиндте, теперь вот - ио июньской погодке употребляю.

Под меня ординарец подстелил простынку, в головах пуховая подушка с наволочкой - честь по чести, комфорт. Крыша железная, дождь и град не страшны. Как в санатории или в госпитале - валяйся, ешь, спи, толстей. После спанья в грязи и на снегу, под открытым небом, когда на одну полу шинели лег, второю накрылся, эта житуха - помирать не надо.

Почти как в доме Эрны. Позади осталась она, Эрна, и все, что с ней было, позади. Все это ушедшее, словно покрытое пленкой забвения. А ведь не прошло еще и суток! Фрау же Гарниц, матери Эрны, будто и вовсе не существовало на белом свете, вернее - существовала где-то на краю света в незапамятные времена. Неужели с такой скоростью эшелон удаляется от недавнего прошлого и оно становится невыразимо давним? Это потому, что эшелон, въезжая в настоящее, приближается к будущему? Какое оно, будущее? Куда нас везут?

Рассуждаю об эшелоне, но разумею: эти смещения во времени и в чувствах происходят во мне самом. А может, я нарочно тороплю время? Спешу распрощаться со старым и встретиться с новым?

Это объяснимо, так как я живу уже в мире, а не на войне. Что-то меняется, да я не примечаю? Как бы это приметить?

Не дремалось. Я присел у оконца. Мельтешат телеграфные столбы, верхушки елей, на столбах и на верхушках растрепанные, злобные вороны, которых сдувает рожденный движением ветер; клювы раскрыты, вороны шипят либо каркают, за стуком колес не услыхать. Солнце перешло на противоположную сторону, тень от эшелона скользит по полотну сломанная, скособоченная.

На табуретке у двери дневальный по вагону глазеет на дорогу, насвистывает "Кирпичики", значит, дневальный свистун, а я-то гадал: кто это? За столом солдаты споласкивают котелки, вяжут разговор. Он послеобеденный, благодушный.

- До войны я выгонял две тыщи монет в месяц, стахановец.

- Стакановец?

- Не дури, я всерьез - две тыщи. Хватало. Да жинка прирабатывала: где простирнет, где подгладит...

- Эт-то ты здраво рассуждаешь: две тыщи монет до войны на семью за глаза хватало. Эт-то нынче жизнь вздорожала...

- Все одно к довоенным ценам возвернемся...

- Свояк по инвалидности демобилизовался в сорок четвертом, пишет из Саратова: Гришка, вострі лыжи на Волгу, рыбы завались, и жизнедеятельность налаживается...

- Наладится! И превзойдет довоенную! Между нами, девочками: я рыбак, рыбалил на Каспии, в Дербенте...

- Какие ж мы девочки, сдурел?

- Да это прибаска, так шуткуют мужики: между нами, девочками... А рыбка на Каспии - севрюга, белуга, осетр... мамонька родная!

Постепенно разговор приобретает гастрономический оттенок.

Собеседники цокают языками, причмокивают, щелкают пальцами и вообще всячески подчеркивают неземную вкусность того, о чем говорится. Я прислушиваюсь со смешанным чувством скуки и досады. Вечно этот трёп о жратве!

- На Каспии краснюка - завались. Тройную уху варишь, само собой, жаришь, вялишь, солишь - чего не вытворяешь с краснюком! А рыбка на рожне? А икорка красная да черная?

- Вареные яйца уважаю. Бывалыча, матка сварит десяток вкрутую - умну в присест. Она смеется: "Заглатываешь, как удав кроликов..."

О рыбе распространяется Логачеев, о яйцах - Головастиков.

- Пилав! Лучше рыбы-яйца пилав! Пилав - это плов, - горячится Рахматуллаев, узбек, горячится так, словно над пилавом нависла смертельная опасность. - У нас в кишлаке пилав готовил чайханщик дядя Рашид... М-м! Персик!

- Я, навпример, считаю: лучшая рыба - это колбаса, хохо! - Свиридов раскатистый хохот, к месту и не к месту "навпример", так он произносит слово "например".

- Не-ет, дорогие граждане, бастурма побеждает! - Это Погосян, солдат довольно молчаливый, но тут разговорился. - Слыхали про бастурму? Молчите? Эх вы... Бастурма - вяленое мясо в красном перце. Огонь! Пожар! Заливаешь "Разданом", вино такое...

- Нет, пилав - вот это персик!

- Однополчане! Товарищи по оружию! - Свиридовский бас покрывает всех. Позвольте устроить как в ресторане: вы про кушанья, а я организую музыку! Внимание! Танго "Орхидеи в лунном свете"...

Разумеется, Свиридов произносит "орхидэи". Аккордеон выплескивает сиропную сладость. Говорильщики понижают тон, но треп о жратве продолжается. И вдруг я приподымаюсь, кричу вниз:

- Ребята, сколько можно об одном и том же? Не надоело?

Водворяется неловкое молчание. Я чувствую, что не нужно бы так поступать, но не в состоянии удержаться, еще кричу:

- Что, нет других тем? Черт подери, вы сознаете, что остались живы?

За всех отвечает Свиридов:

- Сознаем. Потому живой - он про живое и толкует.

- Но нельзя же все про еду! Еще Остап Бендер говорил: пе делайте из еды культа!

- А кто он?

- Некий неглупый человек, - говорю и умолкаю. Начал с крика, завершил бормотаньем. И вообще не то и не так говорил.

С чего сорвался? Переложил? Этим не пахнет. Так чего же хочу от себя и от людей? Будто вспомнив о чем-то, поспешно присовокупляю: - Ценить надо, что остались живы.

- Мы ценим, товарищ лейтенант. - Свиридов разговаривает с достоинством, мне чудится, и не без вызова. - Может, мы своей говорильней и музыкой мешаем вам уснуть?

- Не мешаете.

- Разрешите играть, товарищ лейтенант?

- Играй, играй.

Ложусь на бок, лицом к окошку. Виден кусок безоблачного неба. Аж скучно - до того безоблачное. И голубое, как на пасхальных открытках, которых множество в любом бюргерском доме.

Свиридов, подыгрывая на аккордеоне, с придыханием, с выпендриванием поет:

На карнавале музыка и танцы, На карнавале смех и суета.

Под звуки джаза в черной полумаске Мелькнула ты, как юная мечта.

И я просил, чтоб маску ты сорвала, Но ты прошла, секрета не раскрыв, И на мольбу мою ты отвечала Под грустный, медленный мотив:

"Сердиться не надо - ведь мы встретились случайно.

Сердиться не надо - я исчезну, как мечта.

Сердиться не надо - как хорошо, что это тайна.

Сердиться не надо - в этой тайне красота!"

Я крайне недоволен собой. Встрял в солдатский разговор резко, необдуманно, короче - глупо. Не умею владеть эмоциями.

Взрываюсь, злюсь на людей и на себя. Надо быть

доброжелательнее, благодушнее, что ли. Ведь сам же говорил: живые люди. Так будь к ним терпимее. Четыре года сидели они в общем-то на пшенке да на перловке! Конечно, в тылу было голодней, тыл недоедал, лишь бы накормить фронт. Но, честно говоря, и на фронте не были избалованы обилием изысканных блюд. Так что можно бы понять ребят, затеявших гастрономический разговор. Можно людей понять! А вот опять подмывает что-нибудь крикнуть, оборвать Свиридова. Сдерживаюсь.

После проигрыша Свиридов ведет свое танго дальше:

Но я настойчив был в тени аллеи,
Ты маску для меня все же сняла.
И в эту ночь была без сожаленья
В, своей любви прекрасна и мила.
Теперь в письме меня ты упрекаешь,
Что избегаю будто я тебя.
Свои слова ты быстро забываешь,
Позволь, теперь спою тебе и я:
"Сердиться не надо - ведь мы встретились случайно.
Сердиться не надо - я исчезну, как мечта.
Сердиться не надо - как хорошо, что это тайна.
Сердиться не надо - в этой тайне красота!"

Двукратно сфальшивив под конец, Свиридов сводит мехи аккордеона, говорит:

- Исполнял танго "Сердиться не надо...". До войны на танцплощадках повально гремело...

Головастиков отзывается:

- Сильно! Как про любовь-то чувствительно...

Я катаю желваки. Мнится: пошлость физически коснулась меня, холодная и прилипчивая. А до войны, точно, это танго царило на танцплощадках. Пошлость всесильна, ее и война не убила.

И после победы пошлость не отлипнет от нас - во всех своих проявлениях? О проклятие! Шлю проклятие и понимаю, что это театрально, вздорно, абсолютно бесполезно, и тут же проклинаю это проклятие, понимая: и на сей раз вздор, бесполезная претенциозность.

Заснуть бы. По закону Архимеда... Мысли б не лезли в башку, успокоился бы. Хотя и во сне, бывает, думаю и разговариваю. Эрна передавала - кричу, ругаюсь, но, кроме мата, она ничего не разбирала: во сне изъяснялся по-русски. А к богу-матери немцы моментально привыкли и сами так ругались - в три этажа, по-расейски. Что-что, а это с лёта усвоили.

Вообще некоторые вопросы они не усложняли. К примеру, как

фрау Гарниц относилась к тому, что происходило у меня с Эрной?

Запросто относилась. Будто ничего из ряда вон выходящего. В порядке вещей. Как пить и есть. Так и дочери жить с чужим офицером. Наверное, я упрощаю все это. И опошляю. Тоже мне, борец с пошлостью.

А замначподива еще разик делал мне втык за Эрну, на Смерш намекал. Я фордыбачил: что мне Смерш? Не предугадываю, чем бы оно обернулось, если б нас не погрузили в эшелон. Доброй, нежной была она девочкой, моя Эрна...

Хмель выходит, голова становится пустая, как ведро: ударь палкой задребезжит. Слава богу, ударять меня палкой по кумполу никто не собирается, и он не дребезжит. Но что-то в затылке вибрирует, словно нажимают на вмонтированные в него аккордеонные клавиши. На клавиши нажимает гвардии ефрейтор Свиридов. Спасибо, не поет. "Сердиться не надо..." Бр-р! Не буду сердиться.

А фрау Гарниц была компанейская дама, не обремененная предрассудками: не прочь выпить с русским лейтенантом, пококетничать - больная, лежит на кровати! - со старшиной, ординарцем и врачом. Повторяла: "Немцы уважают сильную власть.

Был Гитлер, теперь будет Сталин. Мы, обыватели, привыкли подчиняться". Я поправлял ее: Сталина и сравнивать нельзя с Гитлером. Фрау Гарниц суетливо оправдывалась: я не сравниваю, они несравнимы, ваш Сталин лучше нашего Гитлера. Но и оправдание звучало двусмысленно, я внушал: эти имена нельзя ставить рядом. Еще суетливей фрау Гарниц уверяла, что не будет ставить их рядом, клянется здоровьем дочери. Кстати, этим она клялась без устали.

Когда-то, судя по фотографиям, фрау Гарниц была красива.

Но военные годы состарили, одурнили; в косе сивые пряди, морщины у глаз, увядшие губы. Портила ее бородавка, выросшая как раз на кончике носа, и фрау Гарниц шутила: "Не будь бородавки, я бы покорила всех русских офицеров. Как женщина, конечно!"

Я улыбался, Эрна хмурилась. Вероятно, Эрна была права: уместней было хмуриться, нежели улыбаться, - в шутках фрау Гарниц был привкус сального и сусального.

Эрна больше походила на отца, чем на мать, - его фотографии под стеклом она сняла со стены при приближении советских войск.

Эрна вытащила их из письменного стола, показала: отец в суконной паре, об руку с невестой в белоснежном платье, отец в майке и соломенной шляпе с двухлетней Эрной на коленях, отец

в форме вермахта, обер-ефрейтор, - на всех снимках выражение у него было напряженно-ожидающее: что будет со мной дальше? Что было дальше - сгинул в котле под Сталинградом.

У меня не было фотокарточки моей матери. Я рассказывал Эрне, как выглядела мать, сам не очень зримо представляя ее.

Как будто со смертью черты матери поистерлись в моей памяти.

Когда была жива, представлял четко. А отца у меня давным-давнв нет, мать говорила, что он умер еще до моего рождения.

У Эрны есть мать, а я круглый сирота.

К чему я об этом? К тому, что Эрна в зыбком, забывающемся далеке, но вот думается о ней. Думается об Эрне, которая двухлетней девочкой сидела на коленях у колбасника Иоганна Гарница, обер-ефрейтора гитлеровской армии. Которая в восемнадцать лет была близка с русским лейтенантом. И которая осталась позади, перед неизвестностью. Впрочем, и перед тем русским лейтенантом - неизвестность. Это их и роднит крепче всего.

Было так: первый разорвавшийся снаряд меня испугал, второй успокоил живой я, не убило. Так, в сущности, я ощутил начало войны...

Эшелон притормаживал. Я проворно оделся, слез по лесенке, когда он остановился. Впереди серели постройки станции, куда нас покуда не принимали. Канадские ели притулились к фольварку, к пруду. Силосные башни, водонапорные башни. Длиннющие сараи. Все целехонькое, словно война нарочно обошла стороной.

Солдаты на третьей скорости жали к кустарнику. Менее стыдливые ограничивались тем, что отходили на пяток шагов от полотна, в ложбинку. Паровоз загудел. Из кустиков, как ошпаренные, выскочили скромники, поддергивая и на бегу застегивая штаны.

Я шел за плетущейся теплушкой, пока все солдаты не сели.

Влез, втянул лесенку. Мысленно пересчитал личный состав. Вроде никто не отстал. Ох, сколько еще предстоит этак пересчитывать в пути!

Убедившись, очевидно, что отставших нету, машинист наддал, и колеса энергично застучали: тук-тук, тук-тук. Я не отходил от кругляка, с удовольствием вдыхал нолевой воздух, чуть подгорченный паровозным дымком. Солнце, остывая, катилось к западу. Мы уезжали от вечерних зорь поближе к утренним. На восток. Туктук, тук-тук...

Видимо, ночью проедем Литву. Хорошо бы проснуться, когда будем переезжать границу. Интересно, как проляжет путь

эшелона по литовской земле? В Германию мы пришли из Литвы, теперь из Германии едем в Литву. А куда потом? Прямо в Россию или же повернем на Польшу?, Воинские эшелоны идут не как пассажирские поезда - нас могут и вспять повернуть, и пустить по боковой ветке, в объезд, где движение поменьше. Так или иначе, едем в Россию. Война раскручивается как бы в обратном порядке.

Здесь, в Литве, схоронили Ляховича Максима, отчество не упомнил. Добродушный, безропотный и безотказный белорус. Прибыл с маршевой ротой, после госпитального лежания округлившийся, поотвыкший от солнца, ветра и дождя и потому комнатно бледный. Предплечье еще побаливало, и Ляховпч оберегал его, помоему, чрезмерно. Подумаешь, нежности, выписали из госпиталя - изволь быть здоровым, оберегай не оберегай - завтра в бой.

Ляхович был неряшлив: подворотничок грязный, засаленный, пилотка на ушах, пряжка ремня сползает набок, обмотки разматываются. Я жучил Ляховича за внешний вид, а он флегматично вздыхал: "Размотались? Да как им не размотаться? Разве ж то обувка? Сапоги потребны!" - "Добудь в бою у фрица". - "В бою, товарищ лейтенант, стреляют... Старшине б обеспечить кирзачами". Сперва я думал, что он трусоват, а на поверку - добрый солдат, не хуже прочих. При форсировании же Немана случилось вот что. Батальон вышел к правому берегу реки на плечах отступающего противника. Немцы переправились на левобережье, принялись рыть траншеи, оборудовать огневые позиции, но прочной обороны у них еще не было. Необходимо было без задержки форсировать Неман. Правый берег пологий, левый, где немцы, покруче. На господствующих высотках они установили крупнокалиберные пулеметы и пушки, в лесу, в засадах вблизи берега выжидали танки и самоходки. Иначе говоря, преодолеть широкий, полноводный Неман было не так-то просто. Но надо! Мы собрали рыбацкие лодки, бочки, связали плоты из бревен - ив воду. Немцы накрыли переправу плотным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Разрывами вздымало водяные столбы, река кипела от осколков и пуль, окрашивалась кровью. Ну, было все, что бывает при форсировании водной преграды. Высадившийся десант немцы попытались сбросить в реку, пустили танки и самоходки, пьяных автоматчиков. На плацдарме завязался ожесточенный бой.

И в рукопашной я увлекся, проворонил - немец навел мне в спипу автомат, - но Ляхович кинулся, прикрыл. У него были мать, жена, трое пацанов. Я один как перст. Что двигало этим человеком? Похоронили Максима Ляховича на западном берегу Немана, в братской песчаной могиле, кроме него еще тридцать

человек из нашего батальона. Вот забыл его отчество и вообще не часто вспоминаю спасителя. Смогу с годами забыть? Не будет мне прощения, если смогу. Ну, а в Алитусе контузило, военфельдшер хорохорился везти в санбат, да где его, санбат, найдешь на марше!

Вперед! Так я и оклемался в строю: голова почти не тряслась, почти не заикался. Шарахнуло крепенько: взрывной волной приподняло и врезало об стенку, как кости уцелели? Получилось так, что и не придумаешь: "фердинанд" бил прямой наводкой из-за каменной ограды гимназии, я перебежкой влево, и снаряд рванул там, куда я перебегал. Считаю, дешево отделался, как не изрешетило осколками, по сю пору удивляюсь. Любопытно: проедем ли Алитус? Я бы враз узнал город.

Ах ты, Ляхович, Ляхович! В дивизионной газете и в армейской писали: спасая офицера, пожертвовал собой. В том ли соль, что я офицер? Человек жертвует собой, чтобы спасти человека. Каким же я должен быть, чтобы оправдать свое существование на земле?

К моему стыду, не часто об этом задумываюсь. Живу как живется.

А надо бы построже судить себя. Себя, потом людей. В этом смысле замполит Трушин прав - больше самокритичности.

Я вытащил из пачки папиросу, размял, щелкнул зажигалкой.

Затянулся. Выпустил голубоватый дымок. Курение успокаивало.

Высосал папиросу, закурил вторую. У меня так: то не курю, не курю, будто запамятовал, что курильщик, то жгу одну за другой до одурп. И вместо успокоения взбудораженность. Поэтому нужно остановиться на второй папироске.

Докурил, отбросил окурок. Подхваченный ветром, он беспомощно завертелся в струйках песка и пыли. Подрагивали кусты жимолости и боярышника, росшие у насыпи. За шеренгой тополей промелькнул танковый парк - тридцатьчетверки и "ИС" стояли ровными рядами; через километр - аэродром, на летном поле "ИЛы" с распластанными крыльями, ветер надувал черно-белую "колбасу" на шесте. Промелькнул разъезд - на железнодорожной будке была нарисована большая красная звезда. Низкий гул пал с высоты, придавил колесный стук: звено наших бомбардировщиков настигло эшелон и перегнало, за ним еще звено и еще. Эскадрилья за эскадрильей обгоняла эшелон. Курс - на восток, как и у нас.

На восток!

Когда гул моторов стих и возродился стук колес, я услышал голос Толи Кулагина:

- Ни в жисть не позабуду плена...

Свиридов не терзал аккордеон, солдаты молчали, говорил один Кулагин:

- Робя, робя, катим по неметчине с победой, а у меня думки про мой плен - на запевке войны попал. Чего-чего не хлебанул я, робя!

Стою спиной, но вижу глаза Кулагина - серый и карий, помятое, неопределенное лицо, костлявые, сутулые плечи. Хлебанул? До сих пор помню, как он хлебанул у барановичских колхозников, самовольно уйдя на хутор с валки леса. И как он выкручивался, наврав, что белорус. А вот про то, что Кулагин был в плену, я не знал. Увы, я многого не знаю о своих бойцах. Кулагин говорил глуховато, с паузами, и, судя по тишине, ему внимали.

- Я призыва тридцать девятого, по ворошиловскому приказу.

Рождения двадцать первого года. Пацан был. Спервоначалу попал в кавалерию, из кавалерии в пехоту, в гарнизон дота. Неподалеку от Равы-Русской, на Западной Украине...

Так он мой ровесник? Никогда бы этого не подумал. Вид у него помятый, неопределенный, но меньше тридцати не дашь. Ну, если побывал в плену, то пережил немало, хлебанул, как он выразился.

Мой однолеток. И я был призван в тридцать девятом, в октябре. По ворошиловскому приказу. Из института забрали.

- Доты были задуманы мощнейшие, доложу вам! Двухэтажные, поглыбже в землю. Бетопныэ, снарядом не выкуришь. С пушками, пулеметами. Целый взвод размещался, не считая пушкарей.

Вдоль новой западной границы их было черт-те сколько. В шахматном порядке. Сила! Беда только, что к запеву войны их достроить не управились, вооружения не поставили... Когда сатана Гитлер напал на нас, он спервоначалу ударил по заставам пограничным. Рано утром двадцать второго июня наш взвод подняли по тревоге к доту. Бомбы, снаряды, пожары светопреставление! Заняли мы дот, засели у амбразур, а на всех один станкач да десяток винтарей. Немцы бьются у заставы - пи в зуб ногой, не могут захватить ее - и все тут. Застава горит, немцы атакуют и откатываются, снова атакуют. Танки пустили, окружили ее. Держатся пограничники, не сдаются. Немцы частью сил обошли заставу, рванулись вглыбь. Подошли к доту, мы чесанули из "максима" и "дегтяря" - с нами был наряд с границы, на заставу не пробился, пристал к нам. Немцы лупят по доту прямой наводкой, а бетонные стены - во! Ни хрена им не деется. Дрались мы, дрались, боеприпасы на исходе. Немецкие

десантники подползли к доту. Забросали амбразуру дымовыми шашками. Выкурили нас. Вылез я на свет божий, полузадохшись, полуослепши, меня фашист как припечатает автоматом по хребту, я и сковырнулся. Пришел в разумение, ан руки повязаны. Сообразил: в плену, хуже смерти... Ну, пригнали нас во Львов, в Цитадель, это старинная крепость на горе Вроновских. Разместили кого в подвалах бастионов, кого в загородках-клетушках из колючей проволоки на верхушке горы, заместо крыши небо. Теснотища, друг на дружке лежали. Мерли страшенно от тифа и дизентерии, от истощения, а тесноты не убавлялось: новых пленных пригоняли. Были все мы раненые, больные, голодные доходяги. Робя, нету ничего страшней голода! На собственной шкуре испытал и доложу вам: для меня самый большой подвиг в этой войне совершили ленинградцы, это уж так...

Кормили нас в лагере брюквенной похлебкой, мы пухли от голода.

Какой был распорядок? А такой. Утром вахман дубарил ломиком по рельсу: бум-бум! Мы выбирались из подвалов, из клетушек-загородок. Видик: оборванные, в забуревших от крови, вонючих повязках, истощенные, заросли щетиной, опухли от голода. Доходяги, а раненых поддерживали, пособляли идти. Вахманы палками лупили направо и налево: "Быстрей, быстрей!" Кое-как мы доплетались до главной линии колючей проволоки, за ней - лагерная линейка. Ухватившись за проволоку, ждали. Дожидались разного.

В иночасье лагерная охрана делала селекцию. То есть отбирала окончательно ослабевших. Их грузили в машины и везли на расстрел ко рву. В иночасье очередной пересчет, немцы народец аккуратненький и обожали пересчитывать пленных. А в иночасье выводили на работу. Пустое брюхо надеялось. На что? Будем плестись по шоссе, а кто-нибудь из горожан кинет краюху хлеба, вареную картофелину либо кукурузный початок. Правда, колонну окружали вахманы и сторожевые овчарки, не очень-то раскидаешься. Бывало же, что в колонну бросали каменюки: "Подыхайте, москали!" Этим охрана не мешала. Мы ремонтировали и прокладывали дороги. Солнце палит, жажда печет, силенок ни хрена нету, но мостим. Чуток замешкаешься - могут ухлопать. Васю-сапера так ухлопали. Ослаб он, уронил камень и сам зашатался.

Подскакивает вахман - ив упор хлоп из пистоля. Васю мы похоронили прямо на дороге: выкопали яму, положили его, засыпали, сверху замостили, камнями посветлей крест выложили. А вахманам было весело! Надо вам доложить, что вахманами

были и немцы, и западноукраинцы из предателей, националистов. Украинский полицай и убил Васю-сапера. Да разве ж его одного убили ни за что ни про что? Подсчитать бы все эти жертвы... Ну, возвращались в Цитадель, получали полкотелка брюквенной баланды.

А дума разъединственная: чего бы проглотить? Поверьте, в лагере лебеда и крапива под корень были съедены. Кора на липах и ясенях съедена в рост человека, докуда доставал рот. Были и ополоумевшие, которые ели трупы. Их мы называли самоедами, а комендант лагеря велел на бастионах надписать, что разрезать трупы военнопленных запрещено. Комендантом был оберет Охерналь. Оберет - по-нашему полковник...

- Знаем, - жестко сказал кто-то.

- Ну вот, и этак-то мы жили-поживали. Пехотинцы, пограничники, артиллеристы, танкисты, саперы, были и летчики, соколы...

Светопреставление, ад, жуть. А человеками не переставали оставаться. Раненым пособляли, командиров и комиссаров не выдали, сберегли, слушались их, на предательство не шли. Сколь фашисты агитировали нас подаваться в полицаи - выкуси, гнида! А раз бабы пожаловали агитировать, потеха была. Так, значит, разворачивалось. Вахман задубарил в рельс, подвешенный у вахи, мы поплелись на лагерный плац. Видим сквозь проволоку: упитанные дамочки, расфуфыренные, в кружевах, на пару с монашками семенят к плацу. У всех крестики на груди, в руках четки, иконки, молитвенники. Подходят, останавливаются, главная монашка забирается на ящик, как на трибуну, и говорит речь: Христовы, мол, сыночки, чтобы прекратились ваши страдания, откажитесь от большевизма, попросите помилования у великого фюрера, в первую очередь из подписавших эту декларацию будут освобождены украинцы, а после и прочие национальности. И монашки с дамамр начинают совать через проволоку листовки с декларацией. Ух!..

Но никто из нас не принял предательской бумажки, а один хлопец крикнул: "Я украинец, изменником не стану! Все мы приносили присягу! А вы, воронье, катитесь к бесу!" Ну, вахманы на нас с палками да собаками, бабы дали ходу и больше не заявлялись, агитаторы и пропагандисты... И еще доложу вам: думки о жратве мучили, однако наиглавнейшая думка была - как бы сбечь отсюда, к своим пробраться. А свои далеко были, ох как далеко! Но побег мы совершили, да какой!.. Наши командиры раздобыли садовые ножницы, кто-то передал их с воли тайком. Ночью мы перерезали проволоку и поползли в проход. Прижимались к земле, замирали, если на вышке загорался

прожектор. Сняли двух часовых - и по глинистому скосу на улицу, стали разбегаться кто куда. Наверно, полицаи многих переловили во Львове. А я прибился к группе пограничников, с ними добежал до парка. Оттуда вдоль Стрыйского шоссе затопали в Карпаты, к партизанам... Ну, дальше неинтересно... Доложу вам так, робя: после плена меня не пугали ни "тигры", ни "юнкерсы", ни атаки, ни контратаки.

- Что все-таки дальше было? - спросил тот же жесткий голос.

- Воевал в партизанском отряде, был ранен, вывезли на Большую землю, подлечили - и наново в Червону Армию, под каблук старшины Колбаковского!

Попытку Кулагина свести свой не весьма веселящий рассказ к шутке не поддержали - покряхтывали, вздыхали. Я обернулся.

Солдаты за столом сидели хмурые, с опущенными плечами; Свиридов клонил голову к аккордеону, катал желваки; сам рассказчик, свесившись с верхних нар, по-прежнему глуховато, без деланной шутейности, как бы удивляясь, говорил:

- Робя, а ведь до армии я был полеводом, звеньевым. В восемнадцать лет уже звеньевой...

Опять ему не откликнулись словом, угрюмые, суровые, со сведенными к переносице бровями. Рассказ Толи Кулагина сломал благодушную обстановку в вагоне, и я обрадовался этому. В глубине души я пожалел, что бесцеремонно пресек кулинарный трёп ребят, что вспомнил о том, как хлебнул Кулагин на хуторе спиртного, но сожаление подминала радость: солдаты растревожены, это хорошо. Мне не по нутру благодушие, самодовольное благополучие, обволакивающий покой. Остро жалею больных, калек, сирых, обездоленных и чувствую настороженность, даже некую вражду к людям благополучным, счастливым. Противоречиво это, ибо и сам стремлюсь к счастью. Но не потому ли оно так, что на сотню несчастных - десяток счастливых? На войне это чувство настороженности и враждебности к счастливым как будто померкло, но сейчас, после войны, уже в пути, вновь ожило. А может, я неуравновешенный, ненормальный субъект?

Проснулся старшина Колбаковский, чихнул, громогласно вопросил:

- В Москву еще но прибыли?

- Никак нет, товарищ старшина! - отчеканил дневальный по вагону.

- Почему нету остановки? Мне кой-куда надобно.

- Остановимся! Будет сполнено, товарищ старшина!

Колбаковский дурачился, и дневальный озоровал. Но, словно специально, эшелон тормознул, пошел медленнее: впереди

городок; на узловую станцию так и въехали медленно, торжественно.

Она была забита воинскими эшелонами.

Я прохаживался вдоль вагона, искал взглядом Трушина. Вместо него увидел оперативного дежурного по эшелону, трусившего от теплушки к теплушке. Подбежал и к нашей, запыхавшись, проговорил ; - Лейтенант Глушков, срочно к начальнику эшелона, в штабной вагон!

- Что стряслось?

- Там узнаете! Всех офицеров собирают!

Он затрусил дальше, придерживая кобуру с пистолетом и противогазную сумку. На кой черт ему противогаз? Всю войну протаскали зазря, немцы так и не рискнули газы пустить, теперь-то кто угрожает?

Из теплушки выпрыгнул гвардии старший лейтенант Трушин, с хрустом потянулся, заметил меня:

- А-а, привет единоначальнику! Докладываю - отставаний не имеется!

- И у меня нет отставших.

- Объявляю вам благодарность, товарищ единоначальник!

Да что они все дурашливые какие-то? Замполит и тот придуривается. Я сказал:

- Пойдем за указаниями.

- Указания - наш хлеб насущный. Пошли!

Мы направились в голову эшелона. Станция бурлила - все рода войск! По соседству, как и на предыдущей станции, состав с самоходками. Еще издали я признал самоходчика-плясуна с завитым чубом, и он признал меня, помахал шлемом; прислонясь к борту платформы, самоходчик покуривал, поплевывал, поглядывал.

Когда я поравнялся с ним, он подмигнул мне и гаркнул:

- Вместях едем япошек лупцевать, лейтенант!

Я пожал плечами, подивившись не столько развязности самоходчика-сержанта, сколько его фразе о японцах. Небось самоходчик под мухой, несет околесицу. Конечно, под мухой, потому и развязен с офицером.

- Что он мелет? - спросил я Трушина.

- Что слышишь, - ответил замполит не очень любезно.

Мы поднялись в штабной вагон.

А когда двадцатью минутами позже спустились из него, я был ошеломлен. Было от чего ошеломиться, услыхав разговор у комбата. Чтобы что-то сказать, я сказал Трушину:

- На Дальний Восток, воевать с Японией.

- Об этом кое-кто догадывался.

- Не ты ли?

- Хотя бы и я. Нужно быть немножко политиком...

- Тоже мне, политик! - разозлился я.

Паровоз загудел. Я прибавил шагу. Снова воевать? А ты что думал? Покуда ты в военной форме, воевать должен, когда тебе прикажут. В любой то есть момент. Где - неважно. Но воевать ты обязан, поскольку ты человек с оружием. Четыре года не расставался с ним, с оружием...

8

ОТЕЦ

Григорий Петрович пробудился в том состоянии, которое бывает у него изредка и которое порождает нежданные, необъяснимые поступки. Он лежал под одеялом, не открывая глаз. В квартире было по-особенному тихо, потому что на столе тикали часы и на кухне капала вода из крана. За окнами же притупленный стеклами и высотой, но все-таки сильный гомон толпы, шелест шин по асфальту, голубиное воркование на карнизе.

"Ну что вы разворковались?" - подумал Григорий Петрович и ощутил, как мутная, щемящая тоска растекается от сердца по всему телу - и голова становится тяжелой, гудящей, а руки и ноги тяжелыми, непослушными.

Григорий Петрович знал, когда впервые начались эти, как он определяет их, припадки - ровно через два года после выхода на пенсию - и как они проходят: встанет, будет совершать свои обычные дела, а затем сработает какой-нибудь винтик в башке - и Григорий Петрович совершит нелогичное, ненужное.

Ну что разумного в следующем, например, поступке? Сидел он, опершись о трость, на бульварной скамье, увидел пробегавшего по аллее мальчишку, сейчас и не припомнишь, что за мальчишка, во всяком случае, обыкновенный, рядовой пацан, какие встречаются на каждом шагу, - и вдруг представил себя на его месте: и я же был когда-то мальчишкой, - и неудержимо повлекло туда, где родился и рос. И, будьте любезны, наскоро собрал чемоданчик, купил билет, сел в поезд, прикатил на Тамбовщину.

Был сентябрь с чередой тягучих, холодных дождей, в малолюдной деревне мокли избы, в садах мокли яблони, на поле мокли галки и колхозницы, выкапывавшие картофель, - мужчин почему-то не было. Женщины в стеганках и кирзовых сапогах с недоумением смотрели на городского обличья старика, еле выдиравшего галоши из грязи, с раскрытым зонтиком. А он помесил грязь у картофельной бровки, у речки, в дубовой роще, где, по его предположениям, гонял некогда с ребятней, помесил

грязь на деревенских улицах, отыскивая выселок, где некогда стояла их изба. Выселка он этого не нашел, ничего окрест не узнавал, сверстников перезабыл, и семейства его в деревне никто уже не помнил. Да и то сказать:

мировая война, гражданская, голод коснулись Селивановки, сам же уехал отсель еще в девятисотом году. В Тамбов, оттуда - в Москву. Навсегда. Он вывалялся в грязище, промочил ноги, продрог, ночевал у подслеповатой вдовы-ворчуньи в затхлой комнатенке с тараканами - и сознавал: крестьянское детство с юностью столь далеки, что не взволновали, только утомился. Покидая назавтра Селивановку - с насморочным хлюпом и кашлем, удивлялся, как это он на склоне лет сорвался в дорогу, и его повлекло назад, в Москву, домой, в обжитую квартиру. И еще месяц после этой поездки он удивлялся себе.

Или такой поступок разумен? Хлебал он на кухне супчик, краем глаза читал газету и краем уха прислушивался к радио. Газета писала что-то о велопробеге, репродуктор на стенке распирало от поставленного дикторского баритона: "Автор показывает нам... в сцене помолвки и в сцене свадьбы..." Что автор показывает, Григорий Петрович не дослушал. Боже, до чего ж ему, почтенному старику, захотелось встать в ряды свадебной церемонии и увидеть все как есть! На церковное венчание вполне можно попасть, было б желание. Желание было, ибо он припомнил: на Таганке лет тридцать назад венчался с Зосей. Здорово: он - в черной тройке, белоснежная манишка, усики кренделями, напомаженный, она - в подвенечном платье, фата, подведенные брови, бледные щеки и алый рот, вокруг шепоток: "Ахтеры женятся..." По правде, Зося была плохой актрисой и плохой женой - пуста, ветрена, - и они вскоре разошлись. Но когда венчались, было здорово: молодые, счастливые, за спиной вся труппа, и шепоток по углам: "Ахтеры женятся..." Так вот, будьте любезны: потащился на Таганку, в ту церквушку, - действует, народу тьма, и как раз венчание. Смотрел он на молодых - были они не так молоды, но черная тройка и подвенечное платье с фатой были, слушал речитатив попика с золотым крестом, более старого, чем сам Григорий Петрович, слушал стройный, неземной ангельский хор и силился вызвать чистые, добрые воспоминания, связанные с собой и Зосей, а вместо этого вспоминал, как после спектакля застукал у Зоей режиссера, как она воровала у законного мужа деньги и как прикладывалась к его же щекам туфлей: "Я гордая полячка!" Подлые, не к месту, воспоминания. И тогда подумал о хоре: "Спевшиеся ангелы", - и вышел на паперть, и уже удивлялся: что ему, безбожнику с дореволюционным стажем, в этом венчании?

Ничего ему этого, в сущности, не нужно, и поездка на Таганку блажь. Понятно, это не то что на Тамбовщипу махнуть, это поближе - метро и трамваем.

Трясясь в трамвае, он стал припоминать тех, кто был после Зоей, припоминал как-то размыто, вроде все они на один лад: общительные, безалаберные, с уменьшительными, ласкательными именами - Коточка, Люси, Нинок. Милые, славные были женщины, но он думал о них спокойно, как бы по привычке. Все-таки это были жены, а еще больше было просто связей, просто девчонок, его поклонниц, он с ними расставался на второй, на третий день, не думая о возможной беременности и прочем, для того и существовали аборты, а богемная актерская жизнь не позволяла о чем-то задумываться. Эти девчонки вспоминались вовсе размыто и безо всяких имен. Парубковал лет до пятидесяти, благо отдельная однокомнатная квартира. Потом наступило возрастное, и женщины перестали его интересовать. Да...

А такой поступок? Роется он в шкафу, ищет рубаху и среди белья натыкается на альбом, - как в белье попал, шут знает. Альбом массивный, плюшевый, с позолоченной пряжкой. Отложить бы этот альбомище, убрать бы, так нет - начинает перелистывать.

Выцветшие, пожелтевшие фотографии, и на каждой он, Григорий Семенов-Берниковский, на обороте так и написано собственноручно: "Григорий Семенов-Берниковский в роли Счастливцева", "Григорий Семенов-Берниковский на банкете по случаю премьеры "Шторма", "Григорий Семенов-Берниковский в роли Шуйского"

и тому подобное. Семенов - кровная фамилия, Берниковский - добавлено для звучности, по-актерски. Он всматривается в свое лицо, тугое, нестарое, знакомое - если без грима, и незнакомое - в обликах театральных персонажей, и ему мнится, что он оживает на фотографиях, хмурится и улыбается, как в жизни. Он переворачивает последний лист и решает: отправлюсь нынче в театр, в какой - все равно. Какой поближе. Вечером, подстриженный и выбритый, отстукивая тростью, он идет к театру, покупает у кассы билет с рук, садится в партере. Чуточку волнуется при виде занавеса, авансцены, рядов кресел, контролеров с программками, радужных люстр и жужжащей, пестрой публики. Но когда занавес раздвинулся и начался спектакль, он сперва растерялся, а потом рассердился. Разве так надобно играть на сцене? Где кипение классических страстей, где накал извечных чувств, где бурная музыка и яркое оформление? В его времена театр был иным! Да он сам, драматический актер Григорий Семенов-Берниковский, играл на этой же сцене, если

память не изменяет, на многих московских сцепах играл. Но разве так играл? Дождавшись антракта, направляется к гардеробу. Его не хотят одевать - порядочки, мучайся до конца, - он объясняет, что нездоров, ему нехотя выдают плащ и шляпу, и он, церемонно поклонившись гардеробщику, удаляется.

Не ходил в театры и не пойдет. Мальчишки и девчонки, а не актеры. Не драматическое искусство, а нечто... нечто... Не найдя подходящего слова, пренебрежительно щелкает пальцами.

Ну, а кому сие нужно? Что осмысленного, здравого в таких поступках? Ровным счетом ничего. Просто припадки. Просто старость подчас пытается прорваться в далекую молодость, а к чему сие приводит? Да ни к чему. Старость - она старость.

Григорий Петрович лежал под ватным стеганым одеялом с пододеяльником, выложив поверху иссушенные, пергаментные руки, по-прежнему не открывая глаз, размеренно и тихо-тихо дыша. Он так дышит и во сне - не услышишь. Впрочем, слушать некому: Григорий Петрович бобыль. Уже в подъезде заголосила детвора, уже за стеной у соседей затарабанили на пианино, уже солнечный луч, пробившись сквозь тучи, слабый, зимний, переместился к кровати, чуть-чуть пригревал лицо. Сколько же времени?

Валяйся не валяйся, а подниматься надо. Не хочется: на сердце тоска, голова гудит, тело вялое, непослушное, но нужно вставать.

Сдвинул одеяло и сел в кровати. А куда, собственно, торопиться и зачем? Впереди целый день, за ним ночь, снова день... Как говорят, день да ночь сутки прочь, а сколько у него в запасе таких суток? Несколько меньше, чем позади. Шестьдесят годов ему. С гаком. Хотя на здоровье жаловаться грех, для его почтенного возраста мирово, как нынче выражаются.

Он встал, накинул на костистые плечи стеганый залоснившийся халат, подошел к заиндевевшему понизу окну. Руки висели вдоль туловища, ноги, будто распухшие от тяжести, припечатывались к полу. За стеклом были снеговые тучи и тускловатое солнце, срывались крупные снежинки, обезлиственные ветви тополей и лип раскачивались под ветром внизу, на бульваре, и внизу же толклась, колыхалась толпа прохожих, троллейбусы и автобусы разбрызгивали снежную кашу и талую воду. А рядом, прямо перед глазами, по карнизу вышагивали голуби и голубки, клюв к клюву, ворковали.

"С чего разворковались? - подумал Григорий Петрович. - Голуби вы, голуби сизокрылые..."

- Ополоснем физиономию, позавтракаем. - Трудно переставляя ноги, Григорий Петрович направился в ванную. - Зажжем свет, достанем из стакана зубную щетку...

Он поворачивал выключатель, чистил зубы, умывался, вытирался, причесывался, надевал рубаху, и в висках у него гудело, и он знал, что из этого гудения и родится та самая сумасбродная мысль. Родится - и сработает.

Не спеша, заученно Григорий Петрович проделывает то, что он проделывает ежеутренне, - наливает из бутылки в стакан кефир, варит яйцо всмятку и кофе, намазывает на хлеб масло. От батареи и электрической плиты на кухне тепло, обезвлаженно, нагретый воздух над плиткой шевелит на веревочке выстиранное накануне нижнее белье. Самому приходится стирать, все самому.

В том числе убирать комнату, кухню, прихожую. Канительно: целая квартира. Привык. Да и время чем-то заполняешь.

Григорий Петрович жевал, пил, вполуха прислушивался к репродуктору: "Производственные успехи текстильщиков Ивановской области... Месячный план... на сто два процента... Страна получит... сверх плана... тысячи метров тканей". Последние известия кончились, запиликала скрипка. Потом мыл посуду, застилал кровать, прошелся с веником, вытер пыль. Потом достал из почтового ящичка газету, развернул. Чем заняться? Приляжем на диван, почитаем прессу. А руки и ноги между тем непослушные, в висках гудит и гудит. Словно заболел. Но он-то знает: здоров, только припадок будет. Не миновать. Что-нибудь выкинешь.

Невнимательно, с пропусками, почитав газету, он надевает ботинки с ботами, потертую шубу - велюр снаружи, лисий мех на подкладке, шапку-ушанку с опущенными ушами, бантом завязывает на груди шарф и идет в магазин. Нужно купить колбасы, чаю, хлеба. С утра народу поменьше. Магазин - рукой подать, в соседнем доме.

Он шаркает ботами по ступенькам, в подъезде отстраняет галдящую ребятню, дворничихе говорит: "Утро доброе", с изяществом приподымает шапку. На дворе серо и сыро, с крыш свешиваются сосульки, слезятся, в скверике детсада воспитательница, краснощекая толстуха в пальто нараспашку, лепит снежную бабу, дети копошатся около воспитательницы, как цыплята около наседки, рослая суровая дворничиха в брезентовом переднике чиркает метлой, сметая снег в кучу, и по-мужски, без платочка, сморкается.

В магазине шумливо, бестолково. Покупатели грудятся у прилавков, у касс, у выхода. Сквозь толчею продираешься, как сквозь кустарник. Но Григорий Петрович опытен: сперва занимает очередь к продавцу, затем уж к кассирше, и покуда получит чек, его очередь подойдет к прилавку, потеря времени - минимум.

Перед Григорием Петровичем было четыре человека, и среди этих четырех его взгляд задержался на седом сутулом мужчине в клетчатом драповом пальто с каракулевым воротником; у мужчины был искривленный, с горбинкой нос, впалые щеки, острый кадык, баки и ямки на подбородке. Григорий Петрович отвел глаза, и вновь глянул, и едва не вздрогнул - Бальчугов Саша, до чего похож, а? Но в ту минуту, когда он решился обратиться: "Простите, вы не Бальчугов?" - к сутулому мужчине подошла такая же сутулая женщина и произнесла с недоумением:

- Коля, ты все еще стоишь? А я уже взяла сыр.

Коля? А тот - Саша. Хорошо, что не обратился, был бы конфуз. Но похож. Хотя, впрочем, не совсем, ежели разобраться.

У Бальчугова, помнится, родимое пятно на скуле, у этого нету.

К тому же Бальчугов, помнится, пониже росточком, этот долговяз.

Григорий Петрович сунул в сетку-авоську покупки и вышел из магазина. Впереди мелькнула и скрылась за углом шапка-пирожок того человека, которого он принял за Бальчугова. Подымаясь в лифте, подумал: "Жаль, что это был не Саша Бальчугов". И следом подумал: "Надо бы и сахарку подкупить, пу да ладно, не все враз, и так поистратился". А он не нарком, он пенсионер, лишних денег нету.

В прихожей он сказал себе:

- Разденемся, разуемся, выложим покупочки...

Повесил сетку на вешалку, стал снимать ушанку, шубу, развязывать шарф, облокотился о столик, чтобы стащить боты. На столике стоял телефон черный, старый, потускневший, с трещинкой на трубке, с забахромившимся шнуром.

- А теперь посидим, дочитаем газетку...

Григорий Петрович нацепил очки, развернул полосы и увидел - будто сквозь газетный лист - телефон на столике в прихожей. Он опустил газету и воочию увидел из комнаты телефонный аппарат. Черный аппарат на палевом столике. И в следующий миг понял: он будет звонить Бальчугову. Голова гудела, руки, державшие газету, подрагивали, ноги как бы приросли к полу. Будет звонить. Для чего? Толком сам не знает. Но - позвонит, это неизбежно.

Давно он не звонил никому из своих друзей. Вернее, знакомых, потому что настоящих друзей у него, вероятно, никогда не было.

Как-то так получалось: и попадались отличные, славные люди, да накоротке сойтись с ними не мог, приобретал скорее приятелей, не друзей.

А когда кому звонил из приятелей - подзабыл. Раньше перезванивались, теперь же нет. И ему не звонят, и он не звонит. Вообще телефон по неделям безмолвствует. Разве что по ошибке оживет: "Это база? Позовите Матильду". Или: "Справочная? С какого вокзала ехать на Пензу?" И сам Григорий Петрович звонит лишь по делу: в райсобес - насчет пенсии, в магазин - есть ли сосиски, в жилконтору - кран починить или еще что.

Сейчас позвонит просто так. Привет, мол, старина, сколько лет, сколько зим, извини, мол, за беспокойство, со здоровьишком как, желаю сил, бодрости и долголетия. Удивится Бальчугов, наверно:

столько молчал - и вдруг надумал звякнуть. Но с другой стороны, что же, не мог Саша набрать его номер, это запросто делается.

Следовательно, обоюдная вина.

Ступая слишком отяжеленно и грузно для своего сухощавого, костистого тела, Григорий Петрович подошел к столику, снял телефонную трубку с рычажков и, глядя в записную книжку с номерами, крутанул диск.

- Алло, - сказал он. - Это квартира Бальчуговых?

- Нет, - ответили ему, и он положил трубку.

Ошибся. Не туда попал. Наберем еще разок. И опять ему сказали, что это не квартира Бальчуговых.

- А что же?

- Квартира Тавровских. Но погодите, не вешайте трубку...

Раньше тут, до нас, жили Бальчуговы. Переехали на Плющиху.

Запишите их телефон...

Григорий Петрович отыскал карандаш, приготовился записывать и спросил:

- Давно переехали?

- Порядочно. Так слушайте...

Карандаш царапал бумагу, цифры писались вкривь и вкось.

Перебрались Бальчуговы, сменили жилье. Ладно, позвонит по новому телефону.

Ему отозвался низкий женский голос:

- Алло?

- Здравствуйте, - сказал он. - Кто это?

- Допустим, Алевтина Сергеевна.

Алевтина Сергеевна? Жена? У Саши была жена, но как ее зовут, позабыл, хоть убей. Сказал:

- А можно Александра Евгеньевича?

В трубке помолчали, и он повторил:

- Александра Евгеньевича можно?

- А кто спрашивает?

- Семенов-Верниковский. Это его старый знакомый...

- Я не смогу позвать Александра Евгеньевича и для старого знакомого.

- Почему? Он болен?

- Он умер. Позапрошлой осенью. Разрыв сердца.

- Простите, - пробормотал Григорий Петрович. - Вы жена?

- Жена.

- Простите. До свиданья.

- Прощайте.

Григорий Петрович не двигаясь сидел на пуфе у столика, вытирал платком испарину со лба. Справился о здоровье, вот так пожелал сил и бодростп. Саша Бальчугов умер. От разрыва сердца.

В позапрошлую осень.

Наверно, был листопад, дул ветер, желтые, скользкие от дождя листья сыпали с деревьев на автомашину с ало-черной материей по бортам, в машине гроб и кучка родных - нынче так хоронят, механизированно, в темпе, без лишних людей и без медлительных процессий.

Наверно, в гробу Саша лежал спокойный, смирный, а в жизни это был огонь человек. По Театру Мейерхольда его помню. Загорался спектаклем, режиссером, актерами, публикой, на сцене разве что на голове не ходил, вне сцены - бесконечные добрые деяния: что-то для кого-то просил, требовал, добивался. И за меня вечно хлопотал: роль в новой пьесе, жилье, надбавка жалованья, путевка на курорт... А то было: нету у меня сносного пальто, Саша свое отдает, попробуй не принять подарка - взрыв, вулкан, - а сам после в плащишке прозябал. Благородная, бескорыстная душа... Да, помнится, и псевдоним мне Саша сочинил, СеменовВерниковский - это благодаря ему. Был младше меня, а

опекал, будто старший. И не одного меня опекал... Впоследствии разошлись по разным труппам, все дальше, дальше, так далеко, что и перезваниваться перестали, пенсионники. А два последних года Саша, если бы и захотел, не мог уже позвонить: с кладбища не позвонишь.

В висках и затылке гудело, и сквозь этот гул временами жалом покалывало и в виски, и в темя. Нужно было прилечь, отдохнуть, успокоиться. Но вместо того чтобы прилечь и успокоиться, Григорий Петрович начал, мусля, перелистывать записную книжицу, искать что-то средь телефонных номеров.

"Ксенофонтов В. К.". Так. Это то, что требуется. Ксенофонтов Виктор Константинович. Играли некогда в труппе Завадского.

Когда последний раз виделись? Христос его знает. Когда последний раз перезванивались? Да-а, нескладно. Не видишь, не звонишь и - хлоп, узнаешь: похоронен. Нежданно, нелепо. Как с Сашей Бальчуговым. Крепыш был, огонь человек, моложе меня - и на тебе, разрыв сердца.

Виктор живет в Марьиной роще, а Саша жил на Арбате, затем перебрался на Плющиху. Знает ли Виктор о Сашиной смерти?

Ведь они тоже были близко знакомы и работали вместе, у того же Таирова. Не знает - я сообщу. И словно сниму с себя часть скорбной ноши.

- Звякнем Вите, потолкуем, - сказал Григорий Петрович, не трогая трубку.

Конечно, я сообщу ему о Сашиной смерти. Как воспримет это Витя? Вообще-то он хохотун, анекдотчик, бабник. Откалывал коленца. И как не откалывать: гвардеец, красавец. И - несомненный талант. Не то что я. Десятки лет проработал в театре, играл и ведущие роли, а до сей поры не уверен: по своей ли стезе пошел, не бездарь ли? И по театрам меня мотало, как пушинку ветром, все оттого же: не ярко светил. Витя же Ксенофонтов светил ослепительно, публика его боготворила, газеты комплиментничалп. Заслуженного получил. Да я б ему и народного дал. А вот мне ни фига не дали, хотя представлялся к заслуженному. Может, и правильно, что не получил. Рядовой актер, как ни финти. Но и рядовому актеру расстаться с театром свыше сил, я расстался по возрасту: проводили на отдых, на пенсию. И успокоился я постепенно, не скучаю по театру, живу себе.

- Звякнем Вите, потолкуем о том о сем, - сказал Григорий Петрович и снял трубку.

Номер был занят - высокие частые гудки, раздражавшие и еще более подогревавшие нетерпение. Наконец Григорию Петровичу ответили:

- Вас слушают.

- Здравствуйте, - сказал Григорий Петрович. - Будьте любезны Виктора Константиновича.

- Кого? Кого?

- Виктора Константиновича. Ксенофоптова. Я правильно набрал номер?

Говорившая с Григорием Петровичем женщина хмыкнула, кашлянула и сказала:

- Набрали-то, уважаемый, правильно. Но Виктора Константиновича у нас уже нету...

- Как нету? Съехал?

- Да как вам выразиться? Съехал на тот свет. Померли Виктор Константинович, отмучились.

- Умер! Не может быть! - сказал Григорий Петрович, и у пего кольнуло в сердце.

- Очень даже может, - сказала женщина.

- Простите, я не то хотел сказать... Я хотел сказать: давно он умер?

- Года три. Либо чуток помепе.

- Еще раз простите. Вы супруга Виктора Константиновича...

или вообще родственница?

- Соседка. Сродственников у него не имеется, кроме дочери.

Нужна вам? На работе, вечером будет...

- Не нужна, - сказал Григорий Петрович. - Еще вопрос... От какой болезни умер Виктор Константинович?

- Разбило их параличом, очень мучились...

- Жалко Виктора Константиновича...

- И не говорите! Приятный был сосед, уважительный...

- До свидания, - сказал Григорий Петрович. - Благодарю вас.

- Не за что, - ответила женщина и сиова хмыкнула и кашлянула.

Так. И Виктора нет в живых, вот это сюрпризы. Боже мой, и Витя мертв, тот шутник, анекдотчик, прожигатель жизни и всеобщий любимец, его знала вся Москва. И Витя Ксенофонтов знал всех. С Маяковским был знаком, с Есениным, со Станиславским, с прочими знаменитостями. Через него и я познакомился со знаменитостями. Витя любил таскать меня за собой. На кладбище теперь он. Могилка с крестом. Паралич. А я ничего об этом не слыхал. Саши нет, и Вити нет. Да, новости. Ну, новости! От них и самому помереть можно.

Григорий Петрович, сгорбившись, крутил головой, вытирался носовым платком. Руки тряслись, поташнивало. Надо все-таки прилечь, отдышаться. Он прилег на диван, положив голову на валик.

Лежа полистал записную книжку. "Меркулов П. П.", "Спиридоненко Х. В.", "Туманян Г. А."... Против фамилий значились номера телефонов, только против фамилии Туманяна не стояли цифры, у него нет телефона, это хорошо, что нет: позвонишь, а тебе объявят - помер. Не буду больше звонить, судьбу искушать - и так тяжко. Умирают его сверстники. А он еще жив и на здоровье не жалуется. Ровесники умирают, товарищи.

Было душно, и он открыл форточку. Но удушье не проходило.

Тогда он стал одеваться. Ботинки с ботами, прозванными "прощай, молодость". Действительно, прощай. Пальто на лисьем меху, шапка с опущенными ушами. Красно-синий шарф, повязанный на груди бантом, - одна из немногих актерских привычек, уцелевших у него.

На бульваре под липами по столу на столбиках стучали костяшками домино пенсионные старички и старушки. Им и зима не помеха. Григорий Петрович на них не взглянул, ибо не переваривает стучащих в домино.

Он подошел к скамейке на отшибе, обмахнул ее перчаткой, присел на краешек. С голых веток капало, снежинки кружились и падали на плечи прохожих, на аллею, на кусты, таяли; что за февральские денечки! теплынь, мокрота. Шуршали троллейбусы, толпа гомонила за бульваром, на тротуаре. Лаял пудель у заснеженного газона, плакал ребенок в коляске, смеялись девушка и парень на лавочке поодаль. Ветер срывался откуда-то сверху, где тучи и солнце. Оно, солнце, светило Григорию Петровичу в глаза, и он, опершись на трость с набалдашником и глядя прямо перед собой, слегка щурился.

Был февраль тысяча девятьсот сорок первого года.

Был и июнь тысяча девятьсот сорок первого года, и Григорий Петрович, стоя у распахнутого окна, глядел на улицу; за спиной репродуктор гремел маршами и воинственными песнями, внизу, по мостовой, шла колонна молоденьких, безусых в топорщившейся форме красноармейцев. Григорию Петровичу казалось, что это его, бездетного, сыновья идут на войну, с которой не все вернутся.

Да, он всю жизнь считал себя бездетным, а сын был - Петька, родившийся у рабочей девчонки Лиды Глушковой, гордой и дерзкой, но не устоявшей против обаятельного артиста, едва ли не годившегося ей в родители. Да и сын никогда не догадывался, что отец жив.

Григорий Петрович смотрел на мостовую, слушал радио и чувствовал, как его стариковское, его никчемное существование наполняется необыкновенно важным смыслом. В тот же день он направился в военкомат, в театральное общество, в профсоюз

работников искусств. Ему ответили: ценим ваш патриотический порыв, ваше стремление поставить талант на службу сражающемуся народу и поэтому, невзирая на возраст, включим вас во фронтовую бригаду.

Концертная бригада отправилась на фронт в середине июля, но не доехала: немецкая авиация разбомбила состав возле Гжатска.

Пыльным, раскаленным полднем - с крикливым вороньем и золотистыми жирными мухами - санитары сновали между дымящимися, покореженными пассажирскими вагонами, раненых уносили на брезентовых носилках, мертвых складывали у водокачки. Труп Григория Петровича положили рядом с детским, и кривой, вислоусый санитар сказал:

- Ни малого, ни старого не щадит война-мачеха.

9

Поторапливаясь к теплушке, я успел передумать невероятно много. На сто шагов - сто мыслей. А если сказать чуть иначе? Родине надобно, чтоб ты снова воевал. Так-то так...

Штабной вагон - заурядная теплушка с заурядными нарами, только тут попросторней. За столом - комбат, его зам по строевой, старший адъютант, полковые офицеры. Мы, из рот, расселись на нары, на табуретки. Комбат постучал по столу, заговорил негромко. Когда он, требуя от офицеров полнейшего порядка в эшелоне, объявил, что мы едем на Дальний Восток, поближе к самураям, я не поверил своим ушам. Как это - поближе к самураям? Ослышался я, он оговорился? Какое там ослышался и оговорился! Похрустывая суставами пальцев (привычка нервных, но у комбата, по-моему, нет нервов, это железный человек), капитан втолковывал нам тихо, четко и ясно: если нас перебрасывают к границам Маньчжурии, значит, предстоит не курорт, а скорей всего военные действия, мы не маленькие, народ сознательный, должны понимать. Разумеется, все это между нами. Конечный пункт не уточняется из-за соображений секретности. Хотя командование помалкивает, мое личное мнение: едем на серьезные дела. Поэтому никаких демобилизационных, расхлябанных настроений, - напротив, держать личный состав в мобилизационной готовности. Категорическое предупреждение: ни малейших разговоров с местным населением о том, куда и зачем следуем. И далее: учитывая, куда и зачем следуем, не допустить ни одного случая отставания от эшелона. Категорически предупредить личный состав: кто потеряется, отстанет от эшелона, пойдет под суд военного трибунала.

Командиры подразделений под персональную

ответственность обеспечивают должный порядок в пути следования. Будут организованы занятия. Особое внимание обратить на политзанятия и беседы о вероятном противнике...

И я вспомнил: политические занятия на темы "Милитаризм японской промышленности", "Захватнические цели японской военщины" и еще такого же сорта мы проводили уже в мае, на отдыхе, в Инстербурге. Тогда, в победном, праздничном чаду, я не придавал им значения - Германия разгромлена, ругать ее нет смысла, надо ругать Японию, - но сейчас меня будто кольнуло: дурак дураком, не догадался, чем это пахло!

Km-то осмелился прервать комбата:

- Какой же вероятный, если достоверно известно - Япония?

- Достоверно ничего не известно, - сказал комбат. - Но Советский Союз может вступить в войну против империалистической Японии. Чтобы ускорить разгром союзника гитлеровской Германии, погасить второй очаг войны на земном шаре и приблизить установление всеобщего мира. Вопросы есть?

Вопросов не было. Комбат сказал:

- Товарищи офицеры! Покамест эшелон не тронулся, по вагонам!

"По вагонам" - прозвучало как по "копям". Ошарашенный словами комбата о японцах, я даже не обратил внимания на то, как восприняли их остальные офицеры. Сперва мыслей не было, потом явилась отчего-то такая: "Это правильно, что до выезда нам не сообщили, куда поедем. Разболтали бы братья-славяне, а кругом немцы. Вот под Оршей зимой сорок третьего четвертого было... Гитлеровцы пронюхали о нашем наступлении и к началу артподготовки ушли из траншей в блиндажи, во вторую линию, наши перенесли огонь туда - они вернулись в первую. А когда мы поднялись в атаку, они резанули по цепям... И все из-за нашей болтливости".

Уже спускаясь из штабного вагона, подумал: "Едем на новую войну?"

- Покедова, - сказал Трушин и полез в свой вагон.

- Прощай, - сказал я, стараясь скрыть раздражение.

Покедова... Что за дурацкая манера шутить, подделываясь под некую народную речь? Что в этом остроумного? Право же, замполиту батальона здесь изменяет чувство меры. Да о чем я? Надо об ином думать, о том, что услыхал у комбата.

Я взобрался в теплушку, расправил гимнастерку, закурил.

Эшелон дернулся. Набрал скорость. Замелькали столбы, деревья, кусты, постройки. Сколько вот так будем трястись в теплушках, сколько валяться на жестких, скудно прикрытых сеном нарах?

Недели две? Три? Четыре? Дальний Восток - он и есть дальний.

Встречный вихрь гнал папиросный дымок в теплушку, растрепывал мне волосы, порошил глаза пылью. Я прикрыл дверь наполовину.

До моего плеча дотронулись. Миша Драчев. Пилотка на ухе, острый носик сморщен, словно принюхивается, взгляд узких, желтых, с кровяными прожилками глаз напряжен, напряжена и фистула:

- Товарищ лейтенант, чегой-то я вам хочу сказать...

- Поправь пилотку. Вот так... Говори, я слушаю.

- Чегой-то хочу сказать... - мямлит ординарец.

- Ну что? Говори!

- Примите от меня подарочек. Не погнушайтесь.

- Что еще за подарочек?

- Не серчайте, товарищ лейтенант! Не подумайте плохого...

Вы на прощанье отдали часы Абрамкину, сами остались... Командиру без часов никак нельзя! Я и порешил... У меня пара: мои и брательнику везу в подарок...

Часы мне нужны до крайности, но я колеблюсь:

- Брателышковы даришь?

- Пошто? Свои. Солдату часики не обязательно... А брательиику привезу, обещал. Не обессудьте, товарищ лейтенант, примите!

- Ну, давай. Спасибо. - Застегиваю на запястье кожаный ремешок, поглядываю на циферблат. - Отблагодарю. Или верну после войны. Разгромим японцев - и верну.

- Каких японцев? - Нижняя челюсть у Драчева отваливается, БИДОН нездоровый, с белым налетом, язык.

Понимаю, что проговорился и что до моих солдат новость из соседних эшелонов еще не дошла. Бегло усмехаюсь:

- Объясню... Видишь ли, есть предположение, что едем на границу с Маньчжурией...

Драчев хлопает глазами, что-то бормочет. Бас из дальнего угла вклинивается, позевывая:

- А я об этом давненько догадывался, товарищ лейтенант.

Воевать будем с япошками, неизбежно...

На нарах приподымаются головы. Я прикидываю: незачем играть в молчанку, лучше сказать людям откровенно о том, что может быть. Это, помимо прочего, их дисциплинирует. И я, прокашлявшись, произношу:

- Друзья, позвольте поделиться с вами известием...

Тьфу, фальшивая нота! "Друзья" - панибратство, "позвольте поделиться с вами" - профсоюзное собрание. Да разве ж это

воинский язык? Правдивое, искреннее, человечное можно выразить и армейским языком, без сюсюканья.

Это проносится у меня в мозгу. Что же сказать дальше, какими словами? А-а, какие найдутся... И я говорю:

- Товарищи солдаты и сержанты! Мы с вами прошли войну.

Не все, конечно, есть новички, есть необстрелянные, но большинство воевало на фронте. Мы победили немецкую армию, и нас войной не испугаешь! Говорю это к тому, чтобы вы знали: наша Оршанская Краснознаменная ордена Суворова дивизия едет на Дальний Восток, нам, возможно, предстоят боевые действия против японской армии...

Делаю паузу, во время которой слышу восклицания: "Ох ты!", "Ну и ну!", "Так и есть!", присвистывания, вздохи, вижу удивленные, озадаченные, нахмурившиеся лица, есть и радостно-изумленные - у мальчиков, у семнадцатилетних. На мгновение в душе закипает досада на этих радостных, бодрых, не нюхавших пороха юнцов, но я подавляю ее. Спокойно, размеренно продолжаю говорить. О том, что наша первейшая задача - в полном составе, без единого отставшего, прибыть в пункт назначения. О том, что порядок в дороге должен быть образцовый, достойный воинов-победителей. Я говорю и слышу, как у меня на груди позванивают ордена и медали. И как перезваниваются они у солдат и сержантов, когда те меняют позу. И лишь у мальчиков, у семнадцатилетних, на груди, на гимнастерках, ничего нет кроме пуговиц.

Меня засыпали вопросами: до какого города едем, каким маршрутом, сколько дней в пути, сильна ли японская армия, чем вооружена и правда ли, что в ней имеются смертники, что за занятия будут у нас и когда, можно ли отлучаться повидать близких, если стоянка будет в родном городе, - и бог весть еще о чем спрашивали. На что мог, я отвечал, отвечал, и внезапно усталость, как судорогой, свела горло. Я умолк, махнул рукой: дескать, хватит, все.

Старшина Колбаковский сказал:

- С остальными вопросами обращайтесь ко мне!

И хохотнул. Рот до ушей, глазки масленые, пахнет спиртным.

Весельчак. Наклонился, шепнул:

- Товарищ лейтенант, во фляжке остатнее... Добьете?

- Нет желания, - сказал я.

- Нет? - Старшина предельно удивлен.

Удивился и я: почему отказался, выпить бы - в самый раз.

Сколько же нелогичных поступков у лейтенанта Глушкова! Но нелогичность, связанная с отказом от выпивона, заслуживает одобрения и поддержки. Уважения и восхищения. Ура! И, злясь на

себя, испытывая свою волю и вгоняя старшину в окончательную растерянность, я повторил:

- Ни малейшего желания.

Он настолько растерялся, что полез наверх и, корячась, высосал из фляги до донышка. Тем паче приближался ужин. Стол уставлен котелками.

На станции принесли термосы с ужином. Я всухую ел дравшую глотку гречневую кашу, косился на чавкающего старшину - уж аппетит-то у него с возлияния был! - и слушал, что говорят вокруг. И за ужином, и после обсуждают вероятность войны с японцами, лишь случайно, инородно в этот разговор вклинивались фразы: "Маловато в каше маслица, повар-жмот поскупился", "Не прибедняйся, крути цигарку", "Живот буркотит, а терпи от перегона до перегона", "Вытерпишь, не барин". Говорят в основном те, кто за столом и на верхних нарах, - ветераны, фронтовики, хозяева. Юнцы - как гости, жмутся внизу, поближе к двери, помалкивают или обмениваются шепотком, которого я не разбираю изза колесного перестука.

Говорящие меня не стесняются, вроде бы не замечают присутствия ротного командира, изъясняются весьма раскованно, не без матерка. Почему так? Раньше, на фронте, солдаты себе этого не позволяли. А кончилась война, и постепенно они как бы расхлябывались. Не то чтобы презрели воинскую дисциплину, но в их поведении обнаружилось что-то чуждое мне, словно назойливо бормочущее в ухо: лейтенант, не цепляйся к нам, скоро все мы станем гражданскими, ты будешь студентиком, а мы - кто и повыше тебя будет рангом на гражданке-то. Может быть, мне это мерещилось, плоды мнительности, так сказать, богатого воображения? Но если даже это факт и мне ничего не мерещится, неужели весть о том, что опять будет война, фронт, не вернет все на исходные позиции? Увы, пока я этого не наблюдаю. Слишком быстро?

Так или иначе, наблюдаю иное - вольность, расхлябанность, которые вызывают у меня ощущение разобщенности. Между солдатами и мной и между самими солдатами. Поживем - увидим, во что это выльется. Если тут и есть кто-то ни в чем не изменившийся, так это мой верный ординарец Миша Драчев - такова уж у него служба и такова натура. А мальчики - какие они? Я их худо знаю. Могу только сравнить с собой - с тем, зелененьким. Но это как-нибудь в другой раз.

Кругом говорили, говорили - я молчал. И вдруг как бы со стороны увидел себя: сидит за столом лейтенантик за недопитой кружкой чая, в общем и целом молоденький, но с морщинами на лбу и у рта, острит плечи, глаза беспокойные, бегающие, и словно

отделен он невидимой полосой отчуждения, да, есть такой термин - полоса отчуждения, термин как будто и не имеет отношения к нему и в то же время как будто имеет. Одинокий, неприкаянный, усталый лейтенантик, в общем и целом молодой. Да. Но почему неприкаянный, почему усталый? Нет, все это плоды мнительности.

Надо было слушать, и я слушал. Слова входили в меня грубо, царапая уши, застревая в мозгу, как занозы. Их, этих слов-заноз, копилось все больше, и голова разболелась. Допивая остывший чай, потирая виски, острил лопатки, слушал. Разговор был шумный и перекрестный, словно состоял из отдельных нитей, натянутых между говорившими, по нитям слова скользили, как вагонетки по стальному тросу подвесной дороги. Вот до чего додумаешься, если черепок болит.

Можно было выделить три основных мнения. Первое, сугубо мрачное, высказал, как ни странно, старшина Колбаковский. Только что был весельчак, похохатывал - и враз переменился, будто мгновенно протрезвел. Вероятней всего, с запозданием дошел смысл новости. Взвесил старшина ее и помрачнел. Предложения рубал, подчеркивая пристукиванием костяшками пальцев по столу, крутил головой на короткой толстой шее, ровно бы выискивая, к кому обратить свою речь, и не находя достойного:

- Чтоб им ни дна ни покрышки, тем японцам, самураям! Выискались, на наше горе! Токио, император Хирохито, банзай... - Шея и щеки Колбаковского побагровели, он повысил тон, стучал не костяшками пальцев, а кулаком. - Но почему американцы не воюют толком с японцами, толкутся, как цветок в проруби? Хотят нашими ручками жар загрести! Сами не одолеют Японию, так на нас взваливают. А какого же они не воевали на нашей стороне, когда фрицы были под Москвой? Тушенкой отделывались, лярдом... Ах, шкуры, ах, буржуи, выгадывают за наш счет!

"Проливали-то мы кровь проливали, - подумал я, - только ты, старшина Колбаковский, прихватил ее, войны, кроху, больше по тыловым складам околачивался... Да и нельзя так выражаться о наших союзниках, президент Рузвельт был другом товарища Сталина, как говорят. И вообще истерика. А еще старшина..."

Второе мнение - половинчатое - удачней всех выразил Свиридов. Нянча на коленях старшинский аккордеон и, по счастью, соображая, что сейчас его игру не будут слушать, он беззвучно перебирал клавиши и говорил, как бы прицеливаясь к их беззвучным тембрам:

- Я рассуждаю в данном направлении - воевать придется, никуда не денешься. Это факт, а не реклама.

Выразитель третьего, насквозь бодрого мнения - Толя Кулагин. Ворот распахнут, высовывается мохнатая, как на обезьяне, шерсть, надраенные зубным порошком пуговицы на гимнастерке и бляха на ремне горят, и серый глаз и карий горят, помятые, старообразные черты свежеют. Кулагин приминает вихор на макушке, жестикулирует:

- Мы их, самурайских гадов, за четыре педели в порошок сотрем, ей-бо! Ваши очи видали, сколь эшелонов прет за нами, рядком и спереди? Тьма-тьмущая войск! Пехота, "катюши", орудия, самолеты. А летит сколь самолетов? Все туда, на восток, на японца. Силища у нас несусветная, армия всемогучая, кто супротив устоит? Это вам не сорок первый годочек, будь он трижды проклятый! Ноне мы заказываем музыку, понял, Свиридов? Так играй не танго, а победные марши, дьявол тебя забодай! Слушайте меня, робя: ка-ак вдарим по Японии, так от нее пшик, а нам добавочные орденишки! Готовь дырки на гимнастерках!

- Дырки от бубликов, - бурчит Колбаковский, но его не слушают.

Большинству воинственные, отчасти гаапкозакидательские речения Кулагина по душе. От двери, где обитают юнцы, раздается несильный, ломающийся, как у петушка, голос:

- Поддерживаем товарища Кулагина! Наша славная Краснознаменная ордена Суворова Оршанская дивизия покажет себя.

И мы, пополнение, не отстанем от фронтовиков, покажем...

- Аника-воин, - прерывает Колбаковскпй. - Нюхнешь, почем фунт лиха, не зарадуешься, герой...

- Нет, почему же, товарищ старшина... Вы не сомневайтесь, не струсим, будем достойны ветеранов-фронтовиков...

Обладатель ломкого баска - Нестеров Вадим, тонкокостный, стройный, с длинными, загнутыми ресницами, с румянцем смущения на лице мягкого, девичьего овала. Чистый, наивный, уважительный мальчик, жестоко смущавшийся, до краски, до слезы, если приходилось говорить. Тут набрался смелости, сказал. Его одногодки одобрительно на него поглядывают, кивают. Ясней ясного:

разговоры об орденах для них - мед, ребятки мечтают о подвигах и наградах. На той войне не досталось, зато теперь имеют шанс.

Какой шанс? Ведь на войне, помимо того, что дают правительственные награды, еще и убивают.

Что касается меня, то я предпочел бы остаться без нового орденочка, лишь бы не воевать. И думаю я при этом не столько о

себе, сколько о них, семнадцатилетних. Еще не поживших как следует. Но воевать надо, и потому надо готовить к этому и солдат, и себя. Прикидываю: что сказать, чтобы извлечь из этой беседы, из сшибки трех мнений, выгоду для меня как ротного командира?

Говорю:

- Товарищи! Если партия и правительство поставят перед Советскими Вооруженными Силами благородную цель - разгромить милитаристскую Японию, освободить порабощенные народы Азии и приблизить мир во всем мире, то... период большой, как у Льва Толстого, и я делаю передых, - то наш долг, товарищи, выполнить ее! Но к боевым действиям необходимо готовиться, нельзя недооценивать противника. Поэтому требую отнестись к занятиям по-настоящему!

Все молчат: я вступил в беседу довольно неожиданно. Только сержант Симоненко, парторг роты, произносит:

- Товарищ лейтенант, коммунисты и комсомольцы покажут пример.

- Надеюсь, - отвечаю я и думаю: "Спасибо, парторг. Ты вовремя поддержал меня". Знаю: к нему прислушиваются, он мужик авторитетный. Говорит редко, но веско. Дай бог.

Мне кажется: я удачно повернул разговор, да что там - насобачился. И одновременно понимаю: от реальности не схоронишься. Давайте без растерянности и расстроенноеТ. Будем воевать, коль надо. На совесть воевать будем.

Я добавляю зычно:

- Мир ли, война ли, мы всегда сыны Родины, солдаты Родипы, она может во всем на пас положиться. Так ведь, братцы?

Со всех сторон:

- Конечно, так!

- Так точно, товарищ лейтенант!

- На кого ж ей опереться, как не на пас?

Я спрашиваю у Колбаковского:

- Ну, старшина, все правильно?

- Правильно, товарищ лейтенант, - говорит Колбаковский довольно твердым голосом.

Вероятно, я все-таки умру от старых ран. В преклонном возрасте. В госпитале для инвалидов Отечественной войны, есть такие.

Впрочем, какой же я инвалид? Я умру от старых ран у себя дома.

Я подошел к приоткрытой двери, отвел ее пошире. Посвежело.

Я поежился. Смеркалось. Небо потемнело, загустело, на

востоке оно было в дымке, на западе - в лиловых и розовых полосах. Леса почернели и отдалились, силуэты отдельных деревьев, столбов, построек, жавшихся к железной дороге, - рельефные, врезанные в небо. Кое-где в окнах светились огоньки. Кончилась война - кончилась светомаскировка. И в Москве теперь половодье огней, как до войны. Проедем через Москву или нет? По всему должны проехать. А в дальневосточных городах введут светомаскировку?

Либо уже ввели? И когда начнется война, та, японская? Когда - об этом полюбопытствуй у Верховного Главнокомандующего. Он тебе доверительно сообщит, лейтенанту Глушкову.

Сумерки плотнились, искры вырывались из паровозной топки, гасли на лету, в черноте. Ее, черноту, не могли побороть ни паровозные искры, ни оранжевая луна, взошедшая над лесом, ни фонарь "летучая мышь", подвешенный в теплушке, на стояке нар.

Чернота обволакивала леса и поля, эшелон, теплушку и меня, Глушкова. И хотелось вырваться из тьмы, окунуться в утренний, нарождавшийся свет, в теплый, животворящий свет.

Рядом встал сержант Симоненко. Затянулся папиросой, предложил:

- Папироску, товарищ лейтенант?

- Благодарю, недавно курил.

Симоненко могуче, с хлюпом, затягивался, огонек, разгораясь, освещал его крутой лоб, крупный рот, вздернутый нос, щеточку усов. Симоненко внушительно проговорил:

- Товарищ лейтенант! Я планирую провести открытое партсобрание. Об авангардной роли коммунистов и комсомольцев в занятиях по боевой подготовке. Как относитесь?

- Положительно. Согласуйте с гвардии старшим лейтенантом Трушиным.

- С замполитом утрясем!

Сержант Симоненко настойчив, целеустремлен. За что возьмется - доведет до завершения. Взялся за занятия - не отступится.

Это дельно, это мне подмога.

За спиной захлебывающиеся переливы аккордеона, пенье с придыханием, с выкаблучиванием:

Мы с тобой случайно в жизни встретились, Оттого так странно разошлись...

Так, так. Ефрейтор Свиридов. Солист Большого театра Лемешев! Король цыганской эстрады Козин! Очередное танго, сладчайшая, сиропная грусть. Уж впрямь лучше бы победные марши наяривал.

Не говори, я знаю, что ты мне скажешь, Ведь ты не можешь ничем помочь...

Бог ты мой, запасы этой музыкальной продукции у солистакороля ефрейтора Свиридова, вероятно, неограниченные. Сколько он продемонстрирует ее до Читы, Хабаровска, Владивостока или куда там мы едем? Он меня утопит в этой музыке!

- Исполнялось танго "Не говори", - с достоинством молвит Свиридов.

"Не говори и не пой!" Так и подмывает это сказать, но сдерживаюсь, соплю.

Мое сопение Симоненко истолковывает по-своему. Он сочувственно спрашивает:

- Простыли маленько, товарищ лейтенант?

- М-да... На сквознячке, видать.

- Зачем же тут стоите?

- Да ничего, я немного...

Луна вскарабкалась повыше, уменьшилась, побледнела. Проступили звезды. Обозначился Млечный Путь. Обозначился и наш путь - мой и моих однополчан: колеятся рельсы на огромном, необозримом расстоянии километр за километром, ночью они блестят иод луной, днем - под солнцем. А в конце этого пути - выгрузка, марш и бой. Наверное, так будет выглядеть. По крайней мере хорошо, что путь нам обозначен. Хуже нет неизвестности.

Последние часы мы на германской земле. Вряд ли когда еще доведется побывать здесь. Да, по совести, и стремления нет. Может, оно и любопытно взглянуть через десяток лет, что станется с Германией, куда она пойдет, как будут вести себя немцы. Да уж больно соскучился по родной стране, по русским людям, по русскому духу, по русской березе! Буду жить в России безвыездно! Ну, а немцы должны же чему-нибудь паучиться на уроках минувшей войны. Я употребляю слово "минувшая", как будто та война была давно и далеко. Видимо, это оттого, что новая война на пороге.

А та, с немцами, была совсем недавно и в краях, где мы едем и где еще проедем.

И внезапно вспоминаю себя таким, как Вадик Нестеров и его одногодки. Примерно таким - на войну ехал, отслужив полтора годика действительной. Боец был побывалей, постарше, чем они.

Но доверчив, не испорчен, житейски неопытен, как и они, сгрудившиеся на парах у двери, - читают книги и газеты, играют в крохотные дорожные шахматы. Культурная публика! Я говорю "Вадик" потому, что Нестеров сам так назвался, когда старшина спросил, как его зовут. Колбаковский обрезал новичка:

- Что еще это за Вадик? Детский сад, пеленки-распашонки...

В армии ты, Вадим, понял?

Почему-то вспомнил сейчас. Было так, было. В городе Лиде нашу часть погрузили в эшелоны и повезли к границе, где началась война. Еще не вошло в обиход слово "фронт", и говорили просто - туда... Вот и ехали мы туда, так же стучали колеса, так же шел по земле июнь, а эшолоп шел навстречу войне, война - навстречу ему. Старослужащие раздобыли на стоянке бутыль самогона, пили, пели, угощали меня: "Вкуси хоть перед войной, какой он есть, первпч, а то ухлопают, и не попробуешь. Баб небось не пробовал?" Я краснел, отказывался от стакана, глядел в раскрытую дверь теплушки на зажелтевшие пшеничные поля, - ох и тучная была пшеница летом сорок первого года! Четыре года назад я двигался к войне, которая двигалась ко мне сама. Ныне двигаюсь - вместе с мальчиками - навстречу войне, как бы стоящей на месте. Потом она придет в движение, и мы должны будем повернуть это движение вспять, прочь от наших границ. Мы - в том числе и я, и мальчики. Ах, мальчики, мальчики, знаете ли вы, что через три часа после отправления из Лиды эшелон бомбили и обстреливали "мессершмитты"? Они вылетели из-за облака, спикировали на паровоз, эшелон остановился, потом снова дернулся. "Мессеры" прошлись над составом на бреющем и раз, и другой, и трети. Мы ссыпались из теплушек, отбежали в пшеницу, залегли. Рвались бомбы и снаряды, стучали авиационные пушки и пулеметы, горели вагоны, горела пшеница. Знаете ли вы, что. когда улетели "мессеры", из лесу выползли фашистские танки, их гул затопил все ложбины, все ямки, куда мы попрятались?

У нас на троих была одна винтовка, трехлинейная, образца 1891/1930 года. Не знаете, мальчики? И хорошо, что не знаете. Это грустное начало истории, которая впоследствии бывала и повеселей и которая растянулась на четыре года. Я надеюсь, что ваша война начнется для вас и для меня по-шюму. Хотя на любой войне стреляют и. следовательно, убивают.

Лупа играла в прятки, показываясь то слева, то справа от эшелона. А когда я забрался на нары, она появилась в окопце и не уходила. Ее слабый, призрачный свет ложился на лицо, на руки, чудилось, что кожа осязает его холодность, мертвенность. Я укрылся с головой - старая фронтовая привычка, так можно быстро надышать тепла, угреться. Но сейчас этого не требовалось. Стало душно, я отбросил одеяло. Ворочался с боку на бок, сворачивался калачиком, выпрямлялся.

Вагон мало-помалу угомонился. Посапывали, подхрапывали, всех заглушал переливчатый, забористый, ямщицкий храп

старшины Колбаковского, он, ей-богу, шевелил волосы на моем затылке.

На нижних нарах жалобно, по-детски, постанывали во сне. За столом клевал носом дневальный - пацан пацаном, пухлогубый; в семнадцать лет спится здорово, в двадцать три с гаком - уже маешься. Снизу подпирали крутые, ядреные запахи спящих людей, махры, ружейного масла, портянок, обернутых для просушки вокруг голенищ. Букет моей бабушки!

Не спалось, по-видимому, оттого, что день прожит насыщенный, менявший дальнейшее житье-бытье. В самом деле: прошлой ночью спали в немецком городке, этой - спим в воинском эшелоне, который увозит нас за тридевять земель, в незнаемые места. Точно, места незнаемые, а вот что будем там делать - знаем. И это тоже, вероятно, отгоняло сон. А может, потому маялся, что рядом не было женщины, к чьему присутствию привык? Да ладно, что ж о них, о женщинах...

Наворочавшись, заснул, и сразу замельтешило: ординарец Драчев со своей фистулой "Тревога!", прощание с Эрной, походная колонна, посадка, генералы на перроне, Свиридов с аккордеоном, елки у полотна, сержант-самоходчик с завитым чубом, обожженные, будто сведенные судорогой, неподвижные черты нашего железного, без нервов, комбата, Вадик Нестеров: "Не отстанем от фронтовиков, не посрамим чести..." Затем закрутилось: переправа на Немане, разнесенный снарядом плотик, сносимый течением, зияющее жерло "пантеры" в засаде, голое поле, в центре которого неподобранный раненый: "Братцы, не бросайте", зарево над Борисовом, изломанный, взрытый бомбами березняк, мертвый солдат в изодранной осколками шинели, уставившийся незрячими глазами в небо, - безымянный рядовой войны, бегущий на меня немец, ощеренный, с автоматом у живота... А затем смешалось - послевоенное и военное, эта мешанина образов и картин то вертелась, как в хороводе, то замедляла свое верчение, иногда останавливалась на секунду, как фотокадр, - и вновь мельтешило.

Я очнулся оттого, что старшина тряс меня за плечо.

- Лейтенант, лейтенант! Ты что, очумел?

- А в чем дело? - спросил я, зевая во всю пасть.

- Он еще спрашивает! Лупит куда попадя... Очумел?

- Извини, - сказал я. - Сонный, это бывает...

- Извиняю, товарищ лейтенант. Но деретесь и лягаетесь вы ну все равно как бешеный. - Колбаковский смягчился, снова на "вы": - Я уж подумал: не сводит ли, часом, лейтенант счеты?

- С кем?

- Со мной. Мы ж с вами в бытность вашу взводным не шибко

дружили.

- Дружили не дружили, а счетов с тобой у меня нет, - сказал я. - Еще раз извиняюсь за сонное буйство.

- Да чего там, ничего, - сказал Колбаковскпй, тем не менее отодвигаясь так, что между нами поместился бы еще человек. - Спокойной ночи, товарищ лейтенант!

Пробудился я от выстрелов и крика: "Тревога! В ружье!"

Не тотчас сообразил, что это не во сне, а наяву. Рывком поднялся, подхватил с гвоздя гимнастерку. Солдаты одевались, спрыгивали на пол, натягивали сапоги, разбирали оружие из пирамиды. Дневальный суетился у нар, у стола: "Тревога! В ружье!" В стенку вагона снаружи дубасили и приглушенно кричали: "Тревога! Быстро выходи!" Эшелон стоял. На путях слышались неразборчивые крики и стрельба.

На воле было прохладно и сыро, может, поэтому меня одолевал озноб. Расстегнув кобуру пистолета, я приказал бойцам залечь в канаве неподалеку от эшелона. То же делали бойцы из остальных теплушек. Оставив за себя Колбаковского, я побежал к штабному вагону. Стрельба прекратилась, крики стали реже. Прочертила кровавый след и погасла сигнальная ракета. Кто кому дает сигнал, что вообще стряслось? И где мы - в Германии или в Литве?

У штабного вагона, где собрались командиры подразделений, выяснилось: бандиты разобрали рельсы, машинист вовремя затормозил, остановив состав метров за пятьдесят, - и тут мы были обстреляны из лесу. Ответным огнем часовых на тормозных площадках бандиты были рассеяны, потерь у нас нет, путь будет отремонтирован. Комбат приказал объявить отбой тревоги.

Но мы еще проканителились часа полтора, прежде чем поехали.

И часа полтора обсуждали происшествие. Поскольку мы уже пересекали литовскую территорию, сошлись на том, что эшелон обстрелян "лесными братьями", местными националистами. Нашлись такие, кто был здесь недавно, и подтвердили: националисты бандитствуют, нападают на партийных и советских работников, на небольшие группы наших солдат, по ночам устраивают диверсии на дорогах. Толя Кулагин рассказал, что и в Западной Украине националисты не утихомирились: гитлеровцы драпанули, а бандеровцы остались, лютовали, Советской Армии приходилось сражаться с ними, головорезами.

- А все одно им будет капут, - сказал Головастиков. - Как их хозяевам...

На том и порешили и отошли ко сну - споро, как по команде.

После происшествия и я уснул, как в омут канул. Хотя

сновидения не оставили меня в покое.

10

Я проснулся с сознанием: стоим. В раскрытую настежь дверь врывались солнце, ветер, голоса. В теплушке никого не было. Один я валялся, засоня. Сунул ноги в бриджи, в сапоги - и вниз в маечке, с всклокоченной шевелюрой. Спрыгнул на гравий, и сразу же, словно мгновенные токи матушки-земли, вошла в меня радость, от ступней хлынула в голову. У вагона простодушно, ласково улыбался дневальный:

- Доброе утро, товарищ лейтенант.

- Утро доброе, - ответил я, улыбаясь.

Поигрывая голыми плечами, баловался зарядкой, поглядывал.

Было раннее утро, солнышко алело над головным вагоном - паровоз отцеплен, меняется поездная бригада, - трава, ветки, рельсы в росе; на станции несколько эшелонов - и нашего полка, и чужие; мои ребята плескались у водогрейки и у теплушки: оголенные по пояс, одни поливали другим из котелка, те намыливались, фыркали, требовали: лей, не жалей! Подскочил Драчев - с полотенцем, мыльницей, зубной щеткой:

- Товарищ лейтенант, дозвольте туалет?

- Дозволяю, Миша.

Драчев расплылся: Мишей я его кличу не часто. А мне хотелось сказать ординарцу еще что-нибудь доброе, приветное. Не нашелся, проговорил:

- Побриться бы, Миша.

- Организуем, товарищ лейтенант!

- Как спалось?

- Лучше всех, товарищ лейтенант! Солдатский сон сладкий.

Ровно бабонька в соку.

В последнее время Драчев стал заливать о женщинах - назойливо, игриво, мне это не нравится, но я ему ничего не говорю.

- А вы как спочивали?

- На четыре с плюсом, - ответил я, понимая, что и настроение потому отличное, что выспался, голова ясная и легкая, что мои мышцы бугрятся, что мне всего-навсего двадцать три, что я на польской земле и на меня посматривают польские красавицы.

Да, все-таки свернули на Польшу. Их было вдоволь, полячек, - на пристанционном базарчике, подле теплушек и платформ. В сарафанах и ситцевых платьицах, с лентами в волосах, большеглазые, голосистые, прыткие, они продавали и выменивали съестное на трофейные вещи, а то и просто любезничали с солдатами, иногда рискованно. Русская и польская

речь, восклицания, смех, визг.

Нет, что ни говори, паненки народ отчаянный. Они поглядывают на меня, я - на них. Однако в разговор не вступаю. Зато мои солдатики упиваются. Драчев и тот ухитряется, поливая мне на руки, задевать проходящих полек.

- Драчев, пожалуйста, лей как следует.

- Виноват, товарищ лейтенант!.. Ух ты, лапушка, кохана, поедем с нами! Боишься, рыбочка? А ты не боись, не съедим...

Он льет мимо моих рук. Но я молчу, только вздыхаю притворно. Да улыбаюсь - сам себе. Паненки - прелесть, и солдатиков не удержать. Ну и пусть порезвятся - до удара станционного колокола, до паровозного свистка. У меня безоблачно на душе, радостно, и я не сомневаюсь: сегодняшний мой день будет состоять из удач.

Ефрейтор Свиридов, собрав толпу, рвет мехи аккордеона, безбожно фальшивит и не конфузится, бойко наигрывает про знойную Аргентину. Спасибо, хоть не поет. Но я ошибся. Кончив про Аргентину, Свиридов заводит новое танго, которое мы не слыхивали:

Мой милый друг, к чему все объясненья?

Ведь понял я: не любишь больше, нет...

Полячки окружают великого исполнителя, благодарные, растроганные, размагниченные, он купается в этих чувствах, от удовольствия жмурится. Мне смешно, однако я не подаю вида. Артисту нужны слушатели, а слушателям артист. Пускай он ублажит польских красавиц, не одним нам наслаждаться!

Замечаю, что полячка - девчушка, лет шестнадцать, застиранная кофта и юбка из немецкой плащ-палатки, - рассматривает не мое лицо, а грудь. Прослеживаю за ее взглядом и непроизвольно прикрываю розовато-синий шрам. Смущаюсь? Долбануло осколком здорово, ключицу перебило, боевая рана гордиться нужно, не смущаться. И я отвожу ладонь.

Это мое первое ранение, бой - седьмой по счету. В июле сорок первого. Немного восточнее Лиды. А первый бой был ненамного западнее Лиды, когда "мессеры" разбомбили эшелон и танки с белыми крестами на черных бортах выползли из лесу. Я подло, первобытно трусил. Тапки прошли дальше, большаком, а к нам, приминая стебли пшеницы, побежали автоматчики, батальонный комиссар взмахнул наганом: "За мной, врукопашную!" Я увидел немцев и со страху кинулся на ближайшего, ударил его штыком - из трех человек винтовкой владел в тот момент я. В этом рукопашном бою и сгинул мой дремучий, мохнатый страх. Потом если и боялся, то уже не так. Разумиете, пани?

Я улыбнулся, побрился, обтерся смоченной в одеколоне

ваткой.

Надел гимнастерку с орденами и медалями, фуражку - не пилотку! Любуйтесь, пани! Но полюбоваться досыта моими наградами милые полячки не смогли - подцепленный паровоз загудел к отправлению, зашипели тормоза. Старшина Колбаковский еле управился затащить в теплушку термосы с завтраком. Солдаты поспешно лезли на лесенку. Последним, козырнув женщинам молодецки, на ходу сел я. Полячки махали нам платками, поляки - шляпами, мы им пилотргами, а комсостав, как я, - фуражками.

Не зря я таскал в вещмешке по боям да госпиталям фуражечку с лакированным козыречком. Сгодилась, разлюбезная.

Повесил фуражку на гвоздь, уселся за стол. Место у меня пайпочетное, во главе стола, - так сиживал в Германии на офицерских обедах командир полка. Котелки расставлены, ложки извлечены из вещевых мешков, из нагрудных карманов, из-за голенищ. Каспийский рыбак Логачеев, медвежеватый, рябой, с приплюснутой, будто вдавленной, переносицей, отвинтил крышку термоса, подал половник Колбаковскому:

- Товарищ старшина, вам разводящий...

Колбаковский ни с того ни с сего пабычился, обрезал Логачеева:

- Кто я, мальчик на побегушках? Умники, старшина обязан им раскладывать по порциям! Заелись, разленились, разболтались... Раскладывай. Логачеев!

Каспийский рыбак с недоумением оглянулся, будто ища поддержки, цокнул и подтянул рукава гимнастерки:

- Оправдаем доверие...

На фронте, до Германии, дележка супа, каши, хлеба, табака, сахара была священнодействием, которое доверялось не встречному-поперечному, а лишь безукоризненно честному, проверенному; находились желающие, ловкачи всякие, да не выгорало у них. Теперь же никто не желает браться за дележку: жизнь посытней, повольготней, как заявил старшина, заелись. Старшина не в духе, это явно.

Логачеев раскладывал кашу-размазню небрежно, на глазок, на загорелых мускулистых руках татуировка: звездочки, якоря, спасательные круги, русалки; да он весь в наколках - на плечах, спине, груди и, простите, на заднице. Лично зрел в бане: на ягодицах у Логачеева наколото - кошка гонится за мышкой, мышка ныряет куда положено; когда Логачеев передвигался, ягодицы ходили туда-сюда, иллюзион: кошка бежит, мышка ныряет. Я его спросил:

"Ты не блатной?" - "Никак нет, на спор наколол, учудил". - "Да

уж, учудил. Как жене показываешься?" - "Привыкла. А вот ежели баба посторонняя..." Кроме татуировок на Логачееве было полно бело-розовых и синеватых шрамов. Впрочем, на любом фронтовике узришь в бане эти рубцы отметины войны. И на моем бренном теле их хватает.

Солдаты разобрали котелки и пайки хлеба. Я зачерпнул ложкой перловки, проглотил - суха, дерет, повар поскаредничал с маслом. Миша Драчев сказал со значением:

- Приятного аппетита, товарищ лейтенант!

- А тебе волчьего, - ответил я и вспомнил, как сострил на офицерском обеде и как досталось мне на орехи от начальника штаба за ту невинную остроту.

А значение в свои слова ординарец, надо полагать, вкладывал такое: "Отказались от выпивона, а сухая ложка горло скребет, известно". Точно: когда Миша предлагал отведать раздобытой на остановке польской водки, я сказал:

- Спасибо, не буду. И тебе не советую.

- Да втихаря, товарищ лейтенант.

- С этим в принципе кончать надо.

Драчев похлопал ресницами, запрятал флягу в вещмешок, в величайшей задумчивости перевязал мешочную горловину. Задумчивость эту можно было расценить так: что с лейтенантом, в здравом ли уме и памяти? Едва не рассмеявшись, я сел за стол.

Отзавтракав, затабачили - дыму невпроворот, топор вешай.

Вовсю откатили дверь, и тут струей затащило в теплушку шального воробья. Сперва не разобрали, что это воробей, - что-то серенькое, копошащееся, чирикающее. Незваный гость бил крылышками под потолком, кидался грудью на стенку. Свиридов накрыл его пилоткой, взял в руки.

- Разбойник! Безбилетником едешь?

- А мы что, с билетами? - сказал Кулагин глубокомысленно. - Осторожней лапай, раздавишь птаху...

- Мы едем за счет государства, - сказал сержант Симоненко. - А с птицей надо уметь обращаться. Дай-ка сюда воробьишку.

Воробей вызвал бурное оживление. Все хотели посмотреть на птичку, потрогать ее, погладить. Кулагин сказал:

- Залапаете, робя.

Сержант Симоненко отвел тянувшиеся руки.

- Воробьишком командую я. Не замайте. Нехай успокоит нервы, как сердечко-то прыгает... После накормим...

Ему подчинились. Симоненко покормил воробья хлебными крошками, перловкой, напоил из блюдечка и сказал:

- Теперь гуляй до хаты. Согласен? Правильное твое решение, товарищ горобец!

Он подошел к двери и на повороте, где сбрасывалась скорость, разжал пальцы - воробей чирикнул и упорхнул.

Визит польского воробья, неотличимого от немецкого и русского, обсуждали с такой же обстоятельностью, как и стати полячек, ночное нападение на эшелон и будущую войну, к которой мы доберемся через всю Советскую страну. Я вслушивался в беседы и пе мог уловить, что же главное в них, - на поверку все темы важны для солдат. И я внутренне улыбался этому своему выводу.

В оконце - плавные линии пологих холмов, речушек, озер.

Поля, поля. Пшеница, овес, свекла, картошка, горох. Полосы, полоски, полосочки. Ну и чересполосица, единоличное хозяйствование! Сахарный заводик и мельница у реки, деревня со стареньким костелом, с приземистыми домишками под соломой и камышом - все целое, гнали немцев классно, в день по сорок километров, не давая закрепиться. В деревне на крышах, на колесах, венчающих столбы, - большие круглые гнезда из прутьев, в гнездах черно-белые голенастые аисты. Те самые, что приносят детей.

Ребенком я спросил у мамы, откуда берутся дети, и она ответила:

аисты приносят в клюве. А какие они, аисты? Ни в Москве, ни в Подмосковье этих птиц не было. Воробьи были. Сколько хочешь. Так для меня и осталось невыясненным, откуда же берутся дети.

Сегодня о войне рассуждали солиднее, без крайностей, - воевать, мол, надо, значит, и будем воевать не абы как. Только старшина Колбаковский непреклонен:

- Пропади они пропадом, войны! На той уберегся, на этой срубят кочан. Чую: кочанов там нарубают!

Парторг Симоненко принялся объяснять Колбаковскому разницу между войной захватнической и войной освободительной. Старшина взбеленился:

- Я политически грамотный! Ученого учить - портить!.. А кочан свой терять - увольте, у меня он в единственном числе!

Настала пора вмешаться, и я сказал:

- Старшина, что за пессимизм? Хвост пистолетом!

Солдаты засмеялись. Колбаковский надулся и - как в рот воды набрал. Что и требовалось доказать. Потому лучше молчать, чем сеять смуту. Старшина человек в роте влиятельный, и, если гнет не ту дугу, скверно. Дались ему эти капустные сравнения.

Срубят кочан, то есть голову... Не исключено, конечно. И по-человечески Колбаковского понять можно. Но нужно и другое понимать: командир далеко не всегда вправе обнажать свое сокровенное перед подчиненными, кое-что и упрятать поглубже

не мешает.

Все в тех же интересах службы.

Я мог бы оборвать Колбаковского. Но, во-первых, кругом были солдаты и, во-вторых, у меня было отличное настроение, и поэтому я облек замечание в мягкую, шутливую форму. А результат получился тот же! Одним словом, педагогика. Доморощенная, армейская, но - педагогика. Жаль, что порой забываю об этой науке и сгоряча ломаю дровишки.

Солдаты собеседуют, полеживая на нарах в вольных позах, узбек Рахматуллаев шутит: "Аи, как на курорте!" Действительно курорт. Этак, при безделье, начнем толстеть, набирать килограммы. В Ростове-на-Дону говорят: "Отчего казак гладок? Поел - да на бок". Правильно говорят в Ростове.

За сутки солдаты обжили вагон, как дом родной, и всем им удобно, привольно. О, в этом они мастаки! Основательный, в четыре наката, немецкий блиндаж, наша легкомысленная, на соплях, землянка, шалашик из еловых ветвей, натянутая на колышках плащ-палатка - все обживалось моментально, надежно и прочно.

Да что там! Куча лапника под открытым небом, на одну полу шинели лег, вторую на себя, стрелковая ячейка или окопчик - разложил гранаты, свернул цигарку, и уже порядок. И что характерно - все это осваивалось, обживалось так, точно солдату предстояло жить здесь тысячу лет. Наверное, эта домовитость крепко пособила нам выстоять.

Ребята перекидываются словесами, табачат, травят анекдоты, кто-то насвистывает, кто-то уже дает храповицкого, Головастиков, небрптый, непричесанный, скрестив по-турецки ноги, поет: "Хороша я, хороша, да бедно я одета... Никто замуж не берет девицу за это". На скуластом, заросшем щетиной лице неподдельная скорбь, будто он и есть девица, которую не берут замуж. Еще певун вылупился - это не беда, а вот что в щетине - непорядок.

Вообще Головастиков не любит бриться, и мы со старшиной ведем против него борьбу на этом фронте. И сейчас я говорю:

- Товарищ Головастиков, почему не побрились на остановке?

- Не уложился в регламент... Да и на кой бриться, ежели сызнова обрастешь?

Головастиков не шибко образован, но иногда вкрапляет в свою речь заковыристые словечки вроде "регламента". Я говорю:

- Отставить пререкания. На следующей остановке побриться.

Говорю мягко, без командирской повелительности. Вероятно, поэтому Головастиков отвечает с небрежением, с ленцой:

- Есть побриться, товарищ лейтенант...

Старшина сверху рявкает:

- Доберусь я до тебя, Головастиков!

Это так неожиданно, что на секунду воцаряется молчание, а затем все смеются. Помешкав, смеется и Колбаковский. Но и сквозь смех добавляет:

- Воин-победитель, а внешний вид - тьфу! Ужо доберусь до тебя, Головастиков!

На остановке Головастиков извлекает из латаного-перелатапого вещмешка помазок, мыло, опасную бритву, а я бегу к штабному вагону узнать насчет занятий. Узнаю: политзанятий по японцам нынче не будет, не готов материал, начнутся завтра или послезавтра, пока же организуйте текущую политинформацию, читку газет, занятия по уставам, по матчасти оружия. Здесь же Трушин вручает мне пачку газет, и мы вместе с ним топаем к своим вагонам. По топу, каким мне сказали о занятиях по уставам и матчасти, понятно: для проформы, чтобы заполнить время. Прикидываю в уме, что выбрать для чтения из уставов, - о дисциплине, об обязанностях дневального, часового и что-нибудь еще, что нужно в дороге. Уж если занятия проводить, так без дураков. Или вовсе не проводить.

Состав трогается, останавливается, снова трогается, ползет почерепашьи. Босоногая ребятня на косогоре прощально машет картузами и косынками, и дневальный у кругляка помахивает им пилоткой. Косогор усеян мальвой, дикой гвоздикой, колокольчиками.

По проселку пылит ребристая повозка с одиой оглоблей, и лошадь одна, второй нету, некомплект. Возница, усатый, в домотканой рубашке, нахлестывает лошадку кнутом. Сержант Симонепко с неодобрением замечает:

- Не бережет поляк тягло.

Наконец паровоз расходится, теплушку раскачивает. Сержант Симонепко оповещает:

- Приступаем к политической информации!

Шелестя страницами "Правды", парторг читает, по-украински смягчая букву "г", сообщения газетных корреспондентов и ТАСС - это и есть политинформация. Заметки разные: о полевых работах, восстановлении шахты, задувке домны, строительстве завода, - они восхваляют бывших фронтовиков, ставших замечательными тружениками, и не заикаются о близкой войне. Ну, ясней ясного: военная тайна, и страна не ведает ничего, живет мирным трудом. Это здорово - мирный труд! Люди сеют хлеб, варят сталь, возводят дома. Люди любят своих близких, воспитывают детишек, и никто не стреляет это немыслимо прекрасная мирная жизнь!

Живи спокойно, моя страна, набирайся новых сил, мой

парод...

- Вопросы имеются, товарищи?

- Имеются! Товарищ сержант, треба разжуваты: живой Гитлер чи сдох? Брешут всяко...

Симоиеико рассказывает, что Гитлер со своей любовницей Евой Браун отравился, их полусожженные трупы нашли в бункере имперской канцелярии, но якобы - по сообщениям западной прессы - объявился где-то двойник Гитлера. Кто из них настоящий?

Тот, который врезал дуба.

- Товарищ парторг, а верно, что Рузвельта тайно прикончили сами американцы, которые фашизму сочувствовали?

Этот вопрос, заданный Вадиком Нестеровым, и вовсе не по теме политинформации, однако Симоненко отвечает и на него.

В том смысле, что Рузвельт скончался от болезни, от старости, так сказать естественным образом.

Луч солнца проскакивает в дверь, отражается от большого овального зеркала, присобаченного на стояке, - заботы старшины Колбаковского, чтобы бойцы могли осмотреть себя, свой "внешний вид", да и для бритья удобнее, зайчиками дробится по стенке.

Ловлю себя на стремлении поохотиться на них и улыбаюсь: пацан во мне еще не умер. Несмотря на то что его насильственно умертвляли - до срока. Живуч!

Дав передохнуть, покурить и побалагурить, объявляю о занятиях по изучению уставов. Мальчики встречают это с готовностью, ветераны - без малейшего намека на псе. В теплушку заносит то ли сладковатый, то ли горьковатый запах разнотравья. Поваляться на травке в охотку. Да и на раструшенном по нарам сенце - сойдет. Но я заставляю солдат сесть, и они сидят - за столом и на нарах.

Раздельно, прямо-таки чеканя, читаю по красным, в матерчатом переплете книжицам. В вагоне тихо, под полом отчетливо, чугунпо выстукивают колеса. И храп, раздавшийся в закуточке, отчетлив. Я прерываю чтение.

- Это кто там почивает? Покажись, покажись! Логачеев?

А ну-ка, товарищ Логачеев, повторите нам обязанности дневального по роте.

Каспийский рыбак трет кулаком скулы, подбородок, мямлит невнятное.

- Смелей, смелей, товарищ Логачеев! Расскажите нам, а мы послушаем.

Солдаты прыскают, прячась за спинами соседей. И мне смешно, по я с напускной строгостью говорю:

- Не стесняйтесь. Пожалуйста, пожалуйста.

- Дык, товарищ лейтенант... - произносит Логачеев и умолкает.

- Товарищ Нестеров, повторите вы.

Вадик отчеканивает про обязанности дневального по роте не хуже, чем я. Смущенный, взволнованный, ест меня глазами.

- Молодец, Нестеров! А вы, Логачеев... - Мне становится его жалко. Товарищ Логачеев, будьте внимательны на занятиях...

Пошли дальше!

Читаю и зорко слежу, чтоб не кемарили, то есть не дрыхли. Как у кого глаза сонливо помутнеют, я прошу его повторить прочитанное. Это действует, солдаты стараются запомнить то, что им читается. Не обходится без курьезов. Кулагин порывается подсказывать, а когда его вызываю, молчит: забыл. Если вызываю сидящих за столом и на нижних нарах, они встают, те, что на верхних нарах, остаются сидеть. Но вот выкликаю Свиридова, и он вскакивает, стукается затылком об потолок. Называю фамилию Головастикова, а встают и он, и Рахматуллаев: оказывается, узбек перепутал, померещилось, что его вызвали, неужто фамилии схожи? И опять смешки, смешки. Настроение у солдат, как и у меня, легкое, ребячливое. Но делу время, потехе час, и я веду занятия до обеда.

Обед. Перекур. И - занятия по изучению материальной части стрелкового оружия. Тут потруднее. Новички еще туда-сюда, не сачкуют, а с фронтовиками беда: спят сидя и с открытыми глазами! Да и то: обед сытный, располагающий к отдохновению, а тактико-технические данные автомата, его устройство, взаимодействие частей они знают не понаслышке, в бою опробовано. Поэтому, когда я, прочитав по наставлению и показав части, спрашиваю кого-нибудь из ветеранов, блестящий ответ обеспечен. Нужно лишь, чтобы ветеран встрепенулся и смикитил, что от него требуется. Короче - разобрать и собрать ППШ им раз плюнуть. Но давать блестящие ответы фронтовикам скучно, потому что все эти матчасти учены и переучены. Мне самому становится скучновато, однако, напирая на новичков, занятия довожу до конца.

Как бы то ни было, а с учебой день прошел незаметней. Тороплю время? Да, иногда хочется, чтоб оно бежало резвей, иногда же задумаешься: не терпится снова услыхать, как стреляют боевыми патронами и снарядами? Вообще я устроен так, что как бы рвусь в будущее: сегодня это, а что завтра? Что послезавтра? Скорей бы дожить до послезавтра! Наверное, к старости пожалею о том, что поторапливал время. А будет ли она, старость? То есть доживу ли до нее? Тем более не резонно

подгонять время. А вот подгоняю.

Закат багровый, к ветру. Ветры сопутствуют эшелону в Германии, Литве, Польше. Будут они и в России. Но закаты в России не должны быть такие багровые, они будут помягче, поспокойней.

Пусть и ветер будет потише. А разнотравье бередит душу. Валки скошенной травы, вянущей под солнцем, пахнут медовыми пряниками. Городской житель, я пью этот деревенский запах взахлёб, как запах детства. Пора сенокоса. Косу я не держал в жизни ни разу. Лишь видел: сверкало лезвие косы - и скошенная трава волнистыми рядами ложилась у ног косца. Лишь слышал: вжик, вжик - и весь мир наполнялся этим звуком.

Внутренность теплушки словно горит от зоревого света. При нем читать плохо, но солдаты лежат и сидят с газетами. Сколько ни проводи политинформаций и бесед, а каждый норовит сам прочесть газету, подумать над прочитанным, переварить самостоятельно. И я так же. Но в эти минуты не читается. Я смотрю то в оконце, то - наискось - в приоткрытую дверь.

Скоро Белоруссия, а там и собственно Россия, смоленская сторонка. Пока же - польская чересполосица, польские леса, польские деревни с ухоженными кладбищами на отшибе; есть деревни целые, есть сожженные. Сожженные - это если был бой или если немецкие факельщики подожгли при отступлении. Целые - это если гитлеровцы драпали без оглядки, боясь окружения: после Сталинграда "котлы" страшили их.

Среди таких же вот сгоревших и та, которая называлась Пыльный Островчик. Островчик - плешь, безлесный пятачок в сосняке.

Пыльный - почва супесчаная, пыльная. Полили Островчикову пыль русской кровушкой, полили. На карте возле деревни не значилось шоссейной дороги, на местности была, - по-видимому, ее проложили недавно. Немецкие самоходки оседлали это шоссе у Пыльного Островчика и не давали полку продвинуться. Три приданные тридцатьчетверки сунулись, "фердинанды" их подожгли. Приказ из полка: обойти деревню, атаковать с флангов. Двинули в обход, сосняком: наш батальон слева, второй справа, третий предпринимал фронтальные атаки ложные, чтобы отвлечь противника. Но обдурить немцев не просто. Тем паче что стало неким шаблоном:

демонстрация атаки по фронту, основной же удар по флангам.

Немцы и под Пыльным Островчиком раскусили этот маневр. Перед третьим батальоном они оставили роту и два "фердинанда", остальных автоматчиков и самоходки перетащили

на фланги и в тыл. И потому обход у нас не вытанцовывался. Но снова и снова повторяли этот маневр. Артиллеристы вступили в дуэль с "фердинандами" - без особого успеха, ибо самоходки маневрировали по шоссе, увертывались, заходили в лес, били из засад. И опять тот же маневр... Командиром полка был рыжеватый, рябой майор, властный, горячий, сумасбродный грузин. Он носился на белом жеребце из батальона в батальон, кричал, требовал, размахивал пистолетом, сулил трибунал, подымал за собой цепь в атаку. А проку не было. На "эмке" приехал разгневанный комдив, по телефону позвонил еще более разгневанный командарм. Майора отстранили от должности, и, едва командир дивизии отбыл с НП, там разорвался снаряд самоходного орудия и разжалованный майор был убит наповал. Командование принял офицер оперативного отделения дивизионного штаба, наш нынешний комполка. А на окраине Пыльного Островчика, которым мы все-таки овладели к исходу дня, вырыли поместительную братскую могилу. Отдельно, на взгорке, похоронили майора-грузина...

Да, честно признаюсь: я устал от войны. Даже от воспоминаний о ней устал. Потому что война штука тяжелая и кровавая.

Впрочем, не совсем так. О войне можно вспоминать по-разному:

на ней были и свои радости, какие-то светлые, возвышенные минуты. Ну, например, как нас встречали поляки. Это незабываемо!

Так вот: отчего бы не вспоминать о приятном, о радостном? День у меня нынче удачный, настроение отличное, зачем же отравлять его? Я буду вспоминать о радостном. Как нас встречали поляки?

Бардзо добже! Очень хорошо! Все население выходило на дороги, к непременным статуям святой девы Марии. Улыбки, слова благодарности, цветы, угощения - для освободителей. Проклятья - ушедшим немцам. Понятно: Гитлер намордовал поляков. Правда, были и немецкие пособники, они косились, и польские власти их подчищали. Были и такие - приходу нашему рады и в то же время настороженны: "У нас Советы будут? Колхозы?" - боялись колхозов. Мы отвечали: наша миссия - освободить Польшу от фашизма, что у вас будет, сами решите, в ваши внутренние проблемы не вмешиваемся, и насчет колхозов сами решайте. Ну, а в целом народ встречал нас открыто, любовно, по-братски. Полячки вертелись вокруг наших офицериков. А те - откуда что взялось - вмиг научились любезничать по-польски: "Целую ручки". Держи марку, воин-

освободитель! Ругаться и то стали пятью этажами ниже, попольски: "До холеры ясной". Не ругательство, а лепет. Но опять же марка. Впрочем, мы находили общий язык - и с полячками, и с поляками. Теплота была необычайная.

Сейчас этой теплоты поубавилось, вернее - она потеряла свою первоначальность, что ли. По-моему, естественно. Не может же радость (как и скорбь) гореть одним и тем же накалом, время изменяет степень накала. Сути не изменит, потому что поляки навечно сохранят в памяти дни освобождения своей родины. А мы никогда не забудем, как пробивались к Польше, как несли ей свободу.

Все это высокие понятия, а попроще: сегодняшняя сцена. На стихийно возникшем подле эшелона рыночке пан торгуется с нашим солдатом, выменивая сало на трофейный фонарик. Солдат просит кус побольше, пан предлагает поменьше, солдат чешет затылок, крякает - давай, где наше не пропадало, отдает фонарик, но пан вдруг сует ему большой кусок: "Вшистко едно" - "Все равно". Солдат в свою очередь добавляет к фонарику немецкий перочинный нож. Словом, широта и благородство двух договаривающихся сторон!

И еще радостное воспоминание о Польше: здесь, на стыке с Белоруссией, едва-едва перешли границу, начальник политотдела дивизии вручил мне партбилет. На марше, на большом привале.

Наконец-то переведен из кандидатов в члены партии! Никак не получалось: только соберу рекомендации, начну оформлять - бац, ранен, эвакуируют, все накрывается. Пожимая мне руку и поздравляя со вступлением в члены Коммунистической партии, полковник сказал: "Этой чести вы, товарищ Глушков, удостоены за то, что преданы Родине, бесстрашно сражаетесь за нее. Сейчас это определяющее. Другие же качества большевика вам еще предстоит в полном объеме воспитать в себе. Вы меня поняли?" Да, я понял полковника. Я далек от идеала коммуниста. Но шел к нему и иду.

Иногда оступаясь. Из-за молодой резвости и дури.

А в кандидаты ВКП(б) я вступал под Ржевом. Был лютый морозище, в заиндевевшем, заснеженном бору постреливали деревья. Принимая от секретаря парткомиссии кандидатскую карточку, я знал, что завтра здесь будут стрелять не одни деревья...

Когда командир полка вручил мне медаль "За отвагу", я радовался так, как не радовался ни одной из последующих наград, включая ордена. Медаль носил, выпятив грудь, ночью, просыпаясь, гладил серебряный кружок, будто хотел удостовериться, что медаль при мне.

* * *

День складывался определенно удачный. Не покидала приподнятость. А тут еще комбат похвалил. На остановке, где получали ужин, он забрался в нашу теплушку, морщась от боли. Походил, опираясь на палочку, по вагону, поворошил сено на нарах, заглянул под нижние нары, взял из пирамиды автомат, проверил, чист ли канал ствола, и остался доволен:

- Молодцы, поддерживаете порядок. И - чтоб ни одного отставшего!

- Будем стараться, товарищ капитан.

- Старайся, Глушков! - Комбат улыбнулся, по стянувшие лицо рубцы были неподвижны, об улыбке можно было догадаться лишь по подобревшим глазам.

Стоянка была долгая-предолгая. Мы поужинали, вымыли посуду, кто улегся отдыхать, кто вылез побродить. Я прогуливался у вагонов с Трушиным, беседовал на отвлеченную тему - о роли личности в истории. Вот - Трушин: сам же поругивал меня за философствование, а тут затеял собеседование, умствует. И тут я увидел Головастикова. Солдат шел от толкучки, от базарчика, кренясь из стороны в сторону. Еще до того, как стали видны его красное, распаренное лицо, выпученные, словно побелевшие глаза и бессмысленная улыбка на толстых обветренных губах, я уразумел: пьян. Мы быстро переглянулись с Трушиным. Он проворчал:

- Вот тебе личность, с которой можно влипнуть в историю.

Пошатываясь, Головастиков приблизился к нам, приложил пятерню к голове, на которой не было пилотки, икнул и сказал:

- Здравия желаю, товарищи офицеры.

Я глядел на солдата, готовый съесть его с потрохами. Трушин смотрел на меня, Головастиков - на него: наши взгляды бежали как бы по кругу, один вслед другому. Негодуя, я решал, что же предпринять с Головастиковым: водворить его в теплушку или немедленно отвести на гауптвахту в хвосте поезда? Трушин сказал:

- Единоначальник, прояви железную волю и твердый характер!

Возможно, я бы проявил эти завидные качества, если б пе прицепили паровоз. Проканителишься с этой гауптвахтой - отстанешь от эшелона, чего доброго. Отрывисто, по-командирски, я приказал:

- Головастиков, марш в вагон!

- Ну, пжаласта... Я что?

Он опять козырнул, едва не упав, повернулся, по-уставному, через левое плечо, и начал хвататься за лесенку. Трушнн

укоризненно пожевал губами и направился к своей теплушке, а я подтолкнул Головастикова не весьма вежливо:

- Живо залезай!

- Ну, пжаласта... Я что?.. Ик...

В вагоне Головастиков плюхнулся на скамейку, таращился, идиотски улыбался. Я подошел к нему вплотную и крикнул:

- Вста-ать!

Солдат попробовал приподняться. Теплушку дернуло, и он упал на скамью. Кто-то прыснул, но это, может быть, и в действительности смешное падение окончательно взбесило меня:

- Вста-ать, говорю!

- Пжаласта... Товарищ лейтенант... Я ничего... С этой войной всю пьянку запустил.

Я схватил его за шиворот и поставил на ноги. Процедил:

- Как же тебе не стыдно, Головастиков? Где же твоя совесть?

Головастиков покачнулся, икнул и сказал зло, яростно:

- Ты что меня сволочишь, лейтенант? На твои пью? А ежели душа горит? Ты что лезешь?

Еще минута, и я потеряю самообладание и случится непоправимое - ударю Головастикова. А он шагнул ко мне.

- Не сволочи, лейтенант! Не то схлопочешь!

И замахнулся. Я поймал его за руку, оттолкнул, приказал:

- Свиридов и Логачеев, связать его!

Свиридов и Логачеев - первые попавшиеся на глаза.

Они без всякого рвения, вразвалку, подошли к Головастикову, встали по бокам, занялись уговорами:

- Ты что, Филипп? Спятил? Не буянь! Ну, выппл маленько, с кем не бывает... Так ложись, проспись...

- Убью всех, зарежу! - заорал Головастиков и рванулся, но Логачеев со Свиридовым насели на него, скрутили, связали руки за спиной ремнем.

- Положите его на пары, - сказал я.

Головастиков извивался, пытался вскочить, сучил сапогами, страшно ругался.

- Свяжите ему ноги.

Однако и после этого Головастиков не успокоился. Бился головой о нары, пускал слюну, хрипел:

- Стервы, суки... Всех убью, зарежу... И Фроську убью, зарежу... Сука, гуляет... Зарежу...

- Засуньте ему кляп, - сказал я, и только после этого Головастиков утихомирился.

11

Вот так удачный день! Шло как по маслу, а закончилось препаскудно. Дрожь не унимается, во рту сохнет. И поташнивает

от всего того, что приключилось. И ощущение: нечто липучее, постыдное, как сыпь от дурной болезни, оставило на мне след то, что сделал Головастиков, и то, что сделал я. Пакость, мерзость, гадость!

Похвалил комбат - за порядок. Да-а, порядочек в роте. И все из-за водки. Пропади она пропадом, кровь сатаны, как называют ее католики. Чепе! Солдат напился, замахнулся на меня, офицера.

И я хватал его за шиворот, чуть не ударил, приказывал вязать, засовывать кляп. Противно. А ведь и сам господин офицер изволили выпивать, больше того - перекладывать, выделывать фокусы.

Так имею ли моральное право вершить скорый суд? Имею не имею, а приходится вершить. Если не моральное, то должностное право есть. А одно без другого много ли стоит?

Самое для меня тягостное в этом происшествии, - не будем именовать его чрезвычайным, спокойнее, спокойнее, лейтенант Глушков, - я вновь уловил какую-то разобщенность между нами.

Текучее, без цвета, вкуса и запаха, проскальзывает, обособляя, отчуждая каждого от всех и всех от каждого. Или это плод богатого воображения? Нет, воображение здесь ни при чем. За себя ручаюсь: я это улавливаю. В том, что солдат замахнулся на офицера, - на фронте такое было немыслимо. В том, что офицер едва не ударил солдата, - прежде такое тоже не представлялось мне возможным. В том, что Логачеев и Свиридов выполняли мое приказание связать Головастикова неохотно, как по принудиловке, - этих ребят я знавал другими, ловившими мои команды на лету. Меняются люди, меняюсь и я.

Бессонница наваливалась, как сон, - намертво пеленая, стягивая путы. Но когда наваливается сои, ты засыпаешь, будто тонешь в омуте, а при бессоннице взвинчиваешься, бодреешь, чувствуешь, будто все время всплываешь на поверхность.

Я маялся, ворочался, отстраняясь от месяца и от станционных фонарей, возникавших в окошке. На станциях под вагоном бубнили осмотрщики, хрустел гравий под сапогами, раздавалась нерусская речь, при движении теплушка скрипела, охала, жаловалась.

На свою судьбу жаловался и Головастиков, когда я приказал развязать его, вытащить кляп. Солдат плакал пьяными горючими слезами, укорял беспутную жену Фросю, что крутила подолом в тылу, пока он воевал на фронте, шмурыгал носом и наконец уснул.

Заснули и остальные, пообсуждав происшествие. Я не прислушивался к тому, что они говорили. Старшина Колбаковский придвинулся ко мне, сказал в ухо:

- Не расстраивайтесь, товарищ лейтенант! Это он спьяну, сдуру. Проспится - жалеть будет, извиняться...

- Спите, старшина, - сказал я. - Спокойной ночи.

- Спокойной ночи, товарищ лейтенант. Не переживайте! Завтра мы устроим продир Головастпкову, не возрадуется, бисов сын...

Он отодвинулся, лег на бок и мгновенно храпапул. А я лежал с открытыми глазами и терзался бессонницей и мыслями. Мне было плохо, очень плохо. Так меня, пожалуй, еще никогда не обижалп. Да и себя я так никогда не обижал. Сознание этой двойной, растравляемой мною обиды прожигало, как раскаленная проволока фанерку. В детстве баловался этим. Выжигал цветы, зверей, птиц.

Мама восхищалась, в школе одобряли, показывали на районной выставке самодеятельного творчества. Творец! Пустая забава, зряшная трата времени. Одно извинение - что мальчишкой был.

Я повернулся, лег ничком - и увидел перед собой лицо Эрпы.

Из зыбучего сумрака проступали ее продолговатые блестящие глаза - возле моих глаз, ее пухлые губы - возле моих губ, руками я ощутил ее худенькое тело. Подумал: "Эрна худенькая, а коленки у нее полные, их я когда-то невзначай тронул". Сказал шепотом:

"Эрна, ты откуда появилась?" - "Ты не рад? - Она тоже шептала: - Если не рад, я уйду..."

Не успел ответить, как Эрна исчезла. Передо мной подушка, вагонная стенка, сумрак, блики фонарей. А я был рад появлению Эрны, честное слово! Она мне нужна, без нее одиноко, тоскливо.

Было же давно-давно, несколько суток назад: я пробирался к ней в комнату, и все дневные заботы и огорчения отступали. А сейчас, когда она пришла и ушла, огорчения и обиды стали еще горше.

Как мне не хватает Эрны! И я еду все дальше и дальше от нее.

Еду и еду. И кажется, не будет скончания этому пути. И неизвестно, когда он начался. Вроде всю жизнь еду. Всю жизнь стучат колеса, мелькают фонари, храпят на парах солдаты, и дневальный, уронив голову на руки, дремлет за столом. Мерещится: и на том свете буду трястись в теплушке. Когда умру. А когда? Через тридцать, сорок дней? Или через тридцать, сорок лет? И как умру - от пули, упав в атаке на жесткую, сухую землю, смоченную моей кровью, царапая в предсмертной агонии полынные стебли, либо мирно скончаюсь в постели, окруженный домочадцами, детьми и внуками, с горшком под кроватью и с тумбочкой, заставленной лекарствами? А разве не все равно? Не все равно! Я хочу жить.

Я должен посмотреть, какой все-таки она станет, жизнь на земле, когда кончится последняя из войн, та, на которую мы едем. Кончится - и вот тогда уж воцарится подлинный и окончательный мир. И люди будут жить достойно людей. Будут счастливы. Хочу, чтоб и Эрна была счастлива. Верю в это.

Сна нет. На парах чертовски жестко, то бок отлежишь, то спину. Надо встать, размяться, заодно покурю.

Я спрыгнул на холодный занозистый пол, пошлепал босиком к столу. Дневальный вскинул голову, испуганно спросил:

- Вы, товарищ лейтенант? Не спите?

- Сиди, сиди, - сказал я, закурил и подумал, что дневалить опять поставили из молоденьких, оседлали мальчиков; сделаю Колбаковскому внушение.

Дневальный посматривал на меня, босоногого, в трусиках, с папиросой, я - на него. Пацан наподобие Вадика Нестерова, фамилию его не могу вспомнить. Дневальный поправил красную повязку на рукаве, встал, извлек из угла веник и принялся подметать.

Я докурил и забрался наверх. Головастиков постанывал во сне.

Отправить его на гауптвахту? В эшелоне имеется, предусмотрели, со всеми удобствами отсидит. А не худо бы и лейтенанта Глушкова водворить на "губу". Есть за что. Но, может, ни лейтенанта Глушкова не сажать, ни Головастикова? Ограничиться внушением?

Головастпкова я знаю мало. Он прибыл с пополнением незадолго до мальчиков. Пополнение было из маршевой роты, из госпитальных, подразболтанное. В бою Головастикова не видел, для меня бой наилучшая проверка. Но имеет орден Славы, медали "За отвагу", "За боевые заслуги", стало быть, воевал на совесть.

Нынче воюет с ротным командиром - в мирные дни. Орденов и медалей за это не дают. Ну, не буду растравляться. В конце концов, это эпизод, и не больше, и не стоит его раздувать, возводить в степень. Проглотить пилюлю горькую? Все лекарства горькие.

Я пзворочался, измаялся, стараясь гнать от себя мысли, а выходило гнал сои. Черт побери, когда-то засыпал моментально, на марше ухитрялся спать, идешь ночью в колонне и на ходу спишь, остановишься - упадешь. А уж ежели выпить доводилось, то припухал мертвецки - из пушки не разбудишь. И когда сломался сон? Теперь и выпивка не всегда помогает, порой выпьешь - и наступает бессонье. Вот что значит молодость и старость. Разница между ними как пропасть. Да неужели я-стар, что за вздор? Если б все это не было искренним, я бы сказал себе: кокетничаешь, Глушков. Но это было искренне и не кокетливо. Это было похуже.

Прожитое и пережитое давило, жгло, вытягивало жилы, ломало на дыбе. И все - на мою долю. Ибо на мою долю выпало перенести войну. Может быть, для кого-то война прошла бесследно или легко, во мне же оставила глубокий след. Она и поныне не отпускает от себя, и бог знает, сколько еще не отпустит. А моральные муки, душевные, так сказать, терзания научись преодолевать - вот и весь сказ. Ничего иного не дано.

Я свесился с нар и позвал:

- Востриков!

Задремавший было дневальный вскочил, заполошно озираясь.

Довольный, что вспомнил его фамилию, я повторил:

- Востриков! Востриков!

Он одернул гимнастерку, поправил пилотку, подошел к нарам:

- Слушаю, товарищ лейтенант!

А я не знал, что ему сказать. Нашелся, спросил:

- Ты из каких краев, Востриков?

- Из Кисловодска я, товарищ лейтенант.

- О, курортных мест житель!

- Так точно, товарищ лейтенант, - сказал Востриков и расплылся в неудержимой улыбке. Ее можно было расценить так:

с самим ротным запросто беседует. А ротный для него шишка. Как для меня командир полка.

Маленький, щуплый, с пробивающимися успкамп, с широкими атласными бровями, он снизу вверх глядел на меня, и, когда говорил, еле приметный кадык двигался по нежному, детскому горлу.

- А я родом москвич, Востриков.

- Ого! - Паренек посмотрел уважительно и - я не ошибаюсь - преданно. Наверняка это относилось к Москве, но чуточку - я ошибаюсь? - и ко мне. Все ж таки я командир роты, отец солдат, офицер-фронтовик, трижды орденоносец - звучит? Из этого ряда я выбрал бы вот что: я Вострикову как отец, он мне - как сын. Независимо от возраста и прочих анкетных данных.

- Ладно, Вострпков, - сказал я. - Дневаль. А я задам храповтгкого. Да, не забудь: когда пересечем границу, непременно меня разбуди.

- Слушаюсь, товарищ лейтенант! - сказал Востриков и отошел от нар.

И я малость успокоился. Как-никак пообщался с живой душой. А что, точно, он симпатичный парень, этот житель городакурорта Кисловодска. Кисловодск - Кислые Воды, нарзан, боржом, ессентуки. Хотя, пардон, боржом - из другой оперы, не на Кавминводах. Кавмпнводы - это Кавказские Минеральные Воды, группа курортов: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск. Вот так-то.

Географические извлечения из полудетских, из школьных познаний отвлекли меня, рассеяли, умиротворили. Зевнув, я деланно всхрапнул, чтобы дневальный Востриков удостоверился, что сплю.

Позже я уснул, словно полетел куда-то в бездну, в зиящую меж скалами щель. Помню: летел, узнавал Дарьяльское ущелье, где никогда не был, и во сне боялся разбиться. Потом увидел себя бредущим по обочине суглинного проселка: винтовка висит на ремне на шее, как автомат, пыль похрустывает на зубах стеклом, саднит растертая сбившейся портянкой подошва. А потом спал глухо, без сновидений.

Под утро повторился первый сон: лечу в бездну, в Дарьяльское ущелье, перед самым дном его скалистым меня подхватывает ангел с крылышками, с нимбом, трясет за ляжку и что-то говорит.

Я и пробудился от его голоса. Говорил Вострпков, деликатно дотрагиваясь до моей волосатой ноги:

- Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

- Что тебе, Востриков?

- Границу переехали, остановка уже на нашей земле! Вы велели разбудить...

- Велел. Спасибо.

Я стал одеваться. Драчев завозился за Колбаковским, спросил спросонок:

- Подъем, товарищ лейтенант? Умываться?

- Лежи, - сказал я, но ординарец поднялся. И хотя мы с

дневальным переговаривались тихонько, многие проснулись, начали цатягивать гимнастерки.

- Слышь, границу переехали.

- Белоруссия! Как в довоенной песне пелось: "Белоруссия родная, Украина золотая..."

- Аида, полюбуемся на родину.

Я вылез из теплушки. Эшелон стоял на разъезде, жидко светилось окно будочки, паровоз пыхтел в гулкой тишине. Предутренняя свежесть забиралась под одежду, холодила. Моклп в росе шпалы, трава, кусты, небо над лесом зажелтело, будто подсвеченное огнями большого города. Так подсвечивалось иебо заревом московских огней. Москва! Родной город, столица необъятной страны, на краешек которой я только что ступил... Но Москва далеко, и здесь, за лесом, горели не электрические огни - разгоралась робкая заря. Сумрак плавал над холмами, перелесками, проселком, речонкой в камышах, над опушкой, за которой отсечно вставала стена сосняка, - словно польский пейзаж, никакого различия. А это уже было наше, белорусское, полесское!

Закурил, чтобы унялось волнение. Все как и на той стороне, а любишь эти холмы, перелески, леса, болота, проселки, озерца и речки уже по-особому, кровно. Это трудно выразить словами. Просто гляддшь вокруг, и теснится грудь, и вздохнешь украдкой, и улыбнешься втихомолку, и нахмуришься сурово. "Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое мы штыками стальными оградим..." Да, распевали перед войной, разлюбезная была строевая песня, маршировалось под нее отменно. Но Белоруссии и Украины мы не оградили, стальных штыков оказалось недостаточно, нужно было побольше танков и самолетов. Всего они натерпелись под завязку, западные республики. Часть вины мы с себя сняли тем, что освободили их от немцев. Какою ценою и для армии и для республик - вопрос другой. Немалой ценою, что там говорить. Петь легче, чем воевать.

В сумраке красными точками мигали цигарки и папиросы, красное око семафора не мигало. За насыпью громоздились какие-то руины, блестела застойная вода в бомбовых воронках. Иные теплушки были закрыты - пород еще спал, у иных, как у нашей, толпились солдаты, разговаривали. Выделялся по-белорусски твердый говорок стрелочницы в резиновых сапогах, телогрейке и форменной фуражке: женщина объясняла, что отсюда до границы километров шестьдесят. Видать, границу мы проехали ночью, проспали, проспал и дневальный Востриков. На границе наверняка была остановка. Жаль, но не переиграешь.

Как хотелось увидеть солдат в зеленых фуражках, прочувствовать миг, когда эшелон пересекал линию государственной границы! В сорок четвертом в Прибалтике, в Литве, я это прочувствовал. Тогда мы шли через границу на запад, сейчас возвратились через нее с запада. Покидали и вернулись. Мне запомнились Августовские леса, песчаная колея среди вековых сосен, хутора, хутора и - задичавшее пепелище там, где стояла в сорок первом году пограничная застава. Местные жители поведали: пограничники на заставе погибли до единого, по не отступили; вооруженные винтовками, автоматами и пулеметами, они двое суток бились с противником, десятикратно превосходившим их по численности, пустившим в ход танки, авиацию, артиллерию, тяжелые минометы.

Я и сам читал в конце войны, кажется, в "Красноармейце" или "Огоньке": на всем протяжении границы, от Баренцева до Черного моря, ни одна застава не отошла без приказа, ни один пограничник не был убит выстрелом в спину, то есть никто не побежал от врага и каждый встретил смерть лицом к лицу. На всем протяжении западной границы! Вот кто такие ребята в зеленых фуражках. И мы отплатили за них, павших героев сорок первого.

Пускай им будет пухом земля приграничья.

Циклопический глаз семафора мигнул, превратившись из красного в зеленый. Загудел паровоз, жалобно просигналил рожок.

Поехали дальше.

Солдаты плюхались на нары - добирать сна. Я остался стоять у приоткрытой двери. Пахло пресной влагой, нефтью, полевыми цветами, паровозной гарью. Эшелон одолевал подъем, паровоз одышливо пыхтел, как бы сдвоенно дыша: пах-пах, пах-пах... Небосвод впереди, над урочищем, выжелтился, зарозовел. Да, да, здравствуй, отчизна. Вот по-настоящему и встретились после разлуки. В дивизионной газете были чьи-то стихи - мы уже в Германии, - а кончались стишки так: "Нам грустно, что вдали мы от России, и радостно, что от нее - вдали". Теперь я не вдали от России, и мне радостно, и никакой грусти! Радость была острой, терпкой, она забивала горечь, ощущавшуюся ночью почти на вкус.

Эта горечь сразу не сгинет, погодя она воскреснет - когда подмеркнет, потеряет новизну радость. А пока - радость была, плескалась у горла, просясь наружу добрым словом, песней и стихом. Да не мастак я на эти штуки, и не к месту они: солдаты спят. Сколько солдаты недоспали за Великую Отечественную? И сколько еще недоспят, когда эшелон достигнет последней остановки?

Я - в своем законном закуточке у окна, наливавшегося рассветпой синью.

Спать не сплю, так, забытье, порой уплотнявшееся, порой редевшее. В мозгу кавардак: рельсы раскручиваются то как папирусные свитки, то как ленты воспоминаний, мелькают, сдвигаются во времени события и люди, переплетаются стук, грохот, вой.

В висках и темени покалывает. На мгновение озаряет ясная, как вспышка, мысль: "Вот пограничники были стальные люди. Не то что я. Хотя и они состояли из костей и мяса. А нервов у них не было. Но, может, и были нервы". На мгновение же крепко засыпаю и пробуждаюсь от боли, раздирающей левую кисть.

Смотрю на свет от "летучей мыши" - пальцы разбиты, в крови.

Долбанул кулаком об стенку, дрался во сне. Хорошо, что старшина Колбаковский отодвигается от меня. Да-а, нервишки... Поистрепался Петя Глушков за Великую Отечественную.

Семнадцатилетние посматривали на меня сочувственно и ува"

жптельно, на Головастикова - осуждающе. Ветераны на Головастпкова не смотрели, сталкиваясь с моим взглядом, прятали глаза.

Старшина на полном теноровом регистре внушал:

- Головастик ты, Головастик, дурья твоя башка! Эдак и под трибунал загремишь. Винись перед лейтенантом, бисов фулиган...

Головастиков сутулился над нетронутым котелком пшенки, лицо бледное, шея в бурых пятнах. Нерешительно поднялся, заплетаясь ногами, приблизился ко мне:

- Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?

- Ну?

- За-ради Христа простите меня, обормота... Нечистый попутал... Я в трезвости смирный и выпимши не буяню... А тут попутало... З-за Фроськи все, з-за стервы... Гуляет она... Ну, сердце закипело... Простите, товарищ лейтенант!

- Претензии к жене, а замахиваешься на меня?.. Учти, Головастиков, сказал я, желая поскорей закончить это объяснение, - ты грубейше нарушил воинскую дисциплину, но на первый случай ограничусь выговором. Объявляю тебе выговор! Повторится чтолибо подобное - под арест, на "губу". Или похлестче. Дошло?

- Дошло, товарищ лейтенант! Аж до печенок! Я и трезвый смирный, и выпимши не буйный... Не повторится, товарищ лей-"

тенант!

- И чтоб вообще не пил больше. Обещаешь?

По его лицу видел: не обещает. Я спросил:

- Так как насчет выпивок? Завяжешь?

- Завяжу, товарищ лейтенант. То ись попытаю...

"Ответик", - подумал я и сказал нравоучительно:

- Не подведи себя, товарищей и меня. Всё.

Головастиков выдавил мучительную улыбку, вздохнул вроде бы с облегчением. Фронтовики вздохнули явно облегченно, от меня уже не отводили взгляда. Да и мальчики повеселели. Будто ничего дурного и не произошло вчера вечером и желательно обо всем позабыть быстрей. Но в том-то и загвоздка, что я это быстро не забуду, хоть расстарайся.

Разбитые пальцы побаливали, я их обернул носовым платком.

Драчев приставал с индивидуальным пакетом, и я сдался, и он начал бинтовать мне руку, от усердия высунув кончик языка.

"Перевязывает, как на фронте", - подумал я и усмехнулся: боевая рана.

Солдаты допивали чай. Головастиков занялся кашей, его похлопывал по плечу Кулагин. Головастиков жевал, облизываясь.

Свиридов клянчил у старшины аккордеон, но тот, приглядевшись ко мне, сказал:

- Замучил инструмент и личный состав. Сегодня передых.

Будешь образцового поведения - завтра вручу.

- Карамба! - сказал Свиридов высокомерно.

- Что?

- По-испански - проклятье, товарищ старшина.

- Кого ж ты проклинаешь?

- Никого в частности, товарищ старшина. Так, вообще... Но промежду прочим, товарищ старшина, напрасно жметесь, это вас не украшает.

- Тебе б судить, что меня украшает! Но замечу тоже промежду прочим: будешь хамить - не видать инструмента как своих ушей.

- Я? Хамлю? Товарищ старшина, как можно!.. Что я, хамлет какой? Театрально жестикулируя, Свиридов возвел очи к небу. - Просто крайне нуждаюсь в музыкальном сопровождении... Была не была - рискнем без него. С придыханием, с ужимками пропел-прохрипел: - "Я понял все: я был не нужен... Ту-ди, ту-ди, ту-дитам, ту-дитам, ту-дитам... Не нужен..." Сказал: - Без музыкального сопровождения не пойдет. - Свернул толстенную, в два пальца, самокрутку из злейшей махры, выпустил сизое облако, от которого у меня запершило в горле. Так что бабушка надвое сказала, что приемлемей - аккордеонные танго либо такая свирепая махорка.

Старшина невозмутимо спрятал аккордеон в футляр, поставил на нары. Сверху сказал Логачееву:

- А кто котелок будет мыть за тебя?

- И все-то вы засекаете, - сказал Логачеев.

- Сверху видней! А ты давай-давай мой котелок. Не забывай, Логачеев: труд создал человека.

- А люди создали труд, - вставил Свиридов.

Старшина не принял шутки:

- Не мудри. Труд создал из обезьяны человека. Точка!

- Товарищ старшина, а вы воркотун. - Свиридов не унимался, хотя на физиономии как маска - пи один мускул не дрогнет.

- Это как попять?

- Так: воркотун - значит ворчун.

- Ворчун, - согласился Колбаковский вполне добродушно. - С вамп не поворчишь - на шею сядете, заездите.

Подвернулся Рахматуллаев, ослепил белейшими зубами:

- Ну, на вас далеко не уедешь, где сядешь, там и слезешь.

- И то, - Колбаковский согласился еще более добродушно, но глаза щелились, подрагивали брови - признак того, что старшина недоволен.

Да и мне разговор не нравится: вышучивающий тон, высмеивание старшего и по должности, и по возрасту, панибратство.

Не припомню, чтоб прежде солдаты так разговаривали со старшиной роты. О его авторитете я обязан печься. И я сказал:

- Товарищ старшина, что у нас по распорядку дня?

Я хотел дать Колбаковскому повод пресечь это вышучивание, достойно выйти из неловкого разговора. А старшина расцепил мою фразу как упрек, пустился в оправдания:

- По распорядку? Дня? Это самое... Политинформация, читка газет... Да вот заговорили меня, товарищ лейтенант, будь они неладны, разболтали старого...

Что старый, это верно. Вернее - стареющий. И потому дающий маху. Но какой педагог из лейтенанта Глушкова? Бывают хуже, да редко.

На очередной остановке меня отозвал гвардии старший лейтенант Трушин, указывая глазами на забинтованную кисть:

- Это в драке с Головастиковым?

- В драке? Ее не было, окстись!

- А что было? Замазываешь? Почему не докладываешь по команде?

- Не считаю целесообразным раздувать.

- Создаешь видимость благополучия? Чепе скрываешь? Очковтирательством занимаешься?

Трушин говорил сердито, пришепетывая, а я засмеялся: нелепо выглядели эти обвинения. Трушин сказал:

- Оборжешься! Так что все-таки было?

- Был крупный разговор. Солдат осознал вину, наказан.

- Мера взыскания?

- Объявил ему выговор.

- Хо, разгильдяй, пьяница отделался легким испугом!

- Пусть так. Но ведь за один проступок дважды не наказывают...

- Хитер, хитер, Глушков! Тем не менее комбату я доложу, - сказал Трушин, а я подумал: "Кто ему "стукнул" про Головастикова? Ночью, что ли?"

Трушин верняком доложит комбату. Дойдет и до командира полка и его замполита. Могут потрясти мою душу, а могут оставить без последствий. Все же мне сподручней разобраться, командиру роты. Я и разобрался, наказал, как посчитал нужным. За один проступок дважды не налагают взыскание. Если на кого-то еще и наложат, так на меня.

- А ты, Петро, гнилой либерал. Подыгрываешь подчиненным, всегда отличался этой слабинкой. Трусишь, что отомстит? Боишься пулю в спину получить в бою?

Это уже не смешно. Это глупо и злобно. И я сам разозлился, прошипел:

- Ты хоть мне и приятель, хоть мы и давненько знакомы, но я тебе скажу: ворочай мозгами, иначе получишь не пулю в спину, а кулаком по спине.

- Но-но, - миролюбиво сказал Трунит, - не сбрасывай со счетов, что я твое начальство.

- Сброшу не со счетов, а с поезда, дуролом!

- Разошелся. Псих ты, Петро!

- А ты дуролом!

На том и расстались.

Стычка с Трушиным почему-то меня не разволновала. Я позлился-позлился и отошел. А обида на Головастикова и на себя сидела, как заноза. Выдернуть бы ее к чертям собачьим.

Эшелон тащился, беспрерывно останавливаясь. Словно нам давалась возможность попристальней вглядеться в то, что натворила война. Как будто мы не насмотрелись на это! А вот снова - пепелища, печные трубы посреди пустырей, развалины, руины, искромсанные воронками, траншеями и окопами поля, вывороченные с корнямн деревья. Взорванные, разбитые городки, деревень почти нет - на пх месте землянки, там и ютится народ.

Подъехали к Минску - коробки сожженных и разрушенных зданий, руины, руины. Где только живут люди в этом большом и мертвом городе? Но - живут! Дымят фабричные трубы, под гору катит трамвайчик, его обгоняет автобус, на тротуарах пешеходы.

Значит, город не мертв, не мертв. И в то же время что-то во

мне саднит - вроде разочарования. Будто наверняка ожидал встречи с уже восстановленным, отстроенным Минском, а вижу те же развалины, что и летом сорок четвертого. Разумом понимаю: чтобы восстановить разрушенное, потребуется не год. А сердце недоумевает: как же так, Победа, едем с войны, а тут такое? Многострадальный Минск! В начале войны немецкая авиация обрушила на него фугасные и зажигательные бомбы - налет за налетом. В сорок четвертом, отступая, немцы минировали и взрывали уцелевшие здания. А все-таки белорусская столица жива, и я наблюдаю, как в одном месте разбирают груды кирпича, в другом - закладывают фундамент нового дома.

На минском вокзале кумачовые лозунги: "Горячий привет героям-освободителям!", "Беларусь низко кланяется доблестным советским воинам!", "Да здравствует непобедимая Советская Армия!" На перроне, на путях столпотворение: эшелоны, солдаты, гражданские, гвалт, песни, гармошечные переборы. У нашего вагона собирается толпа, в центре ее чумазый, оборванный мальчишка верещит срамные частушки:

Лейтенант, лейтенант - Желтые сапожки!

Следующие две строчки - про девку и про кошку - заставляют меня покачать головой, приглядеться к мальчишке. Мальчишка как мальчишка, только очень уж чумазый да оборванный.

Солдаты, женщины и девушки, пожилые и подростки хохочут, оборванец верещит еще пронзительней. Солдаты его спрашивают:

- Ты откуда такой? Папка-мамка есть?

- Я беспризорник. Отца с матерью сгубили каратели... Закурить найдется?

Глаза у мальчишки зыркающие, бедовые, всего навидавшиеся.

Среди вокзального безудержного, хмельного веселья я замечаю старуху. Может, и не старуха, но морщинистая, изможденная, как будто больная, в черном платке, из-под которого выбиваются поседелые прядки. Она стоит не двигаясь, а взгляд ее мечется, перескакивает с одного солдатского лица на другое. Я подхожу к ней, спрашиваю:

- Кого, мамаша, ищете? Родных, близких?

- Сынков ищу. Двое пх - Кастусь и Петрусь...

- Что, должны проехать? Телеграмму отстукали?

- Убитые они. Кастусь - под Бухарестом, Петрусь - под Варшавой...

- Что, похоронки были? - спрашиваю неизвестно для чего.

- Были, сынок, были.

"А сама ищет среди проезжающих", - думаю я, и мне становится не по себе. Неуклюже поклонившись женщине, отхожу от нее. Что могу сказать ей, чем утешить? Что могу сделать для

пацана-беспризорника, кроме того, что дал ему закурить? Понимаю:

война будет долго кровенить души и судьбы - и после того, как отстроятся города и села.

Налетает ветер, взвихривает пыль, несет бумажки. Туча, словно сотканная из грязно-серых фабричных дымов, закрывает солнце. Накрапывает дождь, но минчане не расходятся. Столпотворение продолжается.

В Минске простояли часа два. Кое-кто из офицеров исхитрился съездить в город. Я не рискнул. Пока из роты еще никто не отстал, зачем же ротному быть первым? Упаси боже!

После Минска, где сержант Симоыенко заполучил у Трушина свежие газеты, была политинформация. Затем - занятия по уставам и матчасти. Затем - обед. Я украдкой следил за Головастиковым. Он был оживленный, веселый. Однако веселился Головастиков рано, потому что на открытом партсобрании ему всыпали перцу. После обеда мы перебрались в вагон Трушина, три взвода в одной теплушке - в тесноте, да не в обиде. Замполит выступил с докладом, в котором напирал на необходимость со всей добросовестностью отнестись к занятиям, и в заключение обрушился на злостного нарушителя воинской дисциплины, порядка и организованности товарища Головастикова. Сменившие докладчика ораторы Симоненко и Колбаковский тоже надавали Головастикову по шеям. Солдат понурился, стал скучный, слинявший. Я некстати вспомнил женщину, искавшую на вокзале среди нас убитых за границей сынков, и мне стало жалко Головастикова. Но я за него не вступился - с какой стати? сказал лишь, что надеюсь: больше он подобного не допустит.

Поскольку особой активности на этом собрании не проявлялось, его провели за перегон, и на остановке мы перешли в свою теплушку.

А может же так сложиться: через двадцать, через тридцать лет встречусь я с кем-нибудь из своих, из фронтовиков. Ну, допустим, с тем же Трушиным, или с Колбаковским, или с Логачеевым, или со Свиридовым, или с кем иным. Сперва мы ахнем, обнимемся, уткнемся лицом в плечо друг другу и заплачем. А после будем сидеть в ресторане и вспоминать, что с нами было на войне. И я никогда не вспомню о том, что чувствовал некую взаимную отчужденность, витавшую в теплушке воинского эшелона, номер которого уже не держался в памяти.

12

МАТЬ И ОТЧИМ

Ермолаев выпил рюмку, крякнул и, не закусывая, сказал:

- Хороша, но дорога.

Подцепил вилкой селедочный хвост, луковое перо, короткими сильными пальцами взял крутое яйцо с маслом. Прожевал, снова опрокинул рюмку, крякнул и сказал:

- Дорога, по хороша. Диалектика!

- Не налегай на водку, - сказала Лидия Васильевна. - Нам же работать.

Ермолаев проглотил, почти не разжевав, кусок колбасы и благодушно засмеялся.

- Свою норму блюду - пара рюмашек. Ради воскресенья и ради хорошего настроя. А трудиться я готов, женушка. Как, Петя, потрудимся?

- Да, Алексей Алексеевич, - вежливо ответил Петя.

Они сидели на террасе, за клеенчатым столом, - тарелки, стаканы, на проволочной подставке попыхивал паром, постукивал крышкой электрический чайник. Терраса была недостроена, без стекол, беспрепятственно полнилась солнечным светом, тенями веток, волглым воздухом, запахами земли, зелени, дымка от сжигаемых на соседней даче усохлых сучков. Соседи - работяги: утречко, на часах около восьми, а уже вкалывают. И солнце вкалывает: над лесом невысоко, а печет - пет спасенья. Вот лето нынче: днем жарит и жарит, к вечеру ливень. Воздух влажный, тяжелый, дачная мягкая мебель, постели, одежда схвачены сыростью. Дышишь затрудненно, толчками. Не Подмосковье - прямо субтропики.

Допивая кофе, Ермолаев пятками нашарил под столом слетевшие шлепанцы, без промаха сунул в них ноги. Лидия Васильевна сказала:

- Еще кофе?

Ермолаев накрыл чашку ладонью: "Мерси, мамочка" - и поднялся, расправил плечи. Был он невысок, плешив, голубоглаз - под цвет голубой трикотажной майки, которая обтягивала его мускулистое, смягченное слоем жирка тело. Он потягивался, разминал мышцы груди, спины и рук и одновременно шевелил пальцами в войлочных шлепанцах, ощущая в ногах мокрое тепло. Ей-богу, субтропики. А тепла хочется сухого, потому что некогда у него был нешуточный ревматизм. Давненько, правда, но кто поручится, что рецидив невозможен?

Ермолаев надел на голову сооруженную из газеты треуголку, скрестил руки на груди, распушил клочковатые брови и сказал:

- Наполеон при Аустерлице.

- Ладно уж, - сказала жена. - Бери лопату.

- Есть брать лопату, Лидочка! Ты со мной, Петя?

- Да, Алексей Алексеевич.

"Не хочет называть меня отцом, привык к своей

безотцовщине, - подумал Ермолаев. - Ну, и я перестану звать его сыном.

Что ж, Петя так Петя..."

Он подхватил лопату, сам себе скомандовал: "На плечо!" - и, ловким взмахом кинув ее на правое плечо, пошел в угол сада.

Поблизости, за березовой изгородью, на грядке ковырялся сосед в полосатой пижаме и соломенной фермерской шляпе. Увидев Ермолаева, он разогнулся, блеснул очками, и Ермолаев привычно угадал: щурится и за стеклами очков, настолько близорукий. Сосед сказал:

- Доброе утро, голубь.

- Привет! - Ермолаев примерился к лопате. - Как спалось, Леонард Иванович?

- В лучшем виде. - Сосед снова склонился над грядкой, затюкал тяпкой.

"Доцент! С тяпочкой несподручно", - подумал Ермолаев и поплевал на руки.

Надо бы прочистить сток от сарая до уличной канавы. Чтоб дождевая вода не застаивалась на участке. На часок работы.

Хекпув, Ермолаев вонзил лезвие лопаты в рыхлый, наносный грунт, поддел и отвалил кучу суглинка. Хекпул и опять вонзил.

Пальцы накрепко сжимали отполированную твердь черенка, переливались мышцы под жирком, ровно, не озабоченно стучало сердце. Над головой синело небо с пепельными облаками по горизонту, на краю поселка зеленел лес, а за лесом, вдалеке, дым валил из заводских труб, но сюда дым не доходил, таял в березовых и дубовых рощах. Лесной воздух влажный, тяжелый, однако чистый, этого не отнимешь. Все-таки тут благодатно. И с землей возиться благодать.

Оттого и веселость на душе, и сила в теле. Как будто давно и навсегда оторвался от канцелярского стола. А оторвался лишь вчера - и до понедельника. Сколь же люба ему дорога от Курского вокзала до поселка! Электричка погукивает, идя на проход, вагон резко покачивается, и за окном кружат поля и леса и мелькают дачные поселки. Ермолаев знает, что в этом поселке он увидит строящийся магазин - стропила торчат, как кости скелета, - в том поселке увидит пруд, облепленный рыбаками, и вытоптанную футбольную площадку с покосившимися воротами - на них накинуты рваные рыбацкие сети, - в том поселке увидит на витрине аптеки рекламный плакат: девочка, улыбаясь, пьет из столовой ложки рыбий жир, она так довольна, что самому хочется отведать этого снадобья!

Субботний вечер он с женой и Петей просиживает на террасе, пьет чай с сахаром вприкуску, шелестит газетами, слушает птичье

пенье и лягушиное кваканье, перемежаемое жеманными романсами Клавдии Шулъжепко с участка напротив, через дорогу, - и не работает. Нисколечко. Работать - с воскресенья, с утра. Ложится оп рано и засыпает мгновенно, и сны ему снятся приятные, развлекательные. То будто он выиграл по лотерее велосипед (куда его ставить - в доме и так два велосипеда), то в него влюбилась девица (модная, расфуфыренная), не дает проходу, то яблоки на участке уродились небывалые, с детскую голову (в руках не удержишь, роняешь на пол). А сегодня привиделось: нет у него плешины, есть пышная, кудрявая шевелюра. Проснувшись, он поглаживал затылок и поймал себя на мысли: где мои молодые годы? - и сразу развеселился, потому что к молодости возврата быть не может, закон природы, но приснится же такое забавное.

Ермолаев сгибал поясницу и разгибал, нажимая стопой на лопату, подхватывал суглинок и отбрасывал, и сток очищался, походил на маленькую траншею, и растревоженная земля пахла парным молоком. На лбу выступил пот, щекоча, стекал по щекам и за ушами, по шее, на губах - соленый привкус. А соскучившееся по труду тело требовало: еще, еще!

Он углубил сток, дойдя до улицы, до кювета, и оставив небольшую перемычку у самой лужи. И когда позволил Пете разрушить эту перемычку и зашагал вдоль стока, грязно-белая от застойной пены, словно замылившаяся, вода побежала вслед за ним, как прирученная. А он глядел на нее сбоку, вдыхал запахи парного молока и думал: "Благодать!"

Затем Ермолаев обламывал и обрезал сухие ветки на сливах и яблонях, Петя сгребал их в кучу. Чиркнув спичкой, Ермолаев поджег, и затрещало, и вскинулся сизый дым. Затем, присев на корточки, начал обрывать усики у клубники, попадались спелые ягоды - их в корзиночку. Жена и пасынок тоже занялись клубникой. Лида разделась, осталась в лифчике и трусах.

С улицы прохожие, в большинстве свои парни-дачники, посматривали поверх заборчика на полные загорелые ноги жены, но она не стеснялась. Ермолаев усмехнулся и снял брюки и майку.

Так-то лучше - в трусиках. Не столь жарко, и подзагоришь, это полезно.

Клубничные кусты пластались на грядках - зелень листвы в красных крапинах ягод. Пальцы скользили по шершавым прогретым листьям, ловили усики, пачкались зеленым. Прочь эти усики, чтоб не забирали себе животворящие соки:! Он не удержался, сорвав мясистую клубничнику, сунул в рот.

- Мамочка, не сердись: только одну!

Жена подняла голову и не ответила.

- А вторую Пете... Держи!

- Спасибо, Алексей Алексеевич.

Вежливый - аж некуда. А от Ягодины будто повеяло лесной свежестью. Люба ему эта ягода, крупная сладкая клубника. И хочется заботливо уходить ее, пусть растет, зреет, набирает силы, да здравствует живность. И когда отламывал или отпиливал ножовкой ненужные яблоням и сливам сучки, он думал о том же:

помогаю живому, пускай себе зеленеет и плодоносит вся эта живность, любо ему помогать всем этим кустам и деревьям.

Кусты и деревья! По углам участка, как сторожевые вышки, высились матерые, развесистые березы, при раскорчевках сохранили и рябину с калиной - вокруг дачкп; вот деляны с яблонями, вон - со сливами, по-над забором крыжовник - так называемый виноградный сорт, созревшие ягоды напоминают темно-красные виноградины. Труда вложено в это немало и еще будет вложено:

окапываешь, рыхлишь, пропалываешь, удобряешь, подбеливаешь стволы, опыляешь, поливаешь, обрезаешь сухостой и чего еще не делаешь. Но все оно - в радость, ибо общаешься с землей, с природой и как-то пособляешь им. Живите, кусты, деревья, цветники, живите, птицы, лягушки, стрекозы!..

Сосед в полосатой, арестантской пижаме помахал своей фермерской шляпой:

- Алексей Алексеевич, на минутку!

Смахивая капельки пота с носа и блаженно потягиваясь, Ермолаев подошел к изгороди. Сосед поправил очки в золотой оправе.

- Бога ради, извините, голубь. Совсем обеспамятел: в следующую субботу будем жеребиться.

- Есть жеребиться! - сказал Ермолаев. - Я свободен?

И уже на ходу рассмеялся: жеребиться - это значит будет жеребьевка, кому из членов кооператива когда получать трубы; жеребиться - ну и доцент, уморил...

Солнце поднималось к зениту, побелевшее от зноя. Горячие воздушные токи поднимались из земли, в них томились мухи-толстоголовки, убаюкивающе жужжали. За участком, з лесу, каркала одинокая ворона - без передыха, как заведенная: видать, одурела от жары. Зной приглушил все звуки - жужжание мух, радиоприемник на сопредельной даче, перекличку грибников на опушке, железное воронье карканье.

Перед обедом Ермолаев решил наладить душ: что-то с рассеивателем, засорился? А искупаться не грех: жара, пот, грязь. Он притащил из сарая лестницу, забрался по ней наверх,

открутил рассеиватель. Так и есть поржавел, дырочки забиты ржавчиной.

Прочистил их, прикрутил рассеиватель, набрал в бочку воды, повернул краник - струя преотличная!

Он сбросил с себя бумажную треуголку и трусы и нырнул под душ. Какое это было блаженство: прохладные, бодрящие струйки льются, колются, смывая пот и грязь, заново на свет нарождаешься.

- Ух, красотища!

Он ухал и крякал, намыливал земляничным мылом голову и телеса, смывал пену и снова мылился. А вода сыпала и сыпала сверху, как божья милость. В жаркий день такой душ божья милость, безусловно.

Лидия Васильевна крикнула с грядки:

- Наработался? Не рановато ли?

Он высунулся наполовину из-за фанеры:

- Нет, мамочка, в норме! И тебе пора, иди помойся, смой грехи!

- Ладно уж, - сказала жена, - помоюсь.

Не вытеревшись, а промокнувшись полотенцем, обсыхая на крыльцо в тенечке, Ермолаев смотрел на фанеру, и в неузком проеме ему виделась под душем нагая жена, смуглая, полная и еще крепкая. Он неторопливо и доброжелательно разглядывал ее и не волновался, ибо привык к ней. Как и она к нему. По-своему он привык и к пасынку, и пасынок по-своему привык к нему.

После душа жена разогревала на плитке кастрюлю со щами, а Ермолаев сидел на террасе и наливал в рюмку водку. Рюмочку перед первым, рюмочку перед вторым - норма, остатки допьем перед отъездом, распределено. А есть мужики, которые не успокоятся, покуда не вылакают бутылку в один присест, не терплю пьяниц. Мера на что человеку дана?

Ермолаев двумя пальцами взял рюмку за ножку, но выппть не успел. С конца улицы донесся сиплый лай, шум, крики, неразборчивый голос:

- Бе...ше...ная...

Жена процокала каблуками по ступенькам, от калптки позвала:

- Алеша, подойди-ка сюда!

Он со вздохом поставил рюмку на стол и спустился с крыльца.

У калитки увидел: по щебенке, шарахаясь от луж, трусила собака, поодаль, пренебрегая лужами, трусила ребятня и мужчина с женщиной, и Ермолаев зачем-то отметил: мальчишки - в панамах, мужчина - в узбекской тюбетейке, женщина -

простоволосая. А собака была неопределенной масти, рыжая, в светлых полосах, тощая, со свалявшейся шерстью. Вероятно, бездомная. Мальчишки свистели, улюлюкали, женщина вопила:

- Бешеная она, бешеная!

Ермолаев присмотрелся: язык вывален набок, хвост поджат, из оскаленной пасти слюна. Жена схватила его локоть: "Да, сбесилась", а он подумал: "Пронесло бы эту собачину поскорей".

Но собака, дотрусив до пх забора, как нарочно, остановилась, присела на задние лапы. И толпа сразу остановилась, не подходила ближе.

Ввалившиеся бока ходили под рыжей шерстью, с длинного языка текла слюна, капала на грудь, на лапы; собака низко опускала морду, крутила ею по сторонам, как бы ища кого-то. И Ермолаев наткнулся на этот взгляд. И у него внутри что-то екнуло:

собачьи глаза были мутные, бессмысленные, не сулящие ничего доброго.

Мальчишки зашвыряли в собаку камнями, мужчина в узбекской тюбетейке заорал: "Пес самашедший, что ему камешки, из ружья надо!"; сбежавшиеся к заборчикам на всех участках дачники кричали громко и бестолково, и громче остальных прокричал, как прокудахтал, ученый сосед:

- Алексей Алексеич, голубь! У вас же ружье, тащите!

И жена сказала:

- Неси малокалиберку.

- Что нести? - спросил Ермолаев и вторично встретился с мутными, бессмысленными, угрожающими глазами.

- Господи, что-что... Ружье неси!

- Не у меня одного ружье, и у других в поселке есть, - сказал Ермолаев. - Почему именно я должен?

- Я бы сама вынесла и выстрелила, если б могла обращаться с оружием!

- Резонно. С оружием нужно уметь обращаться, оно баловства не любит.

Ермолаев разговаривал с женой, косился на Петю - паренек растерян, мнется, - на соседа в пижаме, продолжавшего что-то выкрикивать, и мысли у Ермолаева были четкие, ясные. Вынесешь мелкокалиберку - придется ему стрелять в это животное.

Не увлекает. Пусть другие тащат ружья и стреляют. А к тому же, возможно, собачина и не бешеная? Чего не примерещится с перепугу... И что скажет тогда хозяин, если собачина окажется не бездомной? Это не исключено.

Голыш угодил собаке в бок, она взвизгнула, залаяла, вскочила на лапы.

- Самашедшая! Ружье надо!

Сгорбившись, собака припустила между лужицами, убыстряя бег, и за ней припустила толпа, заметно прибывшая, и все скрылись в лесу.

- Инцидент исчерпан, - сказал Ермолаев. - Пошли обедать, мамочка.

Жена молча повернула к даче.

Хлебая мясные щи, хрустя зажаренными в сухариках котлетами, Ермолаев думал: откуда принесло эту псину, не могла побежать не по нашей улице. Чуть весь воскресный настрой не изгадила. До сих пор осадок неприятный. Пасынок смущен и расстроен, Лидочка дуется, а с чего дуться? Что он, обязан был сломя голову мчаться за ружьем и палить в эту бедную тварь? Слава богу, чем-чем, а жестокостью он не обладает. И к тому же отчего именно он, Ермолаев, должен был пристрелить собачину?

Пускай доцент стреляет, а то лишь умеет близоруко щуриться за своими очками. Подначивать все мастаки, коснись же дела - отдуваться одному. Он уверен: у собаки имеется хозяин, ну, а свяжись с поселковыми - жизни не возрадуешься, затаскают.

- Мамочка, - сказал Ермолаев, - я уверен: собака не бешеная, просто замордовали, затюкали, довели до такого состояния...

Жена не отвечала, гремела кастрюлями, тазами. Ну, погреми, погреми...

Ермолаев работал челюстями, по временам промокая носовым платком росинки пота, обмахиваясь треуголкой. И чем больше он насыщался, тем спокойней становилось на душе, неприятный осадок таял, и, когда Ермолаев принялся класть себе в рот клубничины в сливках, осадок вовсе растаял, как и не бывал.

После обеда он помогал жене вытирать посуду, убирать со стола. Жена прилегла на тахте вздремнуть. Петя читал книгу, а Ермолаев пошелестел "Известиями" - забавно пишут про пиратов, и женщины были пиратами, надо же, - поразгадывал викторину в "Огоньке". Веки слипались, по спать пи-пи, зажиреешь, и так нелишне бы спустить парочку килограммчиков. Женщинам можно полнеть, мужчинам - ни-ни.

Ермолаев протяжно, с хряском, зевнул и встал. Нет, нужно приняться за работу, иначе скиснешь. Он порылся в столярном ящике, разыскал молоток, гвозди, подхватил стремянку и пошел к сараю. Нужно прибить край толевого листа - оторвался, при дожде крыша протечет. А в сарае дрова, кой-какое барахлишко по мелочи.

Ермолаев приспособил лестницу у стенки и, держа гвозди в зубах, полез по ступенькам.

Бойко стучал молоток, гвозди входили в доску беспрепятственно, вкусно. На лицо Ермолаеву падали то кружевные тени от березы, то прямые лучи солнца. Стояла еще жара, но что-то в ней, послеобеденной, было на изломе, нет-нет и сквозил ветерок с лесных болот - как предвестник вечерней свежести. Пегие тучи роились по небу, старательно обходя солнечный шар.

Вколотив последний гвоздь, Ермолаев не тотчас слез со стремянки, некоторое время смотрел вниз, на участок. Хорошо, что он настоял на своем. Когда в тресте записывали на садовые участки, Лидочка воспротивилась: зачем нам, возни уйма. Он сказал:

повозимся, зато будет местечко, где сможем отдохнуть от Москвы.

И что же? Втянулась Лидочка, нравится ей теперь на даче. Ну, а о нем и толковать нет нужды. Не все, конечно, еще в норме, дачка не достроена, ограду бы сменить. Достроят, сменят. Всему свой черед.

Спустился с лестницы, глубоко вздохнул. Да, всему свой черед:

сейчас и вздремнуть не возбраняется.

В комнате у зеркала причесывалась заспанная жена. Он лег на место, теплое ее теплом, и захрапел. Спал крепко, без снов: они снились по ночам. Пробудился через часок, взглянул на ходики - пять сорок. Скоро собираться - и на электричку.

- Мамочка, доброе утро! Сыпанул на совесть!

- Мамочка, а книга интересная, прочти, - сказал Петя.

Ермолаев усмехнулся: иногда оба так называют Лиду.

Он сел на скамейку подле крылечка, почесал грудь, живот, пошевелил пальцами в шлепанцах. С улицы позвали:

- Лидия Васильевна!

Жена выглянула с террасьл:

- Марья Дмитриевна?

- Новости есть!

- Какие?

- Собака... та, бешеная, что пробегала здесь, укусила-таки...

Ребенка! Девочку Агеевых с семнадцатого участка знаете? Белобрысенькая, с бантом...

- Знаю. Куда укусила? - сказала жена деревянно.

- За ножку. Плакала, бедняжка, ужасно.

- И что же дальше с девочкой?

- Повезли в больницу.

Ермолаев спросил:

- Марья Дмитриевна, а собаку-то хоть убили?

- Убили.

- Наконец-то, - сказал Ермолаев. - Не избежала смерти, окаянная. А девочку вылечат.

Дачница, сообщавшая про девочку, перешла к следующему участку, позвала хозяйку:

- Софья Николаевна!

- Что там?

- Новости есть...

Жена гремела тарелками и стеклянными банками, хлопала дверью. Стараясь не повстречаться с ней взглядом, Ермолаев сказал:

- Я отчего-то уверен: девочке ничто не угрожает. На легковушку - ив поликлинику. А там - укол против бешенства, и порядок... Болезненные уколы, это верно, не научилась еще медицина колоть без боли... Потерпит кроха, поплачет, зато будет здоровенькая...

На минуту в нем всколыхнулось давешнее неприятное чувство, но, опустившись, растворилось без осадка.

На электричку они отправились, когда тучи наконец затмили солнце и забрызгал дождичек, нудный, мелкий. "Прибавить шагу, покамест не разошелся в большой", - подумал Ермолаев и, выйдя на щебенку, оглянулся: за забором, за крыжовником зеленели кроны сторожевых берез, чернели душевая бочка и сарай под толем, оранжевели дачные стены с синими прикрытыми ставнями праздничная, будоражащая пестрота.

Они шли по поселку - на участке слева из-за изгороди торчала собачья морда: бурая, в подпалинах, овчарка встала на задние лапы, передние положила на изгородь. И Ермолаев подумал:

"Экая собачища, правильно держат на цепи", - вспомнил ту беспородную, взбесившуюся, и тотчас постарался забыть. Затем шли по луговой тропинке, болотисто пружинившей, - на лугу лошадь, пегая, как тучи над головой, опустившись на передние ноги, хрумкала сочной травой в ямке, затем лесом среди березовых и еловых стволов, покрытых светло-зеленым и желтым мхом, неумело прыгали, опрокидывались на спину и, перевернувшись, сызнова прыгали малюсенькие, недавно народившиеся лягушата, и далее - окрайком ржаного поля по косогору - невинно глядели васильки, и пахла мята, и дикие голуби летели над рожью, забирая к железной дороге.

Петя вышагивал впереди всех. Подавшись вперед под тяжестью рюкзака, просунув большие пальцы под лямки, чтоб не так резало, Ермолаев двигался ходко, от жены не отставал. Она - метрах в пяти, опираясь на палку и подрагивая задом, и он

покойно смотрел на этот подрагивающий зад, широкие бедра и круглые икры.

За всю дорогу от дачи жена ни разу не повернулась к нему, не обронила словца. Сердится. Знаем отчего. Во-первых, зря сердится, а во-вторых, посердится и перестанет. Хочешь не хочешь, а жить нужно вместе, попрпвыклп друг к другу.

На платформе толпится люд с рюкзаками, корзинами, сумками, ведрами, охапками полевых и садовых цветов, и Ермолаев почувствовал щемящее предвкушение пути, на котором будут мелькать знакомые поселки. И еще он почувствовал зыбкую, умильную грусть оттого, что расстается с подмосковной землей, с подмосковным небом и с подмосковным воздухом.

В вагоне он уселся у окна и, голубея глазами под цвет своей рубашки, слушал разговоры, смотрел по сторонам. Об руку с ним теснилась юная парочка и зевала, соблазняя друг друга. На лавке напротив - женщина с синяком в подглазье, возле женщины - мрачный, с отвислой губой, нетрезвый мужик, видать, автор этого синяка. В смежном купе - перепалка футбольных болельщиков:

- "Динамо" себя еще покажет!

- Покажет "Спартак"!

Где-то дребезжал старушечий дискаптик, костеривший того, кто не уступил ей место или толкнул ее при посадке, сперва старуха ругала его деревней, после - хулиганом, а после - бандитом. Ермолаев подмигнул жене и Пете:

- Дает старушка - божий одуванчик!

Жена отвернулась, стала смотреть в окно. И Ермолаев посмотрел: за стеклом, исчерченным водяными извилинами, - дождь припустил как следует, вовремя сели в поезд, - кружили посумрачневшие поля и перелески, холодно, льдисто сверкнула среди ив речонка, в поселке встало и исчезло школьное здание с выпавшими по фасаду облицовочными плитками - будто оспинки на лице.

Вагон покачивало, и в такт покачивались букеты на полках под потолком. Ермолаев прислушивался к пению, смеху и разговорам, к шлепанью карт, к перестуку колес, потирал плешивую макушку и думал, что следующее воскресенье они опять проведут на даче.

Но втроем опи больше на даче не были. В ночь с воскресенья на понедельник, по возвращении в Москву, Ермолаев был арестован. В оконные стекла колотили дождевые струи, в водосточной трубе клокотали ручьи, а в комнате ярко горел свет. Петя на своем диване проснулся, протер глаза. Незнакомый человек в кожаном пальто сказал: "Ты, мальчик, спи", второй незнакомый - в коверкотовом плаще и коверкотовой кепке -

повторил: "Спи, спи".

Но Петя не спал, видел: эти двое выдвигают ящики письменного стола, роются в бумагах, в платяном шкафу, в книгах на этажерке, за картинами, простукивают стены, а в дверях понятые - дворничиха и домкомша. На стуле мама, внешне безучастная. Алексей Алексеевич стоял у обеденного стола, бледный, на плечи накинут пиджак. Обыск кончился, кожаный сказал Алексею Алексеевичу:

"Собирайтесь". Алексей Алексеевич поцеловал маму - ей стало плохо, дворничиха брызгала на нее из кружки, - кивнул Пете:

"Я чист перед вами, перед народом. Прощайте". Коверкотовый сказал: "Любите вы все разглагольствовать. Шагай".

- Ты веришь, что он в чем-то виноват? - спросила мама.

- Не знаю, - ответил Петя и, подумав, прибавил: - Не могу в это поверить...

- И я, - сказала мама. - Он был неплохой...

Петя промолчал, потому что за те несколько лет, что прожили они совместно с Ермолаевым, так и не определил своего к нему отношения. Вполне возможно, он был неплохой человек. Хотя душа к отчиму никогда не лежала.

Они уехали в Ростов - мама перевелась. И, будто по уговору, не касались в беседах прежней московской жизни, дачи, Ермолаева и всего, что было связано с Алексеем Алексеевичем. Но часто вечерами мама доставала его фотографию - в полувоенной форме, молодой, без плешины, улыбчивый, подолгу разглядывала.

13

Мы ехали по Белоруссии, и разговоры, естественно, вертелись вокруг нее. Хвалили природу, - дескать, милая, негромкая, голубоглазая сторонка с лесами и перелесками, с озерами и речками.

Рассказывали, как встречали нас белорусы при освобождении - букетами полевых цветов и вареной бульбой, полуголодные бабы норовили отдать последнюю, а бульба, то есть картошка, тут вкусная, рассыпчатая. Сошлись на том, что белорусский народ, и стар, и мал, боролся в партизанских отрядах, - ну, были, конечно, подлецы, предатели, полицаи, но их мало, ни одна республика, пожалуй, не сравнится с Белоруссией по массовости партизанского движения. Обсуждала, как скоро наладится житуха в этих обнищавших, истощенных, обескровленных краях, - вм ж досталось от фашистов, пожалуй, больше, чем кому-либо.

Говорили, перекуривали, поплевывали. Я молчал, но тоже курил и сплевывал. В раси-ахн-утый воро-т гимнастерки врывался

ветерок, щекотал кожу, и это было неприятно, потому что я не любил щекотки. А мама любила, балуясь со мной, маленьким, щекотать мне пятки и под мышками, я визжал, она смеялась: "Будешь ревнивым!" Неизвестно, стал ли я ревнивым. Не было повода проверить. Некого было ревновать. Разве что Эрну. Но это особый случай. Где ты, Эрыа, где, милая?

Я сидел на скамейке возле раскрытых дверей теплушки. Рядом сидели и позади стояли солдаты. Железнодорожное полотно, пыля, убегало назад, и мне помстилось: это убегает моя жизнь, убегает в прошлое, которому нет конца. Откуда у меня столь протяженное прошлое? И как это получается - не управишься сообразить, а настоящее, обернувшись прошлым, уже отходит назад. Впрочем, все это фантазия. Реальность же: солдаты сидят рядом и стоят за спиной, они постоянно в моем настоящем.

Но такие же солдаты были и в моем прошлом. Другие - и тем ие менее такие же. Солдаты, годы и города - там, позади. Ощущение: будто еду сейчас, как плыву, по минувшему, оно накоротке воскресает, становится нынешним и следом бежит вспять. Вот - проехали неподалеку от города Лиды, где началась моя армейская служба и откуда я ушел на фронт. Вот - проехали город Минск, который брала и наша дивизия, потому нашему полку и присвоено наименование Минский, полностью: 753-й Минский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова III степени стрелковый полк. Звучно? А прошлое мое никуда не убежит, ибо оно во мне.

Запутался я с этой философией, аж в висках заломило. Или это оттого, что неотрывно смотрю на полотно? Глаза слезятся, голова болит.

Эшелон обогнул посеченный, кой-где усохлый ельник, бросовое льняное поле, снова ельник, и на косогоре увиделась девчушка лет пяти. Вокруг не было ни души, казалось, что девочка здесь совершенно одна. Худущая, в кургузом, рваном платье, она левой рукой держалась за куст, а правой махала эшелону, и на ее бледном сморщенном личике застыло серьезное, строгое выражение.

Солдаты подталкивали друг друга локтями, улыбались, кричали ей шутливое и ласковое, махали руками и пилотками.

Она всерьез нам желала благополучного пути, мы ей - счастливой жизни, хотя и не так серьезно. Несоответствие? Отчего ж?

Иногда дети мудрей взрослых. Ну, пусть не мудрей, просто непосредственней и чище. Я махал дольше всех, пока был виден косогор. Ах ты воробей! Вырастай и становись счастливой-

счастливой.

Что ты вынесла за войну? Что вынесли все эти дети, на которых я нагляделся на фронте? Вырастайте, взрослейте, может, хоть вы будете жить в мире и счастье.

Постукивают колеса, мельтешат столбы, кусты и деревья.

И сдается: все это очень уж давно. За спиной слова: "Вот когда кончится война..." - голос Вадика Нестерова. Окончания фразы не слышу, задумываюсь. "Когда кончится война" - это были самые ходячие на фронте слова. Война кончилась. Что теперь? Видимо, Нестеров повторяет их применительно к новой, японской войне. Так она еще и не начиналась!

Жалею, что не дослушал окончания его фразы, достаю очередную сигарету, закуриваю. Сигареты еще из трофейных. Вскоре трофеи иссякнут, перейдем на отечественные папироски, а то и на махру. Что бы ни курить, лишь бы курить. Интересно, что курят японцы? У них будем разживаться трофеями.

И я усмехаюсь повороту своих мыслей.

Солнце опускалось, на небе вспухали оранжевые полосы, его голубизна темнела, темень скапливалась и между деревьями, и в кустах. Воздух посвежел, и острей стали запахи цветов, травы, пыли и дымка. На войне я не присматривался к природе, а нынче словно заново открываю, вглядываюсь в ее изменчивый и повторяющийся лпк. Не любуюсь ею, просто ощущаю: она жнвая. И я живой!

Темень неровно дышала и будто засасывала в себя эшелон.

Красными снопами вылетали искры из паровозной трубы, красным и зеленым оком глазели семафоры, затеплились белесые огни в теплушечных дверях, в деревеньках, голубая безмятежная луна покачивалась, как на волнах.

На остановке принесли термосы с пшенкой и чаем. Приевшаяся на фронте и в добавление подгорелая каша показалась, однако, вкусной, я с аппетитом подчистил котелок. Выпил кружку крепчайшего, ароматного чаю. Закурил. Посвистал некий мотивчик. Ефрейтор Свиридов прислушался ко мне и сказал:

- Товарищ старшина, душа жаждает - дайте аккордеончик!

- Сказано, завтра, - значит, завтра.

- Исказано - исделано? - круто меняя тон, раздражаясь и кривляясь, спросил Свиридов.

- Так точно, товарищ ефрейтор! - Старшина Колбаковский выдержан, невозмутим, хотя очевидно, что он подтрунивает над Свиридовым.

У меня настолько хорошее настроение, что я даже готов поддержать просьбу Свиридова: пусть играет и поет свои танго,

не страшно. Впрочем, я промолчал, потому что Свиридов с хряском зевнул и вымолвил:

- Ох, и жмот вы, товарищ старшина!

Я строго глянул на него, а Колбаковский, не теряя выдержки, спросил:

- Не по "губе" ль соскучился?

- По музыке!

- Доживешь до завтрева и получишь.

- Доживу, доживу, - сказал Свиридов и опять с хрустом зевнул.

Ну что ж, подумал я, разумеется, доживем, никуда не денемся. Разве что железнодорожная катастрофа. Но несчастные случаи редки, а "лесных братьев" тут нет и не будет. Это на фронте мы не загадывали, доживем ли до завтра. Теперь - иной оборот.

Доживем!

Я постоял и посидел у дверей, выпил еще кружку чаю, искурил сигарету и залез наверх. И сразу - удивительное состояние. Словно я не забрался на армейские нары, а вознесся на небеса, в рай, такая кротость и благостность охватили меня. Словно я ангел и все люди ангелы.

Это продолжалось минут пять, а потом прошло, и я понял: валяюсь на жестких, грубо сколоченных досках, мучаюсь желанием и тоской по Эрне. Я вспоминал угловатые, неуклюжие реверансы, медно-красные завитушки, пушок над припухлой губой, слабую, незащищенную шею, покорные, печальные глаза, и как она мне говорила: "Петья", и как гортанно, клокочуще смеялась. - в добрые минуты она смеялась, но никогда у нее не было улыбки.

Затем желание затухло, а тоска все сдавливала мне горло костлявыми, липкими пальцами, и я становился чище, отрешенней, как бы отходя в потусторонний мир. Но костлявое и липкое, не задушив, отпустило. Стало просто грустно. Никогда я больше не увижусь с Эрной и не скажу ей, что люблю ее. Почему же не сказал этого, когда были вместе? Почему отзывался так пренебрежительно - "кручу любовь"? Ах, как часто и бездумно мы иронизируем над серьезным, снижаем высокое - из-за напускного молодечества, из-за боязни показаться смешными, высокопарными, из-за элементарной дури, наконец. Конечно, я не уверен со всей определенностью, но сейчас кажется: то, что у меня случилось с Эрной, было любовью. Или могло быть ею. Будь я чуточку вдумчивей, будь не столь хмельным от мысли: остался жив! Подумалось: чем больше пройдет времени, тем ясней станет осознанность - все-таки это была любовь, пусть и не такая, о

какой читалось в книгах. Покуда жив, так буду думать. И затем в голову пришло: "Я жив, жив! Я думаю - следовательно, я существую, - какой-то философ изрек нечто подобное, какой, однако?" И, не припомнив, задремал.

Утром меня вызвали к комбату. Поезд стоял на разъезде - слепленная из листов обгорелого железа сторожка, старуха стрелочница с подвязанной раздутой щекой, вислоухая дворняга у ее ног, - паровоз пыхтел, отдуваясь после ночного бега, в низинах кольцами папиросного дыма слоился туман, на мокрых ветвях и траве вспыхивала роса. За бугром стучал трактор, и подумалось:

трудяга, в этакую-то рань... Ну, а зачем нас к комбату так рано волокут? Надо же - до завтрака. Это худо, ибо натощак начальство злей. Правда, подчиненные тоже.

Я трушу за посыльным в полнейшем одиночестве, слегка смущаясь: остальные офицеры уже в штабном вагоне или же замешкались? На разъезде не помешкаешь, тронется поезд - и останешься куковать. Но не могли же они так опередить меня? Позевывающий и смущенный, по шпалам чапает один лейтенант Глушков - если не считать посыльного, узкоплечего солдатика в длиннополой гимнастерке.

Не было ротных и взводных и в штабном вагоне, куда я поднялся вслед за посыльным. Будто дождавшись, когда я залезу в штабной вагон, поезд тронул с места. На огороженных плащ-палатками нарах храпели и свиристели. Сонное царство, посреди которого бодрствовали комбат и замполит Трушин. По их суровым и, пожалуй, алчным взорам я догадался, что лейтенант Глушков предназначен на закуску. Перед завтраком, для возбуждения аппетита. Но за что?

- Садись, садись, Глушков, побеседуем, - сказал комбат, когда я доложил, что прибыл.

Я сел по одну сторону стола, по другую - комбат и Трушин.

Показалось: я перед судом. Ну, не суд, но врежут, предчувствую.

Комбат сказал:

- Что ж получается, Глушков? Скрываешь чепе? Покрываешь злостных нарушителей воинской дисциплины?

Скрываешь. Покрываешь. Понятно: Головастиков. Я смотрю на стянутое рубцами и потому искаженное лицо капитана, на красивые, удлиненные черты Трушина и молчу.

- Нечего сказать, товарищ Глушков? А сказать надо. Не для оправданий. Для честного признания ошибки. - Это Трушин, его сильный и мягкий, богатый интонациями голос.

- Что за чепе, товарищ капитан? Что за ошибка, товарищ

гвардии старший лейтенант? В чем я провинился, не понимаю... - вежливо мямлю я, хитря и выкручиваясь. На людях я не пытаюсь дерзить Трушину, и он неизменно корректен. Все по правилам приличия. Все по уставу.

Комбат буравил меня маленькими, без ресниц глазами, Трушин покачивал массивной, изящно посаженной головой, как бы говоря: ай-я-яй, как не стыдно ловчить, вы же прекрасно знаете, товарищ Глушков, о чем речь. А потом они, перебивая и дополняя друг друга, выложили насчет Головастикова и моего гнилого либерализма. Подытожил комбат:

- Ежели мы будем так миндальничать, то в Мирных условиях, да еще при передислокации, разболтаем личный состав вдрызг.

Пойдут пьянки, за ними - самоволки. Растеряем людей! Головастикова ты зря не посадил на "губу". Напоминаю: она у нас в эшелоне есть. Покамест пустует, но я не думаю, что так будет до конца пути. Откровенно говоря, я б тебя туда засадил не без удовольствия - заместо Головастикова. Чтоб впредь неповадно было миндальничать... Ладно, объявляю выговор и предупреждаю: ни один проступок не оставлять без наказания. Втемяшилось, Глушков?

- Втемяшилось, товарищ капитан.

- Изволишь иронизировать?

- Нет.

- А чего тянешь через губу?

- Я говорю нормально, товарищ капитан.

Я и впрямь не иронизировал, старался говорить нормально, а губы кривились - это факт. Не с раздражения, не с обиды - с чего-то еще. Я глядел на комбата и замполита, они глядели на меня. Капитан чихнул, утерся носовым платком. Трушин постучал по столу согнутыми пальцами, будто призывая кого-то к порядку и тишине. За плащ-палаткой сонно, неразборчиво выругались, сонно же простонали. Комбат сказал:

- Втемяшь, Глушков: первосущная задача - довезти до пункта назначения весь личный состав, до единого человека. Иначе с нас головы посымают.

- И партбилеты выложим, - сказал Трушин.

Я промолчал, и они умолкли. Состав тряхнуло, и он покатил, пабирая разбег. Поскольку поезд пошел, можно было продолжать драконить меня - до следующей остановки, - однако и комбат, и Трушин молчали. Капитан зевнул, встал и, прихрамывая, скрылся за плащ-палаткой - мелькнула его атлетическая, рюмочкой, фигура, со спины красавец мужчина. А я почему-то подумал: "Как мы все многословны, где достаточно слова, закатываем речугу".

Подумал и представил себе, как водопад нужных и ненужных

слов низвергается на людей и разбрасывает их, расшвыривает, отдаляет друг от друга. Могучий, непреоборимый словесный водопад, дробящий людей на отдельно взятых человеков. Разделяющий их. И, подумав об этом и представив это, я почувствовал: комбат с Трушиным, в сущности, чужие мне, да и я для них чужой. Наверно, это так. Хотя раньше таких мыслей у меня никогда не возникало. Но раньше - то была война. Нынче - мир. Который на полпути к новой войне. Ну, может быть, не отчужденность наступила, но и близости прежней, фронтового товарищества нету между мной и теми, кто едет в штабном вагоне, и в вагонах моей роты, и в остальных вагонах. Один ли я испытываю такое чувство или другие тоже?

Характерный пример этой отчужденности - случай с Головастпковым. Полез на офицера с кулаками. Разве подобное было возможно на фронте? Сомневаюсь, весьма сомневаюсь. Я вспомнил о Головастикове, и во мне шевельнулась давешняя обида.

Из-за Головастикова, хмыря болотного, сыр-бор разгорелся, и я переживаю, видя в этой истории подтверждение моих сомнений.

Сомнений в том, сохранится ли после войны фронтовое братство, когда все были за одного и каждый за всех. Или же в мирные будни наступят для нас иные законы?

- Да, Петро, - сказал Трушин, понизив голос, - наломал ты дров. И еще выкручиваешься...

- Иди ты, - ответил я шепотом и оглянулся. - Мало ты меня морочил, так и комбата пристегнул.

- И командира полка пристегнул бы, жаль, он не в нашем эшелоне.

- Ну и выслуживайся, хрен моржовый.

- А вот выражаться, Петро, не стоит. Руганью ты унижаешь не меня, а себя. Давай потолкуем по-человечески.

Толковать? Целый перегон? Опять о Головастикове? Увольте.

Но Трушин заговорил будто сам с собой и отвлеченно - вообще о честности и принципиальности, вообще о необходимости твердой руки в поддержании порядка и дисциплины. Я слушал его невнимательно, думал о том, что Трушин едет теперь не в теплушке моего второго взвода, а в разных - то в штабной, то в третьей роте, то у минометчиков, то с повозочными. Видимся мы с ним реже, вот он, должно быть, и ухватился за возможность покалякать со мной. Уж это мы, российские интеллигенты, обожаем - поизливаться о высоких и не очень высоких материях.

Впрочем, разве я интеллигент? Несостоявшийся студентик. Солдат, вояка. Хотя иной раз и не прочь пофилософствовать о том

о сем. Сейчас - неохота.

Однако Трушин втянул-таки меня в разговор. Произнеся какую-то тираду, он спросил:

- Что ты на это скажешь?

- Я тебя плохо слушал.

Тогда он повторил:

- Бытует мнение: честность - врожденное свойство человека.

Я не согласен с этим. Мое мнение: честность, как и прочие моральные качества, приобретается человеком в процессе его воспитания. Все зависит от воспитания. Можно воспитать подлеца, можно - подвижника. То есть обстоятельства формируют личность. Ты как считаешь?

Не хотелось ввязываться в беседу. Тем не менее я сказал:

- Видишь ли, во-первых, честность всегда носит конкретный, социальный характер. То, что честно для буржуазии, бесчестно для пролетариата, и наоборот.

И подумал: "Только что посылал Трушина подальше, а сейчас сплошное наукообразие. Богатый словарь у товарища Глушкова!"

- Ну, а во-вторых? Что во-вторых?

"Подзуживает на собеседование", - подумал я и сказал:

- Еще не окончено "во-первых"... По-моему, мораль насквозь классова. К примеру, у фашистов своя мораль, у нас своя. А вовторых, нельзя все сваливать на обстоятельства. Человек на то и человек, чтоб влиять на них. В определенной степени, разумеется.

- Что значит определенная степень? Чем определяется?

Чем - этого я не знал. Трушин глубокомысленно произнес:

- Ты, пожалуй, прав. В том отношении, что человек и обстоятельства взаимосвязаны, взаимно влияют. Но нет правила без исключений: подчас человек становится хозяином своей судьбы, подчас - рабом обстоятельств. Диалектика! Вернемся, однако, к проблеме честности, порядочности, в конечном счете - принципиальности. С учетом того, что это классовая категория. Я так считаю: если человек честен, принципиален, на него во всем и всегда можно положиться, остальные его качества - это как бы производные от того, основного...

У меня разболелась голова - так бывает при умных разговорах натощак. Хотя, каюсь, неравнодушен к ним, как и наш замполит. Я потер виски, лоб, затылок.

Трушин начал развивать мысль о том, что важно быть честным и перед обществом, и перед собой, но поезд притормаживал, и я встал, прощально козырнул. Спрыгнул наземь и затрусил вспять к своему вагону. Эшелон стоял в лугах, подбеленных росой. В росной траве темнел прерывистый след

человечий ли.

конский ли. У насыпи дышало озерко, в нем просматривались стебли пузырников - бурых водорослей. Над озерком махало крылами, булгачилось воронье.

Завтрак запаздывал. Двери теплушек были закрыты. Дрыхли славяне. А меня начальство с утра пропесочило. Натощак это особенно вредно.

Эшелон без гудка тронулся. Я припустил, догнал теплушку - дверь закрыта, затарабанил кулаком - ни ответа, ни привета, отстал - и эта теплушка заперта, и следующая. А колеса стучали уже угрожающе часто. Эшелон ускользал от меня, было ощущение - вагоны проскальзывают между пальцами, - нелепое, конечно. Не без усилий вскарабкался я на подножку тормозной площадки. Вообще-то мог бы отстать. Перспективка: остаться в безлюдных лугах, куковать вдали от жилья.

На тормозной площадке гуляли сквозняки, и меня в гимнастерочке быстро просифоыило. Я забился в уголок, сел, обхватив колени. Кожа замурашилась. Зазнобило. Дьявольщина, обидно мерзнуть, когда лето на дворе. Правда, чувствовать начало июня лучше в теплушке, нежели на простреливаемой сквозняком площадке.

Брр!

Сыростью и гнилью дохнули ржавые, вспученные болота. За болотами хилый лес и еще более хилый подлесок. На взгорке - захлестнутое бурьяном погорелище. Стародавняя, обвалившаяся траншея прерывалась у раздолбанного, в ухабах, проселка. Трапшея наша. У немецкой острые углы, зигзаги, а тут колена плавные. Да и стрелковые ячейки, пулеметные площадки обращены на запад. Когда-то братья славяне держали оборону. Вон развороченная землянка, вон автомобильный скат, вон каска, полная воды, и вон вторая каска - в ней, как в горшке, растут цветы и травка, - вероятно, в каску нанесло земли.

Ах ты, боже мой, в таких же вот траншеях в разных местностях и в разные годы держал оборону и я, ныне лейтенант Петр Глушков! Было, было. И был я сержантом, еще раньше - солдатом. Теперь надо дослуживаться до генерала.

Задергалось левое верхнее веко - это всегда меня раздражает.

Прижал его пальцем, чтобы успокоить, и подумал: "Так глаз будет дергаться всю жизнь, а может, и посильней с годами-то... Вот, допустим, стукнет мпе полсотни, это когда будет? В семьдесят первом году..."

И я представил себя пятидесятилетним: передергивает веко и лицевой мускул, кожа дряблая, иссеченная морщинами, мешки в подглазьях, глаза слинявшие, волосы седые, едва прикрывающие

череп, плечи сгорблены, брюшко, одышка, кашель. Одет небрежно, не по моде: где уж следить за ее капризами, ежели тебе полсотни? Представил: словно брожу по такой вот обороне и ничего не могу узнать - все изменилось за тридцать лет. Да и я изменился: ведь на календаре семьдесят первый. Славно стою над порушенной, залитой дождями, с оползшим бруствером траншеей, гляжу в некое волшебное зеркало, не узнавая себя, а за спиной бесплотный, потусторонний голос: "Обмывали вчера новоселье, трехкомнатная квартира, все удобства, от центра полчаса езды, ну, подпаддали, наутро затылок болит, тяжелый, подташнивает, словом, гипертония", - и я думаю: "В наши времена это называлось похмельем". Я осязал: в лицо и затылок мне дышит отвратительная старость та, что не лучше смерти.

Вагон скрипел, звякали буферные тарелки. На холодочке я посинел, продрог и трясся, как схваченный за уши заяц. Будто поддразнивая меня, выползшее из болотца солнце светило эшелону в лоб, а тормозная площадка в тени, тут еще, казалось, витал ночной сумрак. Никакого сумрака, конечно, нет, но и солнышко сюда не достает.

Продрогший и злющий, дождался я остановки, резво добежал до своей теплушки. Она была открыта, и в дверях стоял в несвежей нижней рубахе ординарец Драчев - поеживался, почесывался, курил. Увидев меня, Драчев подал руку, чтобы помочь влезть.

Я не принял руки, залез сам. Драчев смущенно улыбнулся, спросил:

- Товарищ лейтенант, бриться будете?

- Нет, - ответил я, - буду отращивать бороду.

Ординарец улыбнулся еще смущенней, неизвестно для чего завязал тесемки на груди и сказал с убежденностью:

- Борода вам не личит, товарищ лейтенант.

Не доходит ирония до моего ординарца. С ним нужно попроще.

И злиться поменьше. Я сказал:

- Не личит, - значит, пес с ней, с бородой. Готовь бритье.

За завтраком я сидел напротив Головастикова и старался не смотреть на него. Я уперся взглядом в котелок и слушал, как сопит и чавкает Головастиков. И остальные сопели и чавкали.

А перед завтраком мы с Колбаковским выпили на нарах по полкружки горячительного. Не удержался лейтенант Глушков, нарушил свое обещание. Хлебнул не так для сугрева, как для поднятия настроения. Увы и ах, вино не развеселило меня.

И я вспомнил Авдеича, пулеметчика, второго номера. Ему было за пятьдесят, он был кривоногий, совершенно лысый, из

уважения к возрасту его звали по отчеству - Авдеич, так обращался к нему и я. Авдеич был старенький, но выносливый, двужильный, пулеметик таскал за милую душу. И любил выматериться, курнуть, выпить. Заложив за воротник наркомовские сто граммов, Авдеич оставался неизменно мрачным, объясняя это так: "Старый я уже пень, потому вино и не веселит. А по вьюности тяпнешь - и полным-полпа коробушка веселием..." Не остарел ли я? Душой по крайней мере?

Еще про Авдеича. Перекидывался лишь в подкидного дурака, а говорил с важностью: "В наше время увлекались... этим... кингом или... как там его... преферансом, культурные, умственные игры..." Забавный старикан. А вот я в карты вообще не играю.

Ни в умственный преферанс, нп в элементарное очко либо в простого дурака. Из принципа.

После завтрака я угрелся, перестал дрожать. Но внутри будто все смерзлось, сердце будто заморозили, и оно не оттаивало.

Я старался не замечать людей, которые были мне - как ни крути - близки. Были. А сейчас я к ним равнодушен, если не сказать большего. В эти минуты я чувствовал: мне ближе те, навечно ушедшие в землю, отдавшие на войне свои жизни. Все мы перед ними в неоплатном долгу. Мы еще можем стать лучше либо хуже, они - никогда. На их косточках построено наше нынешнее и наше будущее.

Я курил перед раскрытой дверью, жмурился под теплыми солнечными лучамп и думал, что было б здорово, если бы поезд умчал меня - во времени - за черту, обозначавшую двадцать второе нюня. Чтоб я очутился в мирных годах. Чтоб до войны был еще какой-то срок. Чтоб я не был взрослым.

Думал так, ибо понимал: это хорошо, что я уцелел, я буду жить и буду стремиться почище, подостойней прожить отмеренные мне годы. Но уже никогда не стану таким, каким был до войны. Что-то утеряно во мне самом и в нашей жизни. Безвозвратно утеряно.

От сознания этого заныло сердце. Значит, оно не совсем заледенело, значит, оно живое. Тем лучше. Или хуже?

Кружились леса и опушки. Убегали назад шпалы и столбики. Мчал эшелон только не в прежнее, довоенное, а в новое, послевоенное. Которое опять же оборачивалось предвоенным.

И вдруг снова представил себе Эрну - пушок над верхней губой, нежная, детская шея, округлые, не детские коленки. И сердце у меня заныло посильней. Ах, немочка, целовавшая мои руки!

Чего доброго, выяснится, что я любил тебя не шутя. Этого еще не хватало. И ты любила меня не шутя. И это тоже ни к чему.

Ну, скажите, зачем все это: она любила, я любил, а разлучились навечно? Чтобы вспоминать друг о друге с саднящим сердцем?

Самое раннее воспоминание о себе: на кухне хлебнул из консервной банки керосину. Испуганная и рассерженная мама, сующая мне под нос чашку с молоком:

- Пей, негодник! А то отравишься... Пей!

Я не хочу пить молока, оно кажется хуже керосина. Мама сердится, насильно льет в рот. Я реву. Мне три года.

14

Эшелон подходил к Смоленску, и я волновался. Внешне ничем этого не проявлял - не вскакивал, не смолил сигарету за сигаретой, не краснел и не бледнел. Но точно что-то накатывало на меня из моего же нутра и никак не могло материализоваться.

Смоленск, смолил, смола... Она, смола, янтарными потеками светилась на стволах сосен и елей, вплотную подступавших к железнодорожному полотну. В детстве я жевал эту смолу, растягивал, щелкал ею. Как и все пацаны. Сосняки и ельники были старолетние, густые, березняки пожиже, но с очень плотной сизо-белой корой на стволах, помеченных темными штришками - как насечка по серебру.

Колея шла изволоком по всхолмленной равнине, холмов было много - в хвойных лесах, в березниках. Эшелон будто продирался сквозь урочища. И я поторапливал его: вырывайся на простор, на котором где-то там город Смоленск и река Днепр.

Леса разредились, перемежаясь льняными полями, брошенными и возделанными. Мы проехали деревушку со вновь отстроенными избами под дранкой и камышом, проехали льнозавод с кучами прошлогодней тресты. Холмы расстилались окрест - синие, в знойной дымке. Смоленщина по утрам и вечерам дышала туманами, днем - испарениями, будто потела к выздоровлению.

В часе езды до Смоленска постояли на разъезде. Народ высыпал из теплушек: валялись на травке, искали землянику. Я не сошел: сверху, от двери, город уже виднелся в мареве - нечто белое, огромное, вознесенное на холмы, которые в свою очередь вознесены над прочими холмами; в этом белом, огромном нет-нет да и вспыхивало золотое - церковные луковки. ЧЪго-чего, а церквей в Смоленске в избытке, есть где отмолить грехи или помянуть усопших. Вот только поразбивали немцы соборы, ничего не пощадили в Смоленске, не пощадили и храмы. И никого не щадили.

Ну, это особый разговор.

Из-за куста, где нежатся на траве, голоса:

- Э-их, бабу бы сюда! Затискал бы, замиловал...

- Да-а, бабец не помешала б, за войну весь в угрях от безиабья!

- На безбабье и Райка баба, точно?

- Точно!

Оба засмеялись, а мне стало жаль Райку, о которой упомянули. Это была повариха в нашем батальоне - лет под тридцать, костлявая, большеносая, волосы паклей. Она не была шлюхой, но спали с ней многие: женщин на фронте было маловато. Избалованная мужским вниманием, она выламывалась, закатывала истерики, не добившиеся от нее расположения бранились: "Капризуля. Рылом страшна, как смерть. На безрыбье и рак рыба, на безбабье и Райка баба. После войны кто на нее посмотрит?" Она слышала такие отзывы, горько рыдала, и тогда делалось ясно, что она не распутница, просто ей хотелось ласки - кого-то одного.

Но одного не было, были многие - и, считай, никого. Действительно, после войны кому она нужна, Райка? А мы, мужики, все-таки порядочные скоты. Это, так сказать, для справки.

К Смоленску мы подъезжали с запада, брали же его когда-то с востока. Что там - когда-то! Брали в сентябре сорок третьего, сколько времени назад? Более полутора лет. а именно - двадцать месяцев. Ого! А кажется, это было недавно - вот так же белел на приднепровских холмах город Смоленск, но тогда над ним висел дым пожарищ. Город горел, подожженный бомбами, снарядами, минами, а осень поджигала по округе листья берез, осин и рябин.

Дивизия шла в походной колонне лесом и полем, по пятам преследуя отступавших немцев. К Днепру, к Днепру! Пыль клубилась над проселками, на асфальтированном шоссе зияли внушительные воронки - авиация потрудилась, не разберешь чья.

На переезде воронки от полутонных бомб, остовы сгоревших автомашин, перевернутый танк; убитые битюги со вспученными животами и в постромках; трупы вразброс, неприбранные, и трупы в бумажных пакетах, рядами, - немцы драпанули, переложив захоронение на нас, - отвратно шибало гарью, жженой резиной, разложением; на взлобке горела дубовая роща, осень тут была ни при чем.

Наш полк вышел к Днепру с юго-востока. Догорали слободские домишки, от огня жухли и сворачивались листья яблонь, груш, вишен по овражным садам. В лопухах потерянно мяукала кошка, за оврагом выл пес. Снаряды рвались в слободе,

перелетая через Днепр. Река здесь, в верховьях, была неширокая, метров шестьдесят, это не тот Днепр-батюшка, что на Украине, в низовьях.

Но и шестьдесят метров преодолеть под обстрелом - не прогулка при луне.

А луна была, и были ракеты, которые пускали немцы, и мы кляли этот лунно-ракетный свет, потому что нам нужна была темнота. Мы увидели Днепр под вечер: по коричневатой воде скользили лучи заходящего солнца, ветер рябил ее, гнал эту рябь от берега к берегу, вверх и вниз по неторопкому, почти неприметному течению, крутил каруселью на месте. Ветер был пыльный, душный, вода холодная, осенняя.

Город лежал за рекой в дыму и пламени; в бинокль укруппенпо виделось: правый берег, истоптанный, в тропинках вдоль и поперек, изрезанный оврагами, у подножия холмов сады, за садами, на покатых склонах, дома, за домами - кремлевская степа, на которой росли березы, за стеной, еще выше, трехэтажные здания, купола церквей. Из садов били минометы, с крепостной стены - пушки. Налетали "мессершмитты", пытались бомбить и обстреливать наш берег, их отгоняли "ястребки".

Я маскировался в лозняке, в рогозе, разглядывал в бинокль правобережье и думал, как будем форсировать Днепр. Мост был взорван и сожжен, из воды, как черные кости, торчали столбы, вокруг них бурлило - течение не столь уже тихое. На отмель накатывала, шлепая, мелкая волна, заливала отпечатки птичьих и собачьих лап, сапог, колес. Я опустил бинокль и скомандовал:

- Всем искать плавсредства. Лодки, бочки, бревна, доски!

Помкомвзвода, отвечаешь за плот. Разойдись!

Солдаты разбрелись по берегу, по жестяно шумящей осоке, по ивняку. Рядом с моими шуровали бойцы из взвода Вити Сырцова, а сам дружок мой закадычный восседал на пеньке и перематывал портянки, пренебрегая снарядами, минами и пулеметными очередями, которыми угощали пас из-за Днепра. И это была не казовая храбрость, не бравада - это было естественное поведение Вити Сырцова, - уж я-то знал его характер. В нем все было естественно, ни намека на позу, - это определяло Витю. То, что он говорил и делал, - искренне, от души.

Я остановился возле него и сказал:

- Успеем подготовить плавсредства к двадцати четырем часам? Сроки сжатые.

Витя беспечно махнул рукой:

- Успеем. Как штык,

Он встал, потопал сапогами, проверяя, как обернул портянки.

Остался доволен. Подмигнул мне:

- Ну что? Даешь Смоленск?

- Даешь, - ответил я как-то машинально.

С этим кличем шагали мы по сорок километров в сутки, разбивая обувку, натирая волдыри, сдыхая от жажды и усталости, суля Гитлеру всяческие кары. А как не сулить, коли из-за него, разбойника, все наши мучения? Пыль хрустела на зубах, саднили растертые ступни, ремнп врезались в тело. Летали в посвежевшем воздухе, цеплялись за ветки и штыки последние паутинки бабьего лета, ночью выпадала обильная роса. Утром, если шли бездорожно, по траве, сапоги и ботинки были мокрые. Мы так уходились, так намаялись, что спотыкались на каждом шагу.

Спотыкливыми стали и лошади, и, казалось, машины. Дошли!

Вот он, Смоленск. До него каких-нибудь шестьдесят метров. Переберись через реку - и считай, ты в Смоленске. Перебраться - задачка.

Немцы усиливали обстрел. Мины падали на отмели, снаряды - подальше, в ивняке и в слободке, пули пунктирили воду изогнутыми линиями, будто очереди сносило ветерком, сбривали ветки.

Я невольно пригибался, Витя Сырцов спокойненько покуривал, сбивал пепел и насвистывал.

Я глядел на него, на багровый закат, на кусты - по ближней ветке ползла гусеница, подбирая задние ножки к передним и затем вытягивая тело, как бы измеряя пядью: не зря эта гусеница называется пяденицей. Она была жирная, и мне стало противно.

Некстати подумал: гусеницы бывают летом, а эта как-то дотянула до сентября - аномалия; впрочем, война и природу в чем-то нарушила.

Опасливо косясь на правый берег, два солдата катили бревно, оно заворачивало то одним, то другим концом, солдаты ворчали на бревно и друг на друга. Из кустов ясный, как на духу, тенорок:

- Доложу я вам: присуха моя девка-огонь, без меня навряд ли там выдержит, так я прощу ей грех-то...

В ответ два голоса одновременно - баритон и бас, - с расстановочкой, с издевочкой:

- Святоша ты, Пичугин!

- Доживи сперва до окончания войны, после прощай! Добряк-самоучка...

К Сырцову подошел его помкомвзвода, поприветствовав, сказал:

- А ж пару плотов вытягпем, товарищ младший лейтенант.

Первый уже закругляем.

Мой помкомвзвода отдал мне честь, попросил разрешения обратиться и лишь затем доложил, что с нашим плотом. Но я не

преминул выговорить ему:

- Пятерик подносишь к головному убору - не забывай пальцы сжимать, а то распустил, как веер...

Тон у меня ворчливый, недовольный. Даже в сумерках видно, как покраснел сержант.

- Виноват, товарищ младший лейтенант. Исправлюсь.

Дежурная и частенько выручающая на фронте фраза на меня не действует, я добавляю с еще большей ворчливостью: "Давно пора. Не рядовой же, а помощник командира взвода..." Понимаю, что это придирки по мелочам и не к месту. Но себя не пересилить.

Понимаю также: Витя Сырцов никогда не мелочится, если уж что-то делает, то по-крупному. В этом, наверное, вся разница между нами. В остальном мы схожи. Может, поэтому и дружим. Хотя оговорюсь: схожи-то мы схожи, но в общем-то мне далековато до Вити. Во всех отношениях.

Я нервничал. Неотвратимо темнело, и темноту эту прожигали раскаленные строчки трассирующих пуль, выедали огнистые разрывы. От взрывов, от зарева пожаров вода стала еще черней. Неуютственно тонуть в такой. Впрочем, и в более светлую, в голубую или синюю, также не тянет. Ежели предстоит тонуть. А утонешь, ежели ранят. Невредимый доплывешь: я умею плавать. Правда, водичка бодрящая, сентябрьская - парок курится. Окунаться не ко времени.

Как пройдет форсирование? Не первое оно у меня. И не последнее, если не приголубит пуля или осколок. Точит тревога.

Въедливей, чем обычно. А надо бы радоваться: дотопали до Днепра, на той стороне древний град Смоленск! Радуюсь как по инерции, тревожусь обостренно, осознанно.

Вызвали к ротному. Он пристроился в ровике и писал на блокпотном листе, подложив планшетку. Я подумал, что сочиняется донесение, но ротный сказал:

- Письмецо. Дочке с жинкой. В Армавир. Они у меня оккупацию пережили. В станицу уходили, прятались, голодали-холодали. Красавицы они у меня. Писаные! Особливо дочка. Бывало, прогуливаемся с ней по улице, а мы любили вдвоем, под ручку, шутим, смеемся, - все оглядываются. Предполагают влюбленная парочка. Девахи оглядывают нас заносчиво: подумаешь, краля, мы не хуже... Зрелые бабы - любопытничая: что за пара, он вроде постарше? Старухи - ласково, с пониманием: любитесь, милые, и мы в свои годы любились. Дочку эти взгляды смущали, я поперву сердился: "Поглядите у меня!" - затем перестал, даже доволен был: принимают за кавалера. Я ж пацанистый на вид...

Это точно: ротному под сорок, но ни сединки в чубе, на лице пи морщинки, розовощекий, стройный, спортивный. Я спросил, не знаю для чего:

- Сколько дочери-то?

- Девятнадцать, - сказал ротный. - Тебе в невесты годится.

Сватай. После войны.

- Сосватаю, - сказал я.

Мы с Сырцовым жались в ровике, больше тут места не было, и командир третьего взвода, сержант, топтался наверху. Ротный показал на него зажатым в пальцах огрызком карандаша:

- А то с Григорьевым породнимся. Или с Сырцовым? Как, Сырцов?

- С начальством родственные отношения не помешают, - невозмутимо сказал Витя, а сержант глуповато засмеялся.

- Породнимся. Ежели будете оказывать тестю почтение, - сказал ротный. А вообще, до чего вы все молодые, ужас!

Он помуслил кончик карандаша, однако писать больше не стал, сунул карандаш и листок в планшет.

- Товарищи офицеры! - Запнулся, сообразив, что командир третьего взвода не офицер, поправился: - Товарищи командиры, хочу обратить внимание на следующее...

Ротный говорил о световой и звуковой маскировке, о скрытности при переправе, о взаимодействии взводов при высадке, о расширении плацдарма, который мы захватим, и о прочем предстоящем нам в эту ночь. Он говорил, не повышая голоса, а снаряды вздымали груды земли и водяные столбы, подвывали немецкие самолеты, сбрасывая осветительные ракеты на парашютиках колеблющееся мертвенное свечение.

Копошась в темноте, люди связывали бревна и бочки кусками проволоки. Я не выдержал, подскочил к ним; упершись коленом, стягивал проволокой концы бревен; когда не хватило проволоки, побежал в лозняк за прутьями, разорвал на лоскуты,свою плащпалатку. Ротный старшина укорил:

- Имущество казенное, младший лейтенант.

А его укорил Витя Сырцов:

- Не придирайся, старшина, Глушков же для обшей пользы...

- Для общей? - ухмыльнулся старшина. - И о личной пущаи пекется: каково будет осенью без плащ-палатки?

Из тыла появился ротный:

- Как с плотами? Нажать, нажать! Я от комбата, через час переправа...

Через час! Я поднял голову - луна, звезды и ракеты на парашютиках. Иллюминация! Славяне стреляют из винтовок и автоматов по парашютикам, сбивают. Но луну и звезды не

собьешь.

Вверху воют самолеты. Скоро начнется. Да нет, началось: ниже по течению, на соседнем участке, вовсю замолотили пушки - и на нашем, и на противоположном берегу. Вспышки выстрелов и разрывов кромсали, кровавили ночь. Лучи прожекторов шарили, схлестывались друг с другом, переплетались, как будто стягиваясь в узлы.

Потом огневой бой загудел выше по течению.

- Соседи переправляются! - прокричал ротный. - А мы копаемся. Пошевеливайся, гвардейская непромокаемая!

Гвардейская - всуе, что непромокаемы - соответствует. Не промокнем и при форсировании Днепра. Даешь Днепр, даешь Смоленск, мать твою!.. Зверея, я вторично матюкнулся и перебросил автомат на грудь.

Несколько снарядов враз упало неподалеку от береговой кромки. Люди забегали, пригибаясь. И я побежал к воде. В лозняке пронзительный, беспамятный вопль раненого.

Так, под снарядами, и отчалили. Увидев, как расширяется полоса воды между берегом и плотом, я успокоился. Плывем. Теперь назад хода нет. Только вперед. А там будь что будет. Не так!

Переправиться бы благополучно. Не растерять бы личный состав на берегу. Управлять взводом. И чтоб сержанты управляли отделениями. Не дай бог, разбредемся кто куда или собъемся в кучу, как стадо. Нужно развернуться в цепь - ив атаку на вражескую траншею. На миг ожило воспоминание: шли в наступление, очередью скосило солдата-узбека, тогда было пополнение из Ташкента и Ферганы, к убитому сбежались остальные узбеки, лалакают по-своему, плачут, а немцы по этой куче - миной. Нет, гуртоваться в атаке никак нельзя, надо рассредоточиться.

Береговые кромки были различимы во мраке, и у пас, и у немцев разрывались снаряды и мины, мелькали и тут же растворялись силуэты деревьев, людей, орудий, автомашин. Вдруг выпадала относительная тишина, и слышалось, как хлюпает вода под плотом - сонно и ласково, будто под днищем лодки на рыбалке.

Над головой закачалась осветительная ракета, и я увидел: и сбоку, и впереди, и позади на разном расстоянии плыли плоты, плоскодонки, бочки. И все они были облеплены солдатами, и все словно стояли на месте. Но нет, они, несомненно, двигались. Как наш плот. Как плот Вити Сырцова, я заметил его слева, на краю сидел Витя и греб доской. И сразу мне стало радостно и тревожно.

Радостно - увидел близко Витю, тревожно - за него. Да и за себя, за всех, - идем в бой. И опять, чтобы подавить тревогу и боязливость, я шепотом заматерился, накаляясь, зверея. В бою это полезно - звереть. Страх улетучивается.

Я сидел на плоту впереди всех. Если что, первая очередь моя.

Пусть. Зато личный пример тоже мой. Взводный должен быть вместе с бойцами, а то и впереди. Это ротный или батальонный, тем паче полковой командир находятся позади бойцов. Я же, взводный, невелико начальство всегда среди них, бойцов. Так я считаю.

Близкий разрыв будто угодил в клубок мыслей, они разлетелись, и осталась одна: в пас бьют! Да, немцы прицельно били по плотам и лодкам. Увиделось, как врезалось: в шедшую слева плоскодонку - там, кажется, были минометчики - угодил снаряд. К небу взлетели доски, пламя объяло остатки плоскодонки, из пламени в воду прыгали люди. Затем прямое попадание в плот, на котором были ротный и Сырцов. И снова взлетели доски, и опять снопы пламени. Что с ротным, что с Витей? Скорей бы добраться до берега, ощутить под ногами милую, надежную твердь земли. Там будет трудный бой. Ну и пусть! На земле не так страшно, как на воде. Что же с Витей, что же с ротным?

Немцы все плотней накрывали нас своим огнем. Два снаряда разорвались в такой близости от плота, что всех окатило водой.

Я машинально поднес руку к лицу, чтобы утереться, и не успел этого сделать. Что-то с необыкновенной силой ударило по плоту, взметнулся огненный сноп, и я упал навзничь.

Очнулся в воде. Ледяная, обжигающая рот, нос, уши, текущая за шиворот, опа вернула мне сознание. Я рванулся, забарахтался, пытаясь ухватиться за что-нибудь. Пальцы хватали воздух, а одежда, автомат и сапоги тянули на дно. Я глотнул воды, закашлялся и опять рванулся наверх. Чья-то рука схватила меня за плечо, поддержала, в ухо прохрипели:

- До берега близко. Плывите!

А-а, мой помкомвзвода. Я подумал о нем, о ротном и Сырцове, живы ли, и уж затем подумал о себе: контужен? Помкомвзвода подтолкнул меня в том направлении, куда нужно было плыть, и я, колотя по воде ладонями, поплыл. Не отдыхая, изо всех силенок. Когда их не осталось совсем, пошел ко дну. Но колени стукнулись о твердое. Я встал на ноги и едва не свалился от слабости и тошноты. Отдышавшись, уцепился за ребристый, в трещинах, камень и вылез на сушу. И сразу вспомнил, что я должен командовать.

- Первый взвод, ко мне!

Мокрые, молчаливые, знакомые и незнакомые солдаты потянулись к яме, где я стоял. Подбежал какой-то офицер и голосом Сырцова сказал:

- Петр! Капитан ранен, ротой командую я! Атакуем по моему свистку!

- Есть! - гаркнул я, ошарашенный радостью: Витя жив!

Лишь минуту спустя подумал: а капитан ранен, бедняга, так и не дописал письмо домой, в Армавир, где у него взрослая раскрасавица дочка.

Я осмотрелся. По-прежнему загорались осветительные ракеты, над головой сверлили воздух снаряды, на земле и в реке рвались авиабомбы. Над прибрежьем нависали холмы - на них немецкая оборона. Прибрежье, склоны холмов изрезаны оврагами.

С ближайшей высотки строчил крупнокалиберный пулемет.

В овраге мы оставили закутанного в плащ-палатку, стонущего капитана и других раненых на попечение санинструктора, он организует их эвакуацию на левый берег. Промокшая одежда до ссадин терла нам тело, в сапогах чавкало - как будто топали по грязи. Но овраг был сухой: сыпучий песок вытекал из-под ног передних и забивал глаза шагавшим сзади.

Понаблюдав из оврага, Сырцов сказал:

- Проверить оружие. Гранаты приготовить. Развернемся в цепь - и на высотку. Если противник откроет кинжальный огонь, ложись - и по-пластупски. Атакуем по свистку, молча, без криков "ура"...

Холм из оврага просматривался неплохо, он господствовал над прибрежьем. Конечно, там были немцы: оттуда тянулись нити трассирующих пуль, на склоне - вспышки орудийных выстрелов.

Здесь, по-над берегом, недорытые окопы, немцы их отчего-то покинули.

Сырцов взмахнул фуражкой, и солдаты моего взвода стали выскакивать из оврага. Я выбежал за ними, взял немного правее и вскоре увидел, что правее меня появился человек и левее. "Давай, ребята, давай!" - мысленно подбодрял я и соседей по цепи, и себя.

Стиснув онемевшими пальцами автомат, я шел широким, напряженным шагом, оступаясь в окопчики, норы и выбоины, цепляясь за колючие кусты.

Цепь прошла метров сто, и немцы обнаружили ее. Пулеметы наискось стеганули с холма. Воздух наполнился словно почмокиванием - пули, похоже, были разрывные. Солдаты с разбегу попадали, поползли, извиваясь. Я, накалывая руки о стебли травы, мокрой от росы, но по-осеннему жесткой, полз споро и не теряя направления.

Заверещал свисток. Я скомандовал: "В атаку!" - и побежал на гору. Спотыкался, падал, поднимался, подавал команды, о которых тут же забывал, снова то бежал, то, задохнувшись, шел шагом. Подогревая себя, свирепея, нажимал на спусковой крючок автомата, швырял гранаты. И рядом стреляли, падали, вставали, а кто и не вставал.

В какой-то момент фрицы дрогнули и начали удирать из ячеек по траншее, по ходу сообщения, за дома. Над высоткой прочертила дугу зеленая ракета, за ней две красных. Сигнал на левый берег, что плацдарм завоеван. Я проследил за ракетами и внезапно уловил, как пахнет привядшей листвой, услышал, как скрипит под подошвами ссохшаяся почва, почувствовал на щеке, как брызжет ветка росой.

Из-за деревьев - Витя Сырцов:

- Что зажурился? Веди взвод к блиндажам, там сбор.

Знакомый - с придыханием, неторопливый - говор. Он вообще никогда и никуда не спешит, младший лейтенант Виктор Сырцов. Но при атаке он же бежал? Конечно. Со всеми, в цепи. Хотя ротному командиру это и не положено. Я обернулся, легонько его обнял и, устыдившись этой сентиментальности, зашагал к блиндажам. Живы мы, оба живы!

В траншее у входа в блиндажи на деревянных, из-под мин, ящиках сидели солдаты. Кто курил, кто перематывал портянки, кто обтирал оружие, кто перебинтовывал товарища. На дне траншеи, накрытые трофейными маскхалатами, лежали убитые - высовывались ботинки и кирзовые сапоги. Сырцов посмотрел на них, горестно покачал головой и сказал:

- Ну, все собрались, Глушков? Будем держать круговую оборону. Немцы наверняка полезут в контратаку...

Он распределил между взводами участки обороны. Мы заняли ячейки и пулеметные площадки и до рассвета и все утро отбивали немцев, пытавшихся сбросить нас в реку. А потом, к полудню, вместе с переправившимся подкреплением двинулись вперед, в город.

Не люблю я уличных боев. В городе теснота, не повернешься, бои на улицах, в подъездах, на лестничных площадках, с любой стороны жди нападения, с чердака, из окна, из-за угла могут влепить в тебя. В чистом поле воюется лучше: в обороне зарылся в землю, в наступлении видишь, что к чему, а коль видишь, то и решение принимаешь правильное.

Но в Смоленске складывалось удачно - мы продвигались в темпе, - и я подумал: "Форсирование позади, наитруднейшее позади". Совместно с саперами и артиллеристами мы подымались в гору, держась поближе к стенам пустых, мертвых коробок, -

здания были разбиты и сожжены и в сорок первом, и нынче, - выбрались к центру, к площади Смирнова. И здесь из слухового окна щелкнул выстрел снайпера, и Витя Сырцов упал на мостовую.

Я рванулся к Вите, мне закричали: "Стой, снайпер бьет!" - я не слушал. Когда добежал, Витю уже оттащили в укрытие, во двор, по булыжнику волочился кровавый след.

Я опустился на корточки, оттолкнул кого-то, положил к себе на колени Витину голову. Он был еще жив - хрипло дышал, на губах пузырилась пена, глаза будто живые, но застывшие, как в шоке; санинструктор и санитар разрезали финкой окровавленную гимнастерку, бинтовали рану, руки у них тряслись. Витя умер через несколько секунд, когда ему закончили перевязывать грудь.

Я поглядел на него и запомнил не бескровный лоб и посинелые губы, не застывшие навечно глаза, не забрызганный кровью орден на гимнастерке, а неподвижные, словно распухшие, ноги с засохшей на каблуках кирзачей грязью в травинках. Я поглядел и пошел со двора на улицу, где шел бой. Он складывался удачно? Самое трудное позади?

Валяясь в полевом госпитале, на досуге прочитал я толстый роман. И в нем описывалось, как герой прощался со смертельно раненной героиней, как хоронил ее и как от горя солнце виделось ему черным. Мне показалось неправда это, выдумка, потому что я вспомнил: когда скончался Витя Сырцов, солнце продолжало светить как ни в чем не бывало. Непостижимо! Будто ничего не случилось, будто не погиб мой закадычный друг. Может, я что-то путаю, я не силен в художественной литературе. Может, мое горе было не столь велико, как у героя толстого романа. Может, вся разница в том, что там - женщина, тут - друг? А может, причина в том, что там - книга, тут жизнь? Не знаю, не знаю.

Но когда гибнет человек, в природе ничто не меняется, это так.

Да и что за дело ей до нас, людишек? Кроме зла, мы ей ничего не приносим. Мордуем себя, мордуем ее...

А Витю Сырцова я очень любил. Но вспоминал о нем редко.

И если вспоминаю, то всегда всплывают какие-то общие впечатления: смелый, добрый, честный, выдержанный, простой, естественный. Конкретных проявлений этих его свойств я почему-то не держал в памяти. Для меня было главное: я его помню таким, а не иным. Мне подтверждений его качеств не нужно. Мнение же других меня тут не весьма интересует. Ибо я Витю Сырцова знаю, как сдается, получше, чем кто-либо.

Перед Смоленском я вспоминаю о Вите Сырцове как о живом.

А так вообще обычно припоминаю его смерть. Да и сейчас

мысли уже повернули: убит Витя Сырцов в Смоленске, похоронен на братском кладбище. Еду я с минувшей войны, так сказать, в обратном направлении, и воспоминания о ней и о смертях, с нею связанных, продолжают раскручиваться. И всю жизнь будут эти воспоминания, хотя и не в такой последовательности. Да и нынче особой последовательности нету.

...А что - сосватать бы у капитана, у ротного, его девятнадцатилетнюю дочку. Виноват, девятнадцать ей было в сорок третьем, когда брали Смоленск. Нынче ей двадцать один. Подходит, не перестарок. Разыскать бы капитана через адресный стол, приехать к нему и сказать: "Прошу руки вашей дочери..." Или - как там полагается - сватов сначала послать? Я не знаток этой церемонии.

На смоленском вокзале, как и на минском, были толпы встречающих, флаги, лозунги, букетики луговых цветов, частушки и беспризорники. Я поручкался с древней бабкой в плюшевой кофте и галошах на босу ногу - бабка перекрестила меня, прошамкала: "Господь милостив"; расцеловался с ядреной девахой в сарафане и армейских башмаках - целовалась она основательно, взасос, говорила: "Который дён к эшелонам выхожу, первые были со старичьем, счас - с молодыми, женишка себе подбираю" - и подмигивала игриво; обменялся рукопожатием с демобилизованным ветераном в гимнастерке без погон, на костыле, - служивый был под хмельком, а меня поташил к ларьку угощать квасом.

Я выпил кружку прохладного квасу, поблагодарил служивого и пошел на привокзальную площадь. Над городом дыбились облака - тускло-белые, с пеплом на изгибах, грозовые. Разбухая, ворочаясь, они угрожающе ползли навстречу друг другу. Между ними, уменьшаясь, по-детски беспомощно синел кусок чистого неба. Солнца уже не видно, и было сумеречно. Подросток, рывший яму для столба и перепачканный красным суглинком, выругался:

- Черт, будет дождяга! Не даст докопать!

Привокзальная площадь заполонена людом. Ни в трамвай, ни в автобус не сесть. Пешком? Дорогу спрашивать не надо, не заплутаю. Это решение смотаться в город явилось внезапно. И я не стал раздумывать, как будут без меня подчиненные, не отстану ли вообще от эшелона, и не стал пи у кого спрашивать разрешения.

Отлучусь - и все.

Я шагал вдоль трамвайной линии к мосту через Днепр; река, матово отсвечивая, текла в вербных берегах; дальше, за рекой, высилась на холмах крепостная стена. Справа и слева из садочков

выставляли напоказ свои стены новые дома, над каждым шест со скворечней, за палисадниками кусты алых, желтых и белых роз. Но большие здания не восстановлены: привычное зрелище руин; в давнишних, грязных лужицах купались воробьи, по примете - к дождю.

Миновав мост, я поднимался в гору, когда облака ошиблись и, словно от этого столкновения, над городом раскатился гром. Холодно, безжизненно прочертилась молния, и опять гром. А дождя пока не было.

Слепящие вспышки, тысячетонный грохот. Это когда-то было:

орудийные вспышки, канонада. Здесь, на днепровских берегах, на смоленских улицах, по которым я прохожу. Полыхали тогда деревянные домики, на месте каменных, взорванных немцами, - груды кирпича, булыжник мостовых сплошь разворочен фугасами, под сапогами хрустело битое стекло.

Я шел, останавливался, снова шел. У площади Смирнова, где убило Витю Сырцова, постоял, обнажив голову. Крупная капля упала сверху, запуталась в моих волосах, еще капля, еще. Капли цокали по асфальту, по булыжнику. Я стоял, мокнул, люди спешили, укрывшись газетами, сумками, зонтами. Ливень набирал прыть, по мостовой запенились ручьи, неся бумажки и щепки. На остановке заскрежетал трамвай, шедший вниз, к вокзалу. И я подбежал, втиснулся в прицепной вагон.

Ехал, зажатый жаркими телами, и поверх голов видел: овраг - не тот ли, где ранило нашего ротного? Капитан казался нам почти стариком, он имел взрослую дочь и, напуская на себя строгость, повторял: "Погляди у меня, побалуй у меня..." Где-то он сейчас? А Витя Сырцов сейчас в братской могиле на воинском кладбище, куда я не добрался. Надо на вокзал, к эшелону, к своим. Как они там без меня, подчиненные?

Я ехал и думал: почему взволновался меньше, чем мог бы?

Не было слез, не было даже комка в горле, так только - сердце пощемило. Может, потому, что переволновался заранее, в эшелоне, на подходе к Смоленску?

Наш эшелон еще стоял без паровоза, и я с внезапной остротой пожалел, что поторопился. На перроне по-прежнему было людно, наяривала трехрядка, смеялись, шутили, пели. Выделялся визгливый бабий голос:

Я поставлю самовар,

Золотые чашки.

Ко мне миленький придет

В вышитой рубашке...

Ну, этой частушке далеко до минской - про лейтенанта в желтых сапожках и про кошку. В Минске ее верещал чумазый,

оборванный беспризорник, мальчишка с бедовыми, навидавшимися глазами. Что-то с ним будет, с этим пацаном?

По платформе, заносчиво вздернув нос, прогуливалась Райка - губы подкрашены, глаза подведены, медаль "За боевые заслуги" надраена. Райка одна-одинешенька и старается не замечать балагурящих с гражданскими девками солдат и офицеров.

Действительно уже никому не нужна? Я тронул ее:

- Как жизнь, Раечка?

Она с благодарностью глянула, сразу же оживилась, подошла ко мне. А я не знал, о чем говорить с ней. И опять пожалел, что, поторопившись сюда, не побывал на кладбище. Живые - они никуда не денутся, а вот мертвых неизвестно когда еще навещу.

Мертвые - это как наша совесть, а живые - они и есть живые, не безгрешные.

15

Дверь теплушки откатилась по железному желобу с неровным, вихляющим скрипом, - я проснулся. Эшелон стоял, и стояла тишина, и мне почудилось: родственно, нерасторжимо связаны они, неподвижный эшелон и глубокая, прозрачная тишина в дверном проеме. В вагоне спали, дневальный потягивался у двери, вдыхая свежий утренний воздух. Мне тоже захотелось хлебнуть свежести, прояснить туманную после беспокойного, прерывистого сна голову. Я натянул штаны и слез с нар.

Разъезд, каких было уже немало. Леса, затянутые дымкой.

Луга, пустынный проселок. Где мы? По всему, должны быть в Подмосковье, однако пейзаж смоленский или белорусский, все они схожи, эти места. Но если всмотреться в дымку, то вдали обнаружится поселок с фабричными трубами, эти трубы и левей и еще левей. Это уже подмосковные приметы: заводских труб в таком изобилии нет ни на Смоленщине, ни в Белоруссии.

И дачи, тянущиеся цепочками в березняк, - подмосковный пейзаж.

Домишко путевого мастера за штакетником, на лавочках никого. Липы, встрявшие прямо в забор, роняли на них цвет. По перилу мостика ходила ворона, как гимнастка по буму. Просвистел паровоз. И, словно подтверждая, что полной тишины нет, липа проскрипела в заборе - деревом потерла по дереву, как будто ворона прокричала. А ворона была молчалива, с неуклюжей грациозностью прохаживалась по перилу. Чирикнул взъерошенный воробей, захвативший ветку липы и отгонявший от нее своих собратьев.

Я смотрел и пальцами оттягивал кожу на шее под подбородком - привычка, делаю так в задумчивости. Подышал,

покурил, пооттягивал кожу на шее и полез досыпать: в дороге мы уже успели изнежиться - встаем поздно, завтракаем не раньше десяти, занятия иногда проводим, иногда нет, и никто в общем-то не требует их от нас, дорога есть дорога, лишь бы не было чепе, со спящими они не происходят.

Однако больше я не уснул. Прислушивался, как храпят солдатики, как жужжит, бьется о стекло муха, как выстукивают колеса, - состав стронулся так плавно, что я не заметил. Думал:

когда прибудем в Москву, сколько простоим? Не ночью ли прибудем? Не исключено. И не исключено, что вообще могут провезти мимо столицы. Глянуть на нее хотя бы краешком глаза!

Во мне всегда мирно уживались москвич и ростовчанин: в Москве родился, в Ростове полжизни прожил. Но сейчас, в преддверии Москвы, москвич возобладал, и я был горд, что родился не где-нибудь, а в столице государства.

Да, мы шли в огонь и в воду с кличем: "Вперед, на восток!"

Но опять по верховному приказу и опять в огонь и в воду. Приказы кому-то надо выполнять, иначе они останутся на бумаге.

Лейтенант Глушков в числе исполнителей. Невелика шишка, но.

когда их много, подобных Глушкову, это неодолимая сила. Вперед, на восток!

Порассуждав о себе в третьем лице, я закрыл глаза. И сразу подскочил, так как раздался вопль. Все проснулись, повскакивали. Что стряслось? Да ничего существенного: Логачееву приснилось, что в рукопашной фашист засадил ему штык промеж лопаток. Каспийский рыбак, взлохмаченный, испуганный, гладил себя по спине и бормотал:

- Приснится же, прости господи...

Кто его утешил: "Не бойсь, Логачеев, и радуйся, что во сне это", кто ругнул: "Орал бы потише, козел вонючий, взбаламутил как", - но все поняли: сна больше не будет, подъем. И старшина Колбаковский, вопросительно взглянув на меня, возгласил:

- Подымайсь!

А Логачеев никак не мог очухаться, поглаживал сппну и повторял:

- Привидится же, прости господи...

В рукопашной у меня был случай: обер-ефрейтор занес надо мной тесак и всадил бы в спину, если б не мой ординарец, - он прострочил обера из автомата.

А немки, когда мы вошли в Германию, подвязывали себе на живот, под платья, подушки - чтоб русские насильники видели, что это беременная, и не трогали. После они побросали свои подушечки: русские не творили того в Германии, что творили

немцы в России.

А как там без меня Эрна?

Эшелон продвигался к Москве как бы толчками. Постоит, сдвинется, проедет сколько-то и снова остановится, постоит, стронется, проедет - и снова... Короче, в час по чайной ложке. Разве ж тут угадаешь, когда будем в Москве? Вот пассажирские поезда, что нас обгоняют, придут по расписанию. А у нас где оно, расписание? Никто ничего толком не знает. Везут - и слава богу. В сущности, торопиться некуда. Война не уйдет от нас, приедем к ней в конце концов. А по пути поглядим на столицу.

Пока же и в теплушке неплохо. Привыкли, обжились. Остряки иногда именуют ее длинно, с иронией: "Сорок людей, восемь лошадей". Правильно, теплушка рассчитана или на восемь лошадей, или на сорок человек, которых у нас не наберется. Просторно, вольготно, кати хоть до Тихого океана. Может, еще и споем:

"И на Тихом океане свой закончили поход..." Вполне возможно.

В теплушке кряхтенье, кашель, зевки, солдатский треп:

- Дай закурить!
- Свой надо иметь.
- Друг, называется!
- Дружба дружбой, а табачок врозь!
- Чего седин на завтрак будет, а? Жрать охота!
- Жрун ты, Санька! Прожорлив, ровно саранча.
- Сам ты саранча!
- Ребята, сколь едем? И сколь припухать еще?
- Что, надоело?
- Да пет, это я так...
- Эй, на верхотуре, не возись, труха сыплется!
- Это из кого там сыплется? Старпер, откликпись!
- Нестеров, кинь кресало! - Лови.
- Подрых бы, да старшина подъем скомандовал...
- Это он для порядку. Сам валяется.
- Хлопцы, у кого вчерашняя "Правда"?
- Свиридов, на пару бриться будем...

Потом кто-то поминает Москву, и все начинают вставать, одеваться. Бреются, подшивают подворотнички, ваксят сапоги - без напоминаний старшины. Колбаковский достает новую офицерскую гимнастерку, расправляет, оглядывает. У него все офицерское: хромовые сапоги, фуражка, пояс, две шерстяные гимнастерки - одна повседневная, которая для торжественных случаев, к ней-то он и примеряется. И я прикидываю, что получше надеть.

Привели себя в порядок, позавтракали. Прослушали политинформацию парторга Симоненко. Почитали уставы. Пообедали.

А Москвы не видать, плетемся по-черепашьи. И торжественноожидательное настроение понемногу испарилось. Разделись, развалились на нарах. Треп, анекдоты, ефрейтор Свиридов терзал аккордеон: "Мы с тобой случайно в жизни встретились, оттого так странно разошлись..." Те же танго, репертуар у него, определенно, ограниченный... "Ночью, ночью в знойной Аргентине под звуки танго..." М-да!

Заводские поселки, дачные платформы, деревни на отшибе - и старые, уцелевшие, и новые, отстроенные. Немало пепелищ, полусожженных изб. И дачи попадались разрушенные, разваленные.

Хватало землянок, траншей, бомбовых воронок, поржавелых машинных остовов, расщепленных деревьев. Леса, леса, за ними, за лесами, на востоке - Москва. Хочется глянуть на ее лицо, как на материнское лицо. Матери я уже не увижу. Москву - могу и должен увидеть. Неизвестно, как сложится у меня жизнь после той, японской, войны и повидаюсь ли с Москвою. Всяко может быть.

Но сегодня непременно повидаюсь. Днем ли, ночью - в конце концов, не существенно, лишь бы повидаться. Не прислушиваясь к беззаботным разговорам, я подумал, что надраить сапоги - это еще не все, что по-настоящему, душой, готовлюсь к встрече с Москвою я один. А может, мне это только кажется?

Умаявшись, Свиридов спрятал "Поэму" в футляр, завертел цигарку, и я услыхал смачный баритон старшего сержанта Миколы Симонепко. Неторопливо, прочувствованно парторг рассказывал Вадиму Нестерову. Тот внимал с интересом и почтительностью, да и прочие прислушивались.

- Ночью проехали Можайск, все спали, а я выходил на перрон, глядел... Как же иначе! Памятный мне Можайск, памятный...

Посуди сам. Воевал я здесь в зиму сорок первого - это когда мы наступали от Москвы. А до того - отступали к Москве, аж до Химок отжал пас немец. Было времечко, вспомни: немцы орудия нацелили на Москву, в бинокли свои цейсовские разглядывают...

Ты представь: седьмого ноября они замышляли парад на Красной площади, а Гитлер-кат должен был въехать на белом коне...

- Как Наполеон, - вставил Нестеров.

- Ну, в Наполеоны ему не светит, - сказал Спмоненко. - Товарищ Сталин что за характеристику выдал Гитлеру? Дескать, ему до Наполеона как котенку до льва... Так?

- Примерно, - сказал Нестеров. - Наполеон был вынужден оставить Москву...

- Он-то хоть въехал в столицу, а у Гитлера и это не выгорело. Погнали мы его войско в декабре. Ох, и гнали! Снега, морозы, немцы сжигают за собой дома, чтоб нам не было обогрева. А мы бьем их в хвост и в гриву, гоним на запад. Драпают, бросают технику, своих раненых... Топаешь, бывало, а по обочинам трупы:

немцы, немцы... Кто-то надоумился приспособить их заместо вешек, чтобы в метель обозначали дорогу. Стоят, замороженные, в снегу, ровно столбы... Вот тебе и парад на Красной площади!

Догнали их с боями до Можайска, и тут, на водокачке, меня сковырнуло, пуля - в голень, как кость не задело, ума не приложу.

Подвезло! Отлеживался в госпитале. В Москве, на Пироговке...

"И я бы мог припомнить, как дрался под Москвой, в сугробах сорок первого, лютый был декабрь, - подумал я. - Припомню, попозже... А ведь точно - фашисты стояли у стен Москвы. Но в Москву не вошли. А мы вошли в Берлин".

- Ну, так вот, - сказал Симоненко, - стою я, значит, на можайском перроне возле эшелона и плачу. Темно, тихо, все спят, собака где-то лает, а я плачу, не стыжусь... Слезы - это за счет моей украинской натуры...

"Не в этом дело, Микола, - подумал я, - не в этом".

- За слабость можно извинить, - сказал Симоненко. - Отплакался я. высморкался, и сделалось мне легко-легко, как будто никакой войны не было и я, безусый хлопчик, в школу хожу на Полтавщине...

"Война была, - подумал я, - и она состарила пас, и уже не будет возврата в прошлое..."

Летний денек, сухой и жаркий, дрожал маревом, в вагоне было душно. Сипели и зеленели леса на все четыре стороны - ах, что за леса в Подмосковье! Мальчишки купались в речонках и прудах, сверкая голыми задницами. Женщины стирали белье с мостков, из-под руки смотрели на эшелон. На лугу бродило пяток коров - нынче шибко большие стада не попадаются, - и коровы, и пастух, древний дед в треухе, отмахивались от оводов. За поселком - кирпичное здание фабрики, труба ее покосилась, а дым из трубы подымался строго вверх. Над полем тарахтел "У-2", "кукурузник", знакомый нам по фронту: летал по ночам, и летчицы швыряли с них гранаты в немецкие траншеи.

- Ну и пауты, как жрут коровенок-то, - сказал Головастиков.

- Они и пастуха жалуют, - сказал Логачеев.

Старшина Колбаковский отозвался с неодобрением:

- Комментаторы! Мы и сами все зрим... Лучше скажите, когда

в Москве будем?

- Мы и не комментаторы, и не гадальщики, - ответил Логачеев не весьма покладисто.

Передохнувший Свиридов рванул "Брызги шампанского", а потом вдруг взамен очередного танго заиграл, запел "Синий платочек":

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Нежных и радостных встреч...

Свиридов фальшивил, сбивался, переходил на шепот и придыхания, а я слушал его и не злился. Более того - я был размагничен, песенка уводила к тридцать девятому, к необратимому. Разумом понимал: "Синий платочек" незатейлив, сентиментален, мещанист, как и дежурные танго Свиридова. Но сердце отзывалось по-своему: когда "Синий платочек" перекочевал из освобожденного Белостока, был тридцать девятый год. и я был совсем юн, и вторая мировая остановилась тогда у наших новых границ. Эх, не вернуть это время, не вернуть! Это уже потом, в войну, "Синий платочек" запели на другие слова, военные, Клава Шульженко запела...

Я обождал, не повторит ли ефрейтор Свиридов "Синий платочек", - нет, танго "Мы с тобой случайно в жизни встретились...".

В сущности, все это одно и то же, но от "Синего платочка", который мне некогда напевали, у меня пощемило. ей-богу. Не пойму, отчего так будоражит и печалит напоминание о довоенном бытии? Что было, то было, прошло, прошла и война, ты остался жив, радуйся. А ты скорбишь о довоенном, о необратимом. Может быть, потому, что мир изменился и сам ты изменился. Лучше ли, хуже ли, но ты стал другой, не тот, что был до войны. Синенький скромный платочек... Наверное, смешно все это. Если взглянуть со стороны.

Ординарец Драчев мусолил анекдотец, похихикивал, хотя до смешного еще не добрался; слушатели глядели ему в рот, чтобы тоже засмеяться, наконец грохнули. Я понуждал себя улыбнуться, развеселиться. Вероятно, анекдот и впрямь смешной: муж собирается в командировку, а жена звонит любовнику... Смешной или глупый? Или пошлый?

А люди после войны должны измениться. Мы изменились в войну, теперь будем меняться в мирные дни. Впрочем, на горизонте новая война. Поэтому люди пока что не меняются? Решили притормозить - до того, как закончится новая, дальневосточная война? Так сказать, отложить до лучших

времен?

Надоело философствовать. Надо попроще. Жпть надо - и все.

"На карнавале музыка и танцы, на карнавале смех и суета..." - -Ты. Драчев, баки мне не забивай, гаси должок табаку..." - "Лежал я в госпитале и сошелся с медсестрой, а у нее корова..." - "Юпух от сна, а все спать тянет..." - "Нестеров, дай свою книжку почитать..." - "Забьем козла? Волоки домино..." - "Я по гражданке соскучился, опостылела армейщина..." "Ужин во сколько будет?" - "До Москвы, видать, поужинаем..."

Тащились по дачной местности, ожидали московских пригородов, но их не было и не было. Вместо того чтобы везти нас на восток, к Москве, нас повернули на север, потащили в объезд, до Истры, оттуда на Сходню и Химки - и тут мы наконец-то увидели северную часть Москвы.

Уже смеркалось, громадный город лежал за лесной полоской, за шоссе, и будто устало, тяжело дышал, ворочался, готовясь отойти ко сну. Но до сна было далеко! На платформах, где останавливался эшелон, нас окружали москвичи. Как и на Смоленщине и в Белоруссии, цветы, песни, объятия, разговоры, разговоры. Расспрашивают, где мы воевали и куда держим путь. О первом рассказываем, о втором умалчиваем. Но то, о чем умалчиваем, москвичам известно, они сами нам докладывают: едете на Дальний Восток бить япошек. Вот тебе и военная тайна!

За огородами, у железнодорожного полотна, - сараюшки из фанерных листов, разбитых ящиков, обрывков жести, скособоченные, в трещинах, бараки, многоэтажные каменные дома с подкопченными стенами, пыльными оконными стеклами. Лики московских домов были темные, а лица москвичей бледные. Как и лица смолян и белорусов. В тылу нам что-то не встречались краснощекие, упитанные люди. В тылу? Но сейчас нет фронта. А за четыре года мы привыкли, что есть фронт и есть тыл. И они едины, как писалось в газетах.

Я похаживал по платформе, прислушивался к смеху, шуткам, беседам, вступал в беседы, и мои щеки холодила сырость - за деревьями поблескивала вода. Канал Москва - Волга. Недалеко Химки. Откуда немцы разглядывали Москву в бинокли. Где они теперь, те немцы с их "цейсами", орудиями, танками и самолетами? Между прочим, немцы обожали "Синий платочек" наигрывали на губной гармонике, из траншей доносило. Далеки нынче те траншеи.

А мое Останкино недалеко. На автобусе за полчаса доберешься. Мое потому, что жил там. Мальчишкой. С мамой. А после и с Алексеем Алексеевичем. В коммунальном доме-клоповнике. Ходили с мамой в Останкинский парк - дубовые и

липовые рощи, пруды, церковь, дворец Шереметева. С мамой и отчимом ездили на дачу - электричкой с Курского вокзала, это тоже в общемто недалеко. И Клязьма недалеко, где жил во студентах. И Бауманский институт, где опять же числился во студентах. Однако в эти места не тянет, - хожу по платформе возле теплушек, слушаю, разговариваю, наблюдаю за электричками. Побывать бы в центре Москвы, на Красной площади, у Кремля! Но как потом найдешь свой эшелон? Никуда я, наверное, не отлучусь. Все равно Москва рядом со мной, живая, бессмертная. И всегда опа будет со мной и во мне. Москва - не место, где я жил, а Москва - обобщение, символ Родины и народа. Будь благословенна, Москва!

Я вглядывался в лица москвичей, как будто искал знакомых.

Я их не находил, знакомых, но это меня не огорчало. Знакомые лица солдаты и офицеры, мои попутчики. С мепя и этого хватит. Пол-эшелона знаю в лицо.

Эшелон еще проволочился по северным окраинам Москвы, пока его не загнали в тупик. Было за полночь. Безлюдье. На путях ветер гнал пыль и бумажки из-под мороженого. За пакгаузами, над депо, светилась алая звезда - будто младшая сестра кремлевских звезд.

Солдаты уже спали. А мне не спалось. Я стоял с дневальным, курил. В ночной тишине била кувалда, сопели паровозы, скрежетал трамвай. Столица спала, но сон этот был неглубокий, неспокойный. Потому, видимо, что мимо и через нее шли воинские эшелоны, шли на восток, на маньчжурскую границу.

Сейчас там, на Дальнем Востоке, такая же ночь. Впрочем, нет.

Существует же разница во времени, временные пояса. Если в Москве, допустим, час, то в Свердловске три, в Красноярске пять, в Иркутске шесть, в Чите семь, в Хабаровске восемь и во Владивостоке... Выходит, на Дальнем Востоке уже наступило утро. Мы едем туда, где день начинается раньше. Мы едем на восток и будем как бы терять время - ну, пустяки, по четверть часа в сутки, что за потеря. Ежели, как говорится, вся жизнь впереди... Жизньто впереди, но впереди и война. Хорошо, когда война позади. Та, немецкая, позади.

Стало прохладно, и я ушел в теплушку, залез на нары.

Проснулся, когда уже светало и состав шел, постукивая на стыках. Я поглядел в окошко: проносились дачные платформы, я не успевал разобрать названий. И вдруг всплыло: "Клязьма" - и отбежало назад. О. Клязьма, мы едем по Северной дороге! Дачи, дачи, где-то за леском, в утреннем сумраке, летняя дачка, служившая мне пристанищем в тридцать девятом, до призыва в армию. Поступил в институт, а места в общежитии не досталось,

приютился здесь. Походил в свое время с этой платформы до дачки и обратно! На секунду захотелось проделать этот путь по дорожке, по затем подумал: "А к чему? Что это даст? Не надо".

Да и невозможно это: эшелон уже грохотал на подходе к следующей платформе.

Нестерпимо повело на курево. Я достал из пачки папиросу, огня не было, попросил у дневального. Снова лег, пуская колечки в потолок. С нижних нар меня окликнули:

- Товарищ лейтенант!

- Да?

- Товарищ лейтенант, это я, рядовой Нестеров... Разрешите обратиться?

- Обращайтесь.

На уровне верхних пар выросла ушастая стриженая голова.

- Просьба у мепя, товарищ лейтенант... Отпустите в Ярославле сбегать домой, это рядышком со станцией, обернусь...

Ну вот, первая ласточка. Солдат, чей дом оказался на нашем пути. Таких разрешено отпускать - на усмотрение командира.

На мое усмотрение. Вадика Нестерова я отпущу, он дисциплинирован, честен и скромен. Не подведет.

- Не отстанешь?

- Никак пет, товарищ лейтенант!

- - Если что, догоняй. На пассажирском. Но лучше вернись вовремя...

- Спасибо, товарищ лейтенант!

От радости Вадик Нестеров хлопает глазами и, мне кажется, ушами. Хотя это ерунда: хлопать глазами и тем более ушами - признаки другого.

Проехали Пушкино, проехали Загорск. И я запоздало пожалел, что не съездил хотя бы в Останкино. Впрочем, к кому бы я поехал? К домам, а не к людям, близких людей у мепя там нет.

А где есть?

В Александрове долго стояли, меняли бригаду. Краем глаза наблюдал, как Головастиков порывался в станционный буфет, а Логачеев не пустил его, вцепился в рукав и не пустил. Я не вмешивался в это, старшина же сказал Головастикову:

- Скучает по тебе "губа".

Головастиков мрачно ответил:

- По мне тюрьма скучает.

- Не спорю, - сказал Колбаковский. - Тебе видней.

И поправил на своей голове фуражку, утвердил ее основательней.

Когда санитары эвакуировали с поля боя раненого, товарищи непременно поправляли на нем, надевали получше шапку либо

пилотку. Почему-то это врезалось в память.

В Ярославль эшелон прибыл ночью. В вагоне все спали, кроме дневального, Нестерова и мепя. Дневальный бодрствовал по долгу службы, Нестеров понятно почему, а я - в предчувствии, что солдат опоздает, отстанет. Дверь откатилась, Вадим Нестеров спрыгнул и исчез. Я закурил, оделся, вылез из теплушки. Станция была запружена эшелонами, двери в теплушках закрыты, на тормозных площадках зябли часовые. За пристанционными тополями мигали городские огни. Ярославль первый после Москвы крупный город, потом будет еще много городов. И с каждым из них мы станем все больше отдаляться от столицы.

Нестеров обернулся так быстро, что я в удивлении пожал плечами. Удивился я и тому, что он не один. За ним из мрака выступила маленькая, щуплая фигура. В полосе фонарного света увиделось: девушка, точнее девчонка, подросток. Ну, ясно - дама сердца. Сам сосунок, а дама вовсе ребенок. А я-то думал: к мамочке стремится.

Они остановились подле нашей теплушки и, держась за руки, разговаривали вполголоса, временами посматривали на меня.

Чтобы не мешать, я отошел подальше. Можно было вообще уйти в теплушку теперь-то солдат не отстанет, - но что-то удерживало меня, быть может, элементарное любопытство. Хотелось увидеть, как они будут прощаться.

И увидел: Нестеров привлек к себе девчоночку, неуклюже обнял, толкнулся лицом в лицо - поцеловал. Взобравшись следом за мной в тронувшийся вагон, махал ей пилоткой, девчоночка семенила за теплушкой, прощально подняв руку, - худенькая, с колючими коленками, она то появлялась в полосе света, то пропадала во мраке. И - отстала.

Я запомнил ее лицо в эти минуты - сонное, напуганное и болезненно скривившееся одновременно. И у Нестерова выражение было испуганным, болезненным. Мне сделалось неловко за мое любопытство. У них, видать, все всерьез - любовь, разлука, страдания и тому подобное, Я спросил дружелюбно:

- Твоя девушка? Вернешься из армии - женишься?

- Это моя сестра, - сказал Нестеров, и я покраснел - враз, глупо, по-мальчишечьи. Хорошо, что Нестеров этого не видит, - стою спиной к лампе.

Мост с арочными пролетами принял на себя эшелон, и под ногами зачернелась вода, в которой отражались фонари, колеблясь.

Я смотрел вниз и думал, что это Волга и что она останется позади. Как и все, что до сих пор встречалось. Бетонный бык, вокруг которого пенилось течение, мощная ферма, фанерная

будочка, часовой со штыком - и колеса застучали по-иному: мост кончился.

Нестеров сказал:

- В сорок первом, товарищ лейтенант, фрицы прилетали бомбить этот мост, да не попали. Они и город бомбили. - Помолчал и другим тоном проговорил: Спасибо, товарищ лейтенант, что позволили с сестренкой свидеться. Я прибежал домой, поднял ее с постели. Спросонок она сперва не поняла, напугалась шибко. Ну, скоренько оделась - и со мной на станцию. Решили постоять у поезда, чтоб не отстать, не ровен час... Сестренка у меня мировая, товарищ лейтенант! Младше меня на три года, а умная, стойкая, как взрослая. И сердечная очень, в отца... Хлебнуть ей пришлось горюшка. Да и мне... Мать наша еще до войны покончила с собой...

- Как покончила?

- А вот так... Спуталась с парнем, с речником, собрала свои вещички, да и укатила с ним в Саратов. Ни разу о нас и не вспомнила, словечка не написала. А он ее бросил через полгода. Она и повесилась. Там, в Саратове. Отец пил с горя напропалую, в сорок первом мобилизовали его, в сорок втором убило под Сталинградом.

Остались мы с сестренкой вдвоем, теперь вот я в армии, она и вовсе одна...

- Как звать ее?

- Наташа.

- Хорошее имя.

- Хорошее, - согласился Нестеров, а я подумал, что в дороге люди становятся откровенней и подчас раскрываются с неожиданной стороны.

Победа должна была наступить весной, когда обновляются и природа и люди, и она наступила весной. Девятый день мая - как грань, за которой расстилались, казалось, беспредельные дни мира. Деревья тогда не знали, что цветут уже после войны. Пчелы не знали, что гудят уже после войны. Птицы не знали, что поют уже после войны. Мир!

И не верится, что снова еду на войну.

16

ГОРОД ЛИДА

На выпускном вечере Пете Глушкову вручили аттестат отличника. Он сказал директрисе: "Спасибо", свернул плотную бумагу в трубку и, сутулясь, пошел со сцены в зал. Сел возле мамы, отдал ей аттестат. Она благоговейно рассматривала оценки, плакала, не утираясь, шептала:

- Умница ты мой, радость ты моя...

- Да брось, мама, - конфузясь, пробормотал Петя.

Ежегодно повторялось: он приносил похвальную грамоту, круглый отличник, и мама плакала в фартук, говорила, как причитала:

- Умница, светлая головушка, гордость моя и школы...

Петя морщился, отмахивался. Да что с мамой поделаешь?

А тут - десятилетка окончена, выпускной вечер, золотое тиснение аттестата отличника, прочувствованная речь директрисы, аплодисменты родителей и учеников, туш духового оркестра. Сам бог велел маме всплакнуть и сказать слова, которые заставляли Петю краснеть.

После торжественной части затеялись танцы: вальс, танго, чарльстон, фокстрот, вальс-бостон, - оркестр сверкал медными трубами и сотрясал стекла. Родители постояли у стенки, полюбовались на пары и благополучно разошлись. Петя вздохнул с облегчением: мамино присутствие сковывало, теперь можно развернуться. И он шутил, дурачился, смеялся, танцевал напропалую со всеми девушками. Вообще-то танцевать он не любил, а выучился по настоянию мамы: она записала его в кружок западноевропейских танцев при клубе железнодорожников, пришлось посещать занятия. Танцевал же на выпускном со всеми подряд потому, что своей девушки у него не было. Наверное, он единственный из десятиклассников, кто не встречался, как говорили - не дружил, ни с одной из соучениц. Как-то не влюблялся, все больше на учебу нажимал, на спорт - по волейболу имел первый разряд, был капитаном школьной сборной.

И танцевал он не ахти как: горбился, наступал партнерше на ноги, терял ритм. С Зоей Шапошниковой оп вышагивал фоксмарш, когда его сильно толкнули в спину, и он, не удержавшись, толкнул Зою. Повернулся - за спиной перебирал ногами, как лошадь, Борька Гусев, рожа злющая.

- Ты что, Борис? Нельзя ли поосторожней?

Борька натянул на скулах прыщеватую кожу, взмахом головы откинул с прищуренных глаз челку и дохнул винищем.

- А отбивать девчат можно?

- Дурак! - сказала Зоя. - Я с тобой не хочу...

- Захочешь...

- Нет! Петя, давай танцевать...

- Погодь, - сказал Борька. - Ты будешь со мной... А с кавалером твоим я покалякаю... Выйдем, Глушков!

- Не ходи, Петя! - Зоя ухватила его за локоть.

- Почему? - Глушков освободил руку. - Пойдем, Борис.

Сопровождаемые группой парней, они спустились во двор, к

штабелям дров за уборной: здесь испокон веку старшеклассники выясняли отношения, дрались до первой крови, мирились, а то и снова дрались, уже не принимая в расчет кровь. Ребята курили, предвкушая зрелище. Кто-то, однако, сказал:

- А не разойтись ли полюбовно, хлопцы?

- Нет, - сказал Гусев, выгибая грудь. - Я этому жлобу, отличнику, маменькиному сынку, ухажеру покажу, как отбивать бабу...

- Не смей так о Зое, - сказал Глушков. - Ты выпил, а я с ней просто танцую...

- Знаем эти танцульки! Прижимаешься, лапаешь, падла!

Зоя Шапошникова и Борька Гусев учились в параллельном классе, Зоя - скромная, симпатичная девушка, Борька - троечник, заядлый курильщик и крикун; дружили ли они - шут их разберет, Глушков не присматривался, сегодня они получили аттестаты вместе с ним, все было б, видимо, хорошо, если бы Борька не хлебнул из горлышка. Глушков сказал примирительно:

- Не выдумывай, Борис. И веди себя по-человечески.

- Вот тебе по-человечески!

И Гусев выбросил кулак. Он целил в лицо, но Глушков увернулся, и удар пришелся в голову. Петр пошатнулся, Гусев бросился к нему, но тот отбил удар, схватил за грудки, оттолкнул.

Гусев опять бросился, и опять его схватили за грудки. Морщась, Глушков увертывался, отталкивал распаленного, матерившегося, вонявшего водкой парня. Это он мог - отталкивать, а ударить - нет, не подымалась рука. С ним такое уже случалось. Надо было постоять за себя, но он только уклонялся от ударов да отпихивался. Он потом спрашивал себя: "Не трус ли я?" Оп не трусил. Ни мальчишкой, ни парнем. Наравне со всеми лазал за яблоками в чужой сад, на спор один ходил ночью на кладбище, переплывал Дон, на том же Дону спас девчонку из омута - сигал с берега не раздумывая, задержал вора, залезшего к соседям, ворюга молотил его р;уда попало, он держался, и не пускал, и не бил сам...

Петр сплел Борьке руки, Борька вырывался, норовил боднуть, изловчившись, ударил ногой в толстом ботинке по правой руке - в большом пальце больно кольнуло. Глушков резко оттолкнул Борьку, и он отлетел к поленнице, стукнулся спиной и, вроде протрезвев, сказал:

- Не будешь лезть к Зойке? Побожись по-ростовски, нараспев!

- Вали к черту, - сказал Петр. - Называется, отметил выпуск, нализался...

Оп поднялся на второй этаж, в коридоре оглядел себя в

трюмо - белая рубашка-апаш была измята, выпачкана, брюки-клеш в пыли, на затылке, выстриженном "под бокс", круглилась шишка. Он стряхнул пыль, поправил рубаху и прошел в зал. Найдя Зою, пригласил ее на вальс. Танцевал, на вопросы Зои отшучивался, а большой палец у него опухал и ныл. Когда Петя вернулся домой, палец и вся кисть отекли, болезненные, непослушные.

Назавтра мама повела его на рентген (он соврал ей, что упал на руку, играя в волейбол), и снимок показал - перелом фаланги. Наложили гипс. Рука на перевязи - поиграй теперь в волейбол, это словно кара за вранье. По пути из больницы Петя набрел на Борьку Гусева, - развалившись на скамейке в сквере, лузгает семечки, поплевывает, наглые, навыкате, глаза не отводит, хмырь болотный. В институт Борька не собирался, а вот остальные выпускники денно и нощно зубрили, готовясь к вступительным экзаменам. Один Петя Глушков в ус не дул: отличник поступает куда хочет без экзаменов! И они с мамой листали вечерами справочник для поступающих в высшие учебные заведения: можно в этот институт, можно в эту академию, а можно и туда... Московский... ордена Ленина, имени Сталина - звучит...

Как ни прискорбно, но круглому отличнику, гордости школы, было абсолютно безразлично, куда поступать. У него не было никакого призвания, и выбор взяла на себя мама - в Московский институт имени Баумана. Из-за столичной звучности. Петя Глушков будет инженером-машиностроителем. Пусть так. Ему все равно. Главное - поступать без всяких экзаменов.

Ростов плавился от августовской жары, когда мама провожала Петра в Москву. Паровоз шипел паром, словно раздувал черные маслянистые бока, гомонила толпа, чемоданы, сумки и корзины кружили водоворотами, мордастые, под хмельком, носильщики в белых фартуках и с бляхами, похожие на дворников, катили перед собой тележки: "Па-асторонись!" Пахло разогретым асфальтом, углем, мазутом, пивом, рыбцом, жареным луком. Суховей гнал по перрону обрывки газет, подсолнечную шелуху, раскачивал квелые, пропыленные пальмы в кадках с поржавевшими обручами и будто поглаживал по лпцу горячей шершавой ладонью. А мамины руки, гладившие его щеки в прощальные минуты, были влажные, холодные и словно неживые.

Он говорил:

- Мама, не расстраивайся, не скучай, я приеду домой на зимние каникулы...

- Да, да, ты навестишь меня, навестишь, - отвечала она, и лицо ее было постаревшее, больное.

Стоя у вагона с эмалированной табличкой "Ростов - Москва".

не догадывался Петя Глушков, что не суждено ему приехать в Ростов на зимние каникулы и что матери он больше не увидит.

О многом не догадывался Петя Глушков, да и как провидеть в семнадцать годков? И вообще - в избытке ли они, провидцы?

Складывая ему вещички в чемодан, мать сокрушалась: жили в Москве, а остановиться не у кого. Он успокаивал: в общежитии буду. Черта лысого! В ректорате с ним вежливенько побеседовали, беседу подытожили так: в институт зачисляем, в общежитии же мест нет, то, что было, заселили, вы опоздали. А опоздал он из-за гипса, из-за хмыря Борьки Гусева.

- Как же мне быть? - растерянно спросил Петр.

- Есть два варианта, голубчик, - ответствовал профессор с бородкой-эспаньолкой, в пенсне, лысый и благожелательный. - Или вы забираете документы, или подыскиваете себе частное жилье...

Вот так-то, огромна Москва-матушка, а жить негде. Никакой родни, со знакомыми все связи порваны. Наведаться в коммунальный домишко в Останкине, где жили с мамой и откуда, бросив комнату, она перевелась по работе в Ростов - после ареста Алексея Алексеевича? Вряд ли его, Петра, там помнят. Да, откровенно говоря, и не тянет в тот деревянный, перенаселенный людьми и клопами дом-барак, что-то удерживает. Пока поживем в аудитории, где разместили будущих студентов, а дальше видно будет.

Помог случай. В деканате Петр познакомился с разбитным, ёрничающим парнем-москвичом - они попали в одну учебную группу, - и тот сказал: ты что, богач, чтоб снимать частную комнату, да это и не просто в Москве, давай я поговорю с паханом, устроим на нашей даче. Пахан - это значило отец, а дача находилась в Клязьме, летняя, из досок, ночами в ней было свежо.

Петр заикнулся было о плате, товарищ поднес к его носу кулак.

- Об этом не пикни.

- Но как же... Все-таки...

- Что взять с бедного студента, да еще провинциала? Будешь сторожить дачу - вот и отработаешь.

Товарищ убрал кулак, и было непонятно, шутит он или всерьез. Да, Петя Глушков провинциал, а некогда был москвичом.

Забыл он Москву, а Москва забыла о нем. Может побожиться поростовски, нараспев. Южанин теперь. Из города Ростова. Ростовпапа, Одесса-мама, как говорят урки. Кто-кто, а уркаганы в Ростове водятся. Отсидев лекции, Петр мчался в магазины, выстаивал очереди за снедью, втискивался в битком набитый трамвай, втискивался в вагон метро - ехал до "Комсомольской", -

на Ярославском вокзале втискивался в электричку, всюду надо втискиваться. В Клязьме вылезал на платформу, плелся раскисшей от дождей дорожкой по обезлюдевшему, затянутому сумерками поселку, в крайней от глухого, мокрого сосняка даче разжигал печкубуржуйку, стряпал ужин. Ночью просыпался от холода, набрасывал на себя все, что можно, укрывался с головой и, клацая зубами, думал: "А что дальше? Что в октябре или в декабре?" Но еще больше беспокоило: зачем пошел в Бауманский, скучно и чуждо все то, что преподают мне на занятиях маститые профессора и доктора технических наук, не хочу технических наук. А чего хочешь? Отоспаться, отогреться. И - к маме хочу.

А в утренних сумерках Петр трусил на электричку, и глиняные наросты были прихвачены морозцем, и по ледяным корочкам луж мело порошу. Из мглы, ревя белугой, вырывалась электричка. Впору самому реванути по-белужьи: разнесчастная, вмиг опротивевшая учеба, неустроенный, холодный и голодный быт.

Сесть бы не на загорскую электричку, а на пассажирский поезд Москва Ростов. До Ростова сутки езды, и там тепло, солнечно и: радостно.

Товарищ по группе, славный малый и юбочник, иногда прикатывал на дачу с девицей - каждый раз с другой, - переночевав при бодрящей температурке, любопытствовал:

- Не надоело еще коченеть?

- Мешаю? - Петр кивал на дверь, за которой была очередная девица.

- Дурень. Нисколько не мешаешь.

- Ну, так буду жить...

- Живи хоть до лета. Но как перезимуешь, не загнешься?

- Ерунда, - говорил Петр с раздражением и кашлял: маленько простудился-таки.

- Гляди. С высоты твоего роста тебе видней.

Утром товарищ пилил с ним и колол дрова, пособлял складывать запасец на неделю. Перед обедом уезжал с девицей - были они, точно, разные, но и схожие: губастые, с горячечным блеском блеклых, выпитых глаз в подкрашенных ресницах. Петра они злили и пугали. Попадись им - съедят и не подавятся. А цыплачка вроде Пети Глушкова проглотят с потрохами. Подальше от них.

Правда, и девицы не посягали на него. Ну и слава богу.

А октябрь уже сыпал снегом, выдувал из щелей остатки тепла, леденил и тело, и душу - бедной душе доставалось еще больше, чем телу. Еженощно он видел во сне набережную Дона, двор своего дома - летние мангалы, палисадники с виноградом,

розами и мальвами, стеклянную террасу, на которой они с мамой пили чай. На террасе и зимой не было холодно: Ростов-папа южный, добрый, греющий город. Пробуждаясь, Петр надрывно кашлял, чихал, синий от озноба, неумытый - вода в рукомойнике промерзала, - хватал книги, рысил на платформу, продуваемый в кепочке и демисезонном пальтеце насквозь, и над ним каркала воронья стая, сносимая ветром с Клязьмы-реки. Толпа на платформе росла, колыхалась. Ревела электричка. Туда - сюда. День за днем.

От холода, еды всухомятку, тоски он просто-напросто отупел. Матери ни о чем не писал - она была уверена, что он в общежитии.

Да и что писать? Денег просить на частную комнату? Откуда они у мамы, лишние деньги?

Мечтал о самостоятельности? Пропади она пропадом, эта самостоятельность, у мамы под крылышком уютней. Да-да-да, он маменькин сынок, не зря его дразнили. Мечтания о свободе, о независимости обернулись немытой рожей и цыпками на руках. Слабачок ты, Петя Глушков, не зря тебя также интеллигенцией дразнили. Пусть слабак, пусть интеллигенция, но он хочет домой, к матери.

И в конце октября, когда от холода стало невмоготу и простуда окончательно расхлюпала его, он сел в пассажирский вагон, где было скученно и тепло, пожалуй, жарко. Он отогревался и спал, спал. Мысль о том, что едет в пассажирском поезде не на юг, к маме, а на запад, в армию, не очень всплывала в памяти, точнее - он топил ее. На дно ее, на самое дно, прежде всего - отогреться, отлежаться, отоспаться.

Но чем больше отсыпался, тем чаще эта мысль поднималась на поверхность и, превращаясь в вопрос, будоражила, мешала отдыхать: что ж теперь с ним станется, со вчерашним студентом и нынешним новобранцем? Все провернулось в три дня. Вызвали на призывную комиссию - она работала прямо в институте, - пропустили через врачей, остригли под пулевку - и готово. Товарищ, который устроил его на свою дачу, уже отслуживший действительную, втолковывал оторопелому, щупавшему выстриженную макушку Петру:

- Не одного тебя - всех первокурсников забривают, по ворошиловскому призыву...

Это Петр знал и сам. Не знал только: почему восемнадцатилетних решили призывать именно с тридцать девятого года, когда Петя Глушков поступил в институт? Подождали б еще годик, а со второго курса уже не забрали бы. Военкоматы могли бы повременить, да вот вторая мировая не

повременила: расползалась, накатывала дымными, кровавыми волнами. Институт? Впрочем, что жалеть об этом институте, чуждом для него? Но в армию идти мало радости, армейские годы придется вычеркнуть из жизни. Что там? Ать-два, коли, руби, стреляй, честь отдавай. И поменьше рассуждать. Старшина, который вез их команду, так и сказал:

- Студенты, загляните в уборную и забудьте там гражданские замашки, потому как в армии не рассуждают, а выполняют приказания.

Ясно, армейская дисциплинка, с прежними привычками предстоит расстаться. Хотя это можно сделать и без посредства уборной. Старшина, видать, остряк. Это армейский юмор?

Старшина был меднолиц, как индеец, перетянут ремнем, фуражку снимал, лишь ложась спать, сапоги его блестели, надраенные, брпджп были заглажены, и полоски на них совпадали с заглаженными полосками на гимнастерке, в петлицах сверкало по четыре эмалированных треугольничка. Целых четыре! Старшина был строг, неприступен, и даже когда острил, оставался строгим, отстраненным. Он сказал новобранцам, что вверенная ему воинская команда направляется в Белоруссию, в город с бабским именем Лида, по писать домой об этом нельзя: военная тайна, за ее разглашение в армии по головке не гладят. И все-таки Петр черкнул маме с дороги, куда они едут: "В город, носящий твое имя..."

И разглашения военной тайны вроде бы не допустил, и мама будет знать, найдет в атласе. В это письмо он вложил фотокарточку, снялся после призывной комиссии: глаза округлившиеся, выражение недоуменное, из-за отсутствия шевелюры нос и уши торчали еще больше. На обороте карточки надписал: "Дорогой маме Лидии Васильевне Глушковой от сына Петра, будущего бойца доблестной Красной Армии;) - и поставил многоточие: так выглядело внушительней.

Ну, а город Лида - это вам не Ростов-папа или Москва-столица. Это маленький город среди болот и лесов, малолюдный, полусонный, с немощеными тротуарами, с одноэтажными, потемневшими от дождей и мокрого снега домишками. Тпшина на улицах - как в склепе. Особенно по ночам. Неизвестно, есть ли еще на белом свете место, где бы так дождило. По крайней мере как приехали в Лиду, так и не просыхали: если не дождь, то мокрый снег, опять же переходящий в дождь. И грязи в городе - поискать где такую грязюку, сапоги едва не оставляешь. Не только красноармейцы и командиры, но и командирские жены, и вообще все горожане ходят сплошь в сапогах. Никаких туфель, ботинок, галош. Со здешней грязищей не шути.

Завывает ветер, хлюпает дождь, по окнам казармы хлобыстают облезлиственные ветви, по стеклам ползет капля за каплей.

На станции кричат паровозы, и после их вскриков тишина еще глубже, завывание ветра, хлюп дождя, хлобыстанье веток лишь подчеркивают ее. От паровозных гудков Петр просыпается. Прислушивается к ним, хриплым и тревожащим. Ему чудится: паровозы зовут его в дорогу. Но какая еще может быть дальняя дорога? Куда? Разве что спустя троечку годков, отбарабанив срочную службу, поедет в Москву либо в Ростов. А покуда - в Лиде жить да поживать да знания по боевой и политической подготовке наживать. Всего и делов-то, как говорит старшина Вознюк Евдоким Артемьевич. В углу казармы дремлет за столиком дневальный, уронив голову на грудь. Мигает керосиновая лампа на стояке. Посапывают и похрапывают товарищи, и, если кто-нибудь из них умолкает, это беспокоит Петра, словно что-то случилось с человеком. А не случилось ровным счетом ничего, и ты давай спи, красноармеец Петр Глушков. Ты всегда не высыпаешься. И всегда ты не наедаешься.

Увы, это было так. Намаявшись за день, он не успевал отдохнуть ночью (еще и просыпался) и утречком по команде "подъем"

вставал не без труда. А в желудке постоянно посасывала пустота, хотя кормили трижды и порции были солидные. Утешало одно:

все бойцы первого года службы не высыпались и все голодовали:

армейский харч - это не мамины калории да витамины, как выражался старшина Вознюк Евдоким Артемьевич. Что же касаемо простудной хвори, то от нее остался пшик. Не врачеванием, не лекарствами исцелился, а само по себе прошло. Поперву думал: загнется он с армейского житья-бытья. Не загнулся, на удивление, - вылечился, закалился, задубел. Со временем заделается заправским армейским дубом, как отзывается о собственной персоне старшина-сверхсрочник Вознюк Евдоким Артемьевич, не замечая, что молодежь вкладывает в понятие "армейский дуб" несколько иной смысл.

Надо разъяснить: старшина, сопровождавший призывников из Москвы до Лиды, и оказался Евдокимом Артемьевичем Вознюком. Вдобавок он оказался старшиной роты, куда попал красноармеец Глушков. По этому поводу у них состоялся краткий разговор.

- Стало быть, мы с тобой старые знакомые? - спросил Возиюк.

- Совершенно верно, товарищ старшина! - ответил Петр, втайне радуясь, что один из ротных начальников знакомец,

можно сказать, свой человек, на снисходительность которого рассчитывай в трудную минуту.

- Коли так, - сказал Вознюк, - то спрос со старого знакомого должен быть втройне. А? Погоняю!

Речь у Вознюка была негромкой, ровной по тону, но свое знаменитое "а?" он произносил, будто взрывая этот тихий, ровный тон. Не привыкшие к взрывному, рявкающему "а?" вздрагивали.

Но Глушкова он погонял, это точно.

То есть что значит погонял? Как уразумел впоследствии Петр, все было нормально. С армейской точки зрения, которая должна была стать единственно определяющей. Во всяком случае, на время службы. А старшина заставлял его перестилать койку, подтягивать поясной ремень, расправлять гимнастерку сзади, перечищать сапоги, перешивать подворотничок, отдавать честь - по нескольку раз, повторять приказания - по нескольку раз. Если Петр артачился, Вознюк спокойно и ровно напоминал ему про обязанности бойца Красной Армии, рявкал: "А?" - потом опять тихо заканчивал:

- А теперь получи нарядик вне очереди...

По внеочередному наряду выпадало чистить картошку на кухпе, мыть полы в казарме и - о ужас! - в уборной. Сначала Петр считал себя чуть не жертвой старшинских придирок, затем уяснил: так Вознюк поступает и с остальными первогодками. Он их гонял. Позже Петр еще уяснил: старшина приучал их к элементарному армейскому порядку, в котором находилось местечко и для уборки сортира. Приучал прямолинейно, грубовато, по-мужски. То есть он считал их за мужчин, а не за мальчиков, полагая, что мальчики кончились в тот час, когда переступили порог казармы. Справедливо, если не вдаваться в тонкости. Но Евдокиму Артемьевичу не до тонкостей. А может, в армии они и не нужны?

Это вам не институт благородных девиц. Ну, девиц, тем более благородных, у Петра не было, институт остался в прошлом, Бауманский институт. Бог с ним. И будем считать, что стал мужчиной.

Еще бы! В шинели, в шлеме, в сапогах, на ремне винтовка, и военную присягу принял. Не мальчик, но муж.

Ночами Петр просыпался также из-за малой нужды. Он ворочался, кряхтел, оттягивая момент, когда надо сунуть босые ноги в сапоги и на нижнее белье накинуть шинель. Почему-то страшновато было выходить в черный безлюдный двор, топать под снегом и дождем к дощатому сооружению, где в щелях по-дурному выли сквозняки. Он никогда зря не задерживался в этом сооружении на отшибе: справил свое - и бегом в казарму, к

похрапывающим соседям. Укладываясь снова под серое суконное одеяло с нашитой посредине ситцевой красной звездой, старался не думать о том, что он все-таки не мальчик, но муж.

А вот холода он перестал бояться, холода, от которого так страдал на клязьминской даче. Полдня на плацу, полночи на посту у склада, сутки на тактических учениях в сырь и ветер - и ничего. Как-то само собой привык к холоду. Возможно, потому, что, намерзшись на воле, угревался затем в казарме. А быть может, потому, что на даче он был один, а тут множество таких, как он. Ребята из Москвы, Подольска, Калинина, из Смоленской области, из Тульской, студенты, рабочие, колхозники - все стриженые, всем по восемнадцать-девятнадцать лет. Петр Глушков - один из них.

Далеко на севере, за Ленинградом, шла непонятная, неожиданно упорная воина с Финляндией, в газетах повторялись слова "Карельский перешеек", "линия Маннергейма", "белофинны", "шюцкор", старослужащие полка уехали на эту войну, порывался на Карельский перешеек и старшина Вознюк, подавал рапорты, ему отказывали, и он бурчал: "Я хочу воевать, потому - я военный человек!"

А они, едва начавшие бриться, воевали на учебных полях возле Лиды окапывались, ходили врукопашную, отражали контратаки, срывая крикливые, петушиные голоса, вопили "ура", - от этих воплей с верхушек деревьев снималось воронье и с возмущенным карканьем тучей смещалось к дальним, завешенным туманами лесам. Эта ненастоящая, как бы поддельная война утомляла, заставляя Петра думать: "Взрослые люди везде работают, а мы чем занимаемся? Пользы от нас никакой, ничего не производим, только потребляем - кормят нас, одевают, обувают. Как иждивенцы..." И ни разу не пришло в голову: когда-нибудь и их могут отправить на ту, настоящую войну. Как будто не было ее в помине, этой финской, не большой и не малой, кровопролитной, непонятной - с чего вдруг? - войны.

Для Петра Глушкова она проходила неприметно, и таким же незаметным было ее окончание: прорвали линию Маннергейма, овладели Выборгом, очистили Карельский перешеек. Ну и хорошо. Снова мир. Как и прежде. Как будет и дальше. Отслужит Петя Глушков два, а скорей три годика (быть ему сержантом - студент, грамотей, комсомолец, - и годик добавят), распрощается со старшиной Вознюком. Годики - это он бодрился, не годики - годы, три года, долгих-предолгих. Отелужит - и ему будет двадцать один, вот так номер, третий десяток пойдет!

Ну, а белофинны полезли в бутылку, стали угрожать Ленинграду, нашим границам, войну спровоцировали. В Западной

Белоруссии и на Западной Украине было иначе: Польши не существовало - не выдержала германского удара. Наши газеты и радио оповестили в сентябре тридцать девятого: освободительный поход Красной Армии завершен, западные области воссоединились с советской матерью-Родиной. Быстро, здорово и приятно. И никакой войны - ни с поляками, ни с немцами. А с финнами пришлось воевать - штурм Выборга, раненые, убитые и обмороженные. В сороковом году, весной, закончилась эта финская кампания, на которую так и не попал старшина-сверхсрочник Вознюк Евдоким Артемьевич и уж тем более не попали бойцы-первогодки.

Сороковой год казался Петру Глушкову зеленым, симпатичным и домашним. Зеленым потому, что с апреля вымахала уйма травы и листьев, Лиду и окрестности словно окунули в чан с зеленой краской, сплошная зелень. Симпатичным потому, что время проходило быстро, все часовые и минутные стрелки двигались в одном направлении - к демобилизации. "Солдат спит, а служба идет", - она шла день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем - к увольнению в запас. Домашним потому, что Петр стал частенько бывать в доме у Евдокима Артемьевича, пил чай со сливками, колотым сахаром и земляничным вареньем, ел пирожки с капустой и картошкой, слушал кенаря, суетившегося в клетке на подоконнике, и беседовал с гражданскими лицами, а также потому, что мама обещала навестить его летом, в отпуск приехать - из того, настоящего, ростовского дома.

Если быть поточней, то надо сказать: ходил он в гости не к старшине Вознюку, а к его сестре. Старшина с супругой занимал просторную горницу, сестра с ребенком - угловую комнатешку. Сюда, в угловую комнатку с плохо поштукатуренным потолком, с единственным оконцем, и захаживал красноармеец Глушков.

Пошло все это вот с чего. Петр Глушков дежурил посыльным при штабе, и его послали за старшиной Вознюком на квартиру:

срочно понадобился начальнику штаба. Был воскресный день, и Евдоким Артемьевич сидел за столом в пижамной куртке, армейских бриджах и тапочках, а перед ним сидела жена и стояла полллптровка. Когда Петр вошел, старшина не смутился, деловито чокнулся с законной супругой, выпил стопку, закусил огурчиком.

Смутился Глушков, не предполагавший, что грозный старшина, служака, поборник дисциплины и уставов может балахонпться в пижаме и запросто выпивать. Петр покраснел, кое-как доложил, зачем пожаловал. Вознюк с сожалением посмотрел на недопитую бутылку и сказал:

- Ив выходной не дадут спокого... А ты, Глушков, посиди, на

пару отправимся. Не то придешь допрежь меня, начштаба сызнова пошлет, знаю его, настырного...

И стал неторопливо, с ленцой вставать из-за стола.

В это время заскочила Варя - за утюгом к вознюковской половине. Пока та, полная и неповоротливая, доставала ей с полки чугунный утюжище, Варя успела назвать себя, узнать, как зовут Глушкова, похлопать его по плечу, сесть на стул, обнажив коленки, гибко пройтись по комнате, объяснить Глушкову, что она собирается погладить кофточку и юбку, чтоб пойти в клуб, да жаль, не с кем, и попросить его поднести тяжелый утюг к ней в комнату. Петр вслушивался в ее картавую скороговорку, удивленный непосредственностью и напористостью этой женщины. А перед тем он подивился старшине: законник, борец за субординацию, а как отзывается о начальнике штаба, майоре, орденоносце?..

Петр отнес утюг и хотел вернуться в горницу, по Варя схватила его за руку, усадила рядом с собой на скрипучем, расхлябанном диванчике. Она была сухощавая, веснушчатая, большеротая. Откинувшись на спинку, сыпала картавой скороговоркой, и за пять минут Петр узнал, что ей скучно в этой дыре, но поскольку она живет вместе с братом - куда его переводят, туда и она, - то ничего не попишешь, что работает она на молокозаводе, в сепараторной, заработки приличные, что была замужем за старшиной же армяпчик, артиллерист, разошлись по-людски, - что есть наследник, большущий уже, седьмой год, в школу скоро, что ей самой, слава господи, под тридцать.

- А тебе сколько, Петя?

- Девятнадцатый, - сказал Глушков.

- Люблю молоденьких, - сказала Варя.

С улицы вбежал мальчуган, Варя сказала:

- Легок на помине. Вот он, наследничек.

Это было и так ясно: облеплен веснушками, большеротый, зеленоглазый, как и мать. Мальчик оглядел Глушкова с ног до головы, протянул крепкую прохладную ладошку.

- Коля.

- Петр, - сказал Глушков.

- Значит, дядя Петя, - уточнил мальчик и ушел.

- Ну, вот что, дядя Петя, - сказала Варя, - ты мне нравишься. Будем встречаться. Договорились?

Петр не ответил, потому что в дверях показался старшина Вознюк - шинель затянута, сапоги надраены, полный порядочек.

Отчеканил:

- Шагом марш, Глушков!

Петр сказал Варе: "До свиданья", она сказала: "До скорого

свидания" - и проводила его до порога.

На улице они с Вознюком обходили лужи, грязь подсохла, уже пылило, старшина посматривал на свои тускнеющие сапоги и был неразговорчив, строг и неприступен. Но перед воротами проходной обернулся и промолвил:

- Учти - Варвара бой-баба. Мне-то безразлично, не ты, так кто другой, порожней она не будет. А? Но ты учти...

Громоподобное, взрывное "а?" ответа не потребовало, и Глушков промолчал.

Он был достаточно робок, чтоб посметь прийти в увольнение на квартиру старшины Вознюка. Но Варя сама пришла к проходной, вызвала его и пригласила к себе на очередное воскресенье. Так он и стал бывать на Гродненской, дом восемь. Варя угощала его пирожками, вареньем, картавой скороговоркой, трелями кенаря и "Синим платочком" в собственном исполнении.

Иногда они ходили в кино, в клуб или в лес по ягоды. Там, в лесу, однажды Варя легла на свежую травку, осипшим, изменившимся голосом позвала Глушкова и, когда он приблизился, дернула за руку, уронила на себя, обдавая нестерпимым жаром. Он сперва не разобрал, обиделся, она сказала: "Дурачок" - и снова дернула за руку. Потом она перебирала его отросшие жесткие волосы и говорила, что теперь он не мальчик, а мужчина, и Петр думал: "Я слыхал это, слыхал, только не от нее и по иному поводу..." Он и гордился тем, что сейчас случилось, и жалел о чемто, и хотел чего-то другого и не с Варей. Но с ним была она, Варя, - для него она могла быть и Варварой Артемьевной, - и он опять припал к сухощавому, гибкому и жадному телу.

После этой лесной прогулки он зачастил на Гродненскую, восемь, и уже вел себя уверенней: козырял старшине, с его половиной ручкался и проходил в Барину комнатенку. Варя выпроваживала сына на двор, закрывала дверь на крючок и, с неистовой торопливостью сорвав с себя одежду, опрокидывалась на скрипучий, расхлябанный диванчик.

Все это было как в угаре, и перед всем этим отступали и порой забывались и тяготы службы, и послеармейские перспективы, и даже то, что мама не приедет к нему в отпуск: легкие больны, местком выделил путевку в Теберду, на будущее лето откладывается поездка к ее дорогому мальчику Петеньке, мама так и написала - мальчик Петенька. А он, собственно, перестал быть мальчиком. Он мужчина. И мальчики ему говорят: "Дядя Петя".

Вот так-то.

Старшина сверхсрочной службы Вознюк Евдоким Артемьевич,

имеющий в личном деле сорок пять благодарностей и ни одного выговора, сказал Глушкову:

- Варька к тебе присосалась, стал быть, устраиваешь... Да и вообще ты человечек ничего... А? Однако скажу откровенно: вояки стоящего из тебя не выйдет. Потому - злости в тебе нету...

- Да ладно вам, Евдоким Артемьевич, - ответил Петр и махнул рукой.

Он мог позволить себе эту вольность: некоторым образом породнились со всемогущим ротным старшиной. Вот так-то. И подумал: "Во мне нет злости? Есть, наверное. Дремлет. Стоит лишь разбудить ее". И еще подумал некстати: "Боялся лихих девиц на клязьминской даче, а Вареньки нисколько не боюсь, хотя она тоже, видать, из лихих..."

И сорок первый год был зеленым, симпатичным и домашним - по тем же причинам.

У Глушкова была увольнительная на сутки, и он ночевал у Вари. Колю положили спать в горнице, им никто не мешал. Они уснули перед рассветом, истомленные. Глушков пробудился оттого, что кусали блохи, в зрачки бил солнечный луч и дребезжало-позванивало оконное стекло - вдали глухо погромыхивал гром.

В Лиде вёдро, по откуда-то, наверное, идет гроза. Блохи же в Лиде звери, нигде больше пет подобных и в подобном количестве.

Он высвободил из-под Вари свою затекшую руку, повернулся на спину, почесался - звери, звери, всего искусали. Варя свернулась комочком, простыня над ее грудью колыхалась, в подглазьях синели круги, у рта залегли мелкие морщины, в рассыпанных по подушке волосах белели сединки. Если приглядеться. А если не приглядываться, то все волосы каштановые. Лучше не приглядываться. И к ней, и к тому, что завязалось и никак не развяжется между ними, - угарное, не совсем чистое и начинающее тяготить.

Его, но не Вареньку. Варенька, Варя, Варвара Артемьевна...

Она почмокала во сне, простонала протяжно и гортанно, как это она умеет. Во дворе прокукарекал петух, залаяла собака, заплакала девочка. Продолжало погромыхивать - при солнце. За дверью раздались легкие шаги, в нее толкнулись, и она отворилась.

И Глушков сперва спохватился - не закрыли на крючок? - а после уже услышал слова вбежавшего в комнату Коли:

- Война! Что вы тут спите? Война! Дядя Евдоким сказал!

Так и запечатлелось: радостно-возбужденный мальчишка, конопатый, большеротый, с вихром на макушке, мальчишка, который возвестил о войне.

В том первом бою они дрались, как умели. Старшина Вознюк был наповал убит осколком, сержант Глушков уцелел. После боя его рвало желто-зеленой слизью, и он отрывочно вспоминал о городе Лиде, старшине Вознюке и его сестре Варе, чтобы потом почти не вспоминать их. Гораздо чаще он припоминал о том, как считал своп армейские годы вычеркнутыми из жпзпи, по вся его жизнь была только армейская.

А мама в Ростове не уцелела. Как ему написали. Лидию Васильевну, бывшую у подпольщиков связной, схватили гестаповцы.

Немолодая и нездоровая. Связная. Расстреляна во дворе гестапо.

"Вы можете гордиться своей матерью..." Он никогда ею не гордился, это она гордилась им. Прости, мама.

17

За Волгой эшелон пошел ходче. Проехали Данилов и от Буя повернули на Киров, строго на восток. Ярославские, костромские и вятские края разворачивались неоглядными лесами, заливными пастбищами, болотами. Деревеньки серели и в лесах, и среди болот, небольшие, с осевшими, под дранкой и соломой избами. Радовало, что они целые, не тронутые войной, и печалило, что они дряхлые и убогие. Народец худосочный, белесый, в лаптях. Мужиков почти не видать, разве что какой старик на завалинке, или инвалид - безрукий, безногий на костылях, наш брат, побывал в мясорубке, или кто с палочкой, прихрамывает - опять же наш брат, из вояк, долечивает рапы. Зато ребятни много - сопливые, голопузые, с отбеленными головенками. Вот кому заживется - ребятне, когда кончатся все войны, будь они прокляты. Ребятне повезет: война не будет нависать над их жизнью, как грозовая туча, висящая сейчас над горизонтом.

Насколько вятская пацаива моложе меня? Лет на пятнадцать.

Так и останется навсегда между нами эта разница. А вот между мной и павшими ровесниками разница с годами станет расти, и когда-нибудь они сгодятся мне в дети: мне будет сорок, им двадцать - тот возраст, в каком они погибли. Мы, живущие, будем стареть, а они не будут. Не будут стареть - по крайней мере в нашей памяти.

Эшелон спешил в дождь, в ливень, в грозу и, с разбегу въехав в них, окутался влагой и холодком; по железной вагонной крыше колотили струи, они ломились и в дверь, пришлось ее закрыть, в оконце вспыхивала дымная молния, раскатисто грохало громом - небо будто раскалывалось; в теплушке почернело, помрачнело, и дневальный сказал:

- Стихийное атмосферное явление. Дает дрозда!

Эшелон пропорол дождевую полосу и вырвался на сияющий солнцем простор. Голубое небо, зеленые леса, серые деревеньки и еще один цвет буровато-кирпичный, обожаемый на железной дороге, в него покрашены постройки, заборы, скамейкп на станциях и полустапках. Мокрые вагоны подставляли свои бока под солнце - и гак, и этак, словно солдаты обсушивались у походного костра, - и позади вставала радуга. И впереди радуга. А мы ехали меж ними по сухому солнечному простору.

Старшина Колбаковский сказал:

- В Кирове полно будет пуховых платков, чесапок и леденцовых петушков!

- Откуда известно? - спросил я без интереса.

- Да уж известно. - Колбаковский осклабился. - Езживал я по Транссибирской, езживал. От Москвы аж до Читы и обратно же... До войны, до Отечественной, срочную служил в Монголии, в Семнадцатой армии, там дислоцируется.

- А скрывали этот факт от общественности, - сказал ефрейтор Свиридов. Не в обжитые ли ваши края путь держим?

- Возможно, туда, - сказал Колбаковский. - Насчет обжитости не ручаюсь, но Монголия граничит с Маньчжурией, это точно.

- По географии проходили, - сказал Вадик Нестеров, ставший после Ярославля побойчее, поразговорчивее.

- Кто в школе проходил, кто на практике. Служба в Монголии - это вам мед?

- Рассказали б, товарищ старшина, - попросил Логачеев.

- Когда-нибудь и расскажу. Под настроение...

- А что, товарищ старшина, у вас хреновое настроение? По какому, извиняюсь, поводу? - Логачеев подмигнул другим.

- Не скрывайте причину от общественности! - Свиридов тоже подмигнул.

Мне не нравится этот панибратский тон, подмигивание, смешочки. Да, солдатики ведут себя вольно, даже юнцы Нестеров и Востриков осмелели. Дисциплинка поослабла. Субординация подзабылась. Вот так-то. Последствия того, что война кончилась.

Я сказал:

- Отставить разговорчики! Подготовиться к занятиям по матчасти оружия...

Старшина Колбаковский не соврал - на кировском вокзале сновали растрепанные тетки, обвешанные пуховыми платками, домашней выделки валенки под мышками, в руках набор розовых леденцовых петухов на палочках. Сверх того у пронырливых теток были петухи из дерева и глины, аляповато раскрашенные. Всю эту продукцию тетки, косясь на равнодушных милиционеров, старались продать или - охотнее - выменять на воинское добро,

официально выражаясь - на вещевое довольствие, В Кирове было много других эшелонов, ни одного пути свободного. Между составами и на перроне толчея, мешанина из военного и гражданского люда. На привокзальной площади, пыльной и ухабистой, репродуктор - граммофонная труба - источал старинные вальсы, звуки их будто застревали в пышных тополевых ветвях. И там же застревали воробьи. Старшина Колбаковский сказал мне:

- Воробьишек полно, а сизарей - черт-ма. То есть я что хочу выразить? Что допрежь сизарей на вокзалах было - завались, проезжал тут, помню... А за военные-то, голодные годики скушали голубей. Воробьи да вороны остались...

А что, так, наверное, и есть. Голод не тетка, в войну было не до сизарей. Не сдохнуть бы, выжить. С тылового пайка разве что ноги не протянуть. Голодные, холодные были, а стояли у станков, рубали уголь, сталь варили, хлеб сеяли. Женщины, подростки.

Мужики-то в основном на фронте. Все для фронта, все для победы.

Было время... Не столь уж давнее... Героическое время!

Каркали вороны, чирикали воробьи, по радио трио баянистов наяривало старинный вальс. Кляча на площади вполсилы помахивала подвязанным хвостом. Люди обтекали клячу и подводу, растекались промеж эшелонов. Инвалиды, старухи с подслеповато ищущими, скорбными глазами, женщины, от которых веет одним - одиночеством, беспризорные мальчишки.

Да, города на востоке и села целые, не задетые войной. А люди ею задеты, от нее нигде не скроешься. Эхо войны докатывалось до любой, самой глухоманной точки. Так было в минувшую войну.

А как будет в предстоящую? Может, она будет покороче? Может, мы и в самом деле разобьем Японию единым махом? Силы у нас развернуты - дай боже. За четыре-то года. Стоит поглядеть на наши эшелоны. Сколько их!

А первый бой у меня сложился так. От самой Лиды эшелон в пути бомбили не единожды. Воя сиренами, немецкие самолеты пикировали, сбрасывали бомбы, обстреливали из пушек, на бреющем проходили над составом, обстреливали из пулеметов. Но машинист попался башковитый: он то резко тормозил, то рывком подавал эшелон вперед, а немцы никак не могли угодить в паровоз. Вагонам, правда, доставалось, некоторые из них дымились и горели. Потом прилетели наши "ястребки", завязался воздушный бой, и поезд уполз в лес.

Там, в лесу, и разгружались. Из разбитых, отцепленных, обгорелых вагонов выносили раненых и убитых - тех, кто так и не

произвел по врагу ни одного выстрела, - здоровые спрыгивали наземь, строились, уходили в чащобу. Командиры поторапливали бойцов: "Шире шаг, шире шаг", потому что к исходу дня надо было выйти на оборонительный рубеж у шоссе. Полк едва занял рубеж, когда на шоссе появились фашистские танки. Громоздкие, черные, с белыми крестами и цифрами на бортах, они шли колонной с интервалом в десять - пятнадцать метров; расчехленные орудия покачивались, люки приоткрыты, из них выглядывали танкисты в шлемах и кожаных куртках. Сухая серая пыль висела над дорогой, в клубах разгляделось: за танками ехала колонна грузовиков с мотопехотой, за грузовиками - мотоциклы с люльками, в люльках автоматчики.

Вжимаясь в недорытый окопчик, я не отрывал глаз от приближающейся колонны. Мне все казалось, что это не реальность, а выдумка, сон, что танки, грузовики и мотоциклы ненастоящие, придуманные и что вообще никаких врагов на нашей земле нет.

Но из-за деревни на взгорке, за нашими спинами, ударила артиллерия, на шоссе вспучились разрывы, и танки открыли ответный огонь, и я расчухал: реальность. Та самая, от которой не схоронишься.

И не придуманным, а всамделишным оказался жалобный, стонущий крик в соседнем окопчике:

- А-а-а! Товарищ сержант! Я поранен!

Звали меня, я - сержант, командир отделения, это мой солдат.

И будто некая сила приподняла меня, вытащила из укрытия и заставила под осколками перебежать к соседнему окопчику. Боец лежал на дне окопа, нескладный, несуразный, отчего-то без ремня, раскидав длиннющие руки и ноги, и тонко, по-бабьи стонал.

Я крикнул:

- Что с тобой?

- В живот... товарищ сержант...

Он перестал кричать, говорил так тихо, что я едва разбирал его. Перевернул на спину и увидел: гимнастерка на животе излохмачена, намокла от крови. Задрал ее, вскрыл индивидуальный пакет, принялся бинтовать, думая о том, что это не мое дело, этим должен заниматься санинструктор, мое дело - командовать отделением. Перевязав бойца, я сказал ему:

- Лежи, санитары вынесут.

И побежал к своему окопу. Разрывы вставали вокруг, свистели осколки, воняло взрывчаткой, гарью и взбитой пылью. Танки стреляли, переползая через придорожную канаву,

разворачиваясь в линию. За ними покатили по полю и мотоциклисты, и пехота, соскочив с машин, потопала следом; грузовики на поле не съехали, остались на шоссе, для чего-то сигналя, - подбадривали, что ли, пехоту?

Потом я не раз слыхал от фронтовиков, да и сам чувствовал:

страшнее вражеского танка в бою ничего нет. Наверное, это справедливо. Но в том, первом бою страх у меня вызывали не бронированные громады, а живые люди, немцы - в серо-зеленых кургузых мундирчиках, в рогатых касках, в запыленных сапогах с короткими голенищами, у животов вороненые автоматы. Я не упускал из виду эти подробности, хотя страх возник во мне - где-то под сердцем - и разливался по телу словно с токами крови, парализуя рассудок и волю. И чем больше смотрел я на немцев, живых, двигавшихся, тем навязчивей становился страх. Еще немного - и он одолеет меня. И тогда я разозлился на себя, начал стрелять.

Чтобы живые немцы превратились в мертвых.

Высокий, стройный офицер в расстегнутом мундирчике, из-под которого белела майка, трусивший впереди всех рядом с танком, вдруг упал, надломившись, за ним свалился тучный, краснорожий солдат, и я люто и радостно заорал:

- Бей их! Круши! Бей!

И еще что-то орал, топя в этом крпке страх и зверея оттого, что немцы падали после наших выстрелов.

Затем была рукопашная, и я с механической ловкостью и остервенелостью работал штыком и прикладом. Затем разорвался снаряд, и осколок угодил старшине Возшоку в висок. Я закричал:

"Санитара! Санитара сюда!" - по старшине санитары не требовались, похоронщики требовались. После боя мы стирали пучками травы кровь с трехгранных штыков и хоронили убитых. Их оказалось больше, нежели уцелевших.

Подъехала полевая кухня, мне в котелок плеснули пшенного супа, и от запаха пищи меня стошнило. Ушел в кусты, мучительно, в спазмах, выворачивался там наизнанку.

Я стою у раскрытой двери и будто спиной вижу, что делается в теплушке. Старшина Колбаковскпй: под распоясанной гимнастеркой вздымается и опадает солидный и;пвотпк, мясистое, в глубоких складках лицо, короткая и толстая морщинистая шея в капельках пота, нижняя губа отвисла, старшина шлепает ею, сгоняя муху с подбородка, во сие тепорпсто, врастяжку, командует:

"Равпяйсь!" - снова шлепает нижней губой. Крутолобый, бровастый Микола Симопеико и Толя Кулагин тоже спят, парторг во сне чешет ногу об ногу, у Кулагина открыты глаза, карий -

виноватый, серый - нахальный. Кулагин подхрапывает, однако по сравнению со старшиной он ребенок. Каспийский рыбак Логачеев вертится на нарах и не может заснуть, рябой, медвежеватый, он раскидывает руки, будто обнимает кого-то, руки в курчавой шерсти и наколках: русалки, якоря, спасательные круги. Егор Свиридов, ефрейтор, острослов и великий музыкант, на коленях аккордеон, по Свиридов не играет, "Поэма" даже не вынута из футляра, великий музыкант говорит соседу: "Навпример. я не уважаю блондинок, уважаю чернявеньких". Сосед - это Филипп Головастиков, скуластый, небритый и мрачло-тверезый - рассеянно кивает. Вадик Нестеров и Яша Востриков. пацаны, желторотики, за шахматной доской, деликатно, вполголоса: "Значит, вы ладьей?

А мы офицером. Что на это скажете?" - "Офицером? Так, так.

А мы конем вот сюда..." Узбек Рахматуллаев и армянин Погосян сидят друг перед другом, скрестив ноги, и молчат, оба печалыюглазые. смуглые, черноволосые, но у Погосяпа нос с горбинкой, а у Рахматуллаева приплюснутый.

Я вижу спиной: и других солдат. Но и спиной же чувствую:

кого-то в теплушке нет. Оборачиваюсь, шарю глазами. Отсутствует мой верный ординарец Миша Драчев. Остальные на месте. Когда же исчез верный, дисциплинированный ординарец? Где обретается? Когда объявится?

Драчев объявился тремя часами позже. Я уже беспокоился, наведывался в соседние теплушки. Узрев на станции выходящего из пассажирского поезда ординарца - пилотка на ухе, острый носик морщится, словно принюхивается, рот до ушей, - я откровенно обрадовался, но тут же нахмурился. Спросил у Драчева прохладно:

- Где пропадал?

Морща нос, брызгая слюной, глотая слова, Драчев поспешным фальцетом объяснил: заболтался на остановке, прозевал, спохватплся, а последний вагон за выходной стрелкой, пзвппите, товарищ лейтенант.

- С кем заговорился? С дамочкой?

Драчев потупился. Я сказал:

- Гляди у меня! Чтоб в последний раз. Снова отстанешь - попадешь на гауптвахту.

Я не верю, что Драчев отстал нечаянно. Уже несколько солдат в эшелоне так проделывали: столкуется с бабонькой, идет к ней в гости, а после на пассажирском нагоняет своих. Все это проделывается, естественно, без спросу, походит на самовольную отлучку, и кое-кого комбат упек на "губу". Хотя попробуй доказать, что солдат отстал нарочно. Тебе докажут обратное:

печаянпо отстал, прозевал отправление!

Мне ничего не хочется доказывать Драчеву, тем более слышать его доказательства. Просто хочется, чтобы не отставали от эшелонов, не портили кровь лейтенанту Глушкову, временно исполняющему должность командира роты. Могу я рассчитывать на покой хоть сейчас, в промежутке между войнами?

Эшелон стоит на небольшой станции, к ней примыкает небольшой поселок, где главное здание - железнодорожное депо. К депо лепятся улочки: кирпичные тротуары и шлаковые, в подорожнике, клевере, одуванчиках, через канавы с тротуара на мостовую переброшены мостки - списанные шпалы. Дворы за штакетниками тесные, с сараюшками, поленницами, огородами и садочками. Дома одноэтажные и двухэтажные: первый этаж каменный, второй деревянный. У колодезных срубов женщины гремят ведрами. Одуревшие от зноя дворняги, вывалив языки, прячутся в тенечке.

Станция и поселок - посреди поля, а мне кажется: посреди России. Но серединой России можно, пожалуй, назвать Урал, где Европа граничит с Азией. Мы еще проедем это место, как утверждает старшина Колбаковский. Женщины гремят ведрами. Гудит наш паровоз, и это значит: нам дальше в дорогу, прощайте, безвестная станция, безвестный поселок. Я оттягиваю кожу под подбородком, и это значит: задумался.

Меня затащили на платформу с редакционным автобусом. Ребята из "Советского патриота" исключая редактора, молодежь, холостежь, окружили, подхватили под мышки и подняли на платформу.

- Не хочешь добровольно к нам в гости - силком заставим!

Мне ничего не оставалось, как сказать:

- Слушаюсь и повинуюсь.

Пузатый вместительный автобус закреплен растяжками, под скатами упорные клинья. Дверь его распахнута, из душного, жаркого нутра - музыка. Я переступил чьи-то ноги - полуголые наборщики и печатник расположились на брезенте, под машиной, полуголый шофер загорал у борта. (Начальник эшелона гонял таких курортников, требуя соблюдения формы, но редакционнотипографские - народ вольнолюбивый и продолжает загорать в путя.) Следом за газетчиками я забрался внутрь автобуса. Там на лавочке сидел перед приемником редактор - тучный, лысоватый, близорукий майор в майке - и крутил рукоятку настройки. Звуки марша, обрывки речи, обрывки песни, снова марш и снова песня.

- Товарищ майор, вот приволокли лейтенанта Глушкова...

- Здравия желаю, товарищ майор, - сказал я и пожал

протянутую мне пухлую, влажную руку.

Майор сказал:

- Товарищ Глушков, на фронте мы, дивпзионщики, не раз пользовались вашим гостеприимством. Теперь хотим угостить вас...

Ну какое там гостеприимство, что за громкие слова! Бывало, привечал на передовой продрогших, оголодавших офицериков из "дивизионки", да и самого редактора, кормил чем-ничем, водочкой согревал. Что там считаться! Но от вашего угощения не откажусь, потому что вы хорошие мужики.

- У нас сппртнк есть, закусон...

Редактор скомандовал, и на столике появились баклага спирта, котелок с водой, консервы, сало, хлеб, лук. Мы уселись тесно, едва ли не на коленях друг у друга. Редактор разлил спирт по кружкам.

- За нашу дружбу, товарищ Глушков. Мы ж с вами дружили на фронте?

Да вроде дружили: они наведывались к нам и в наступлении, и в обороне, писали об отличившихся, мы им помогали собирать материал, создавали условия - в том числе ночлегом, кормежкой и согревающим. Ребята симпатичные - простые, смелые, лезли в пекло. Один из них. заместитель редактора капитан Волков, погиб под Минском, пошел в атаку с ротой. Писал этот заместитель здорово, с душой, подписывался: "Ал. Волков". Вместо него прибыл старший лейтенант, он подписывался: "Ник. Кузаков".

Между прочим, "дивизионка" дважды расписывала меня лично:

"Взводный Петр Глушков" и "Путь офицера". Не скрою, приятно было, газетки доныне вожу с собой, уже поистерлись на сгибах.

Редактор опрокинул в себя полкружки неразведенного спирта и запил прямо из котелка. Кто-то из редакционной холостежи сказал:

- Не канительсь. Глушков. Пей!

- Слушаюсь и повинуюсь. - Я улыбнулся, выпил спирт и, придерживая дыхание, налил в кружку воды.

Запив крепчайший спирт теплой водой, ощутил, как в груди разлилось горячее, жгущее, будоражащее. И подумал: "Я же зарекался пить!" Нарушил зарок. Подчиненных гоняю, а сам закладываю. Правда, компания достойная работники пера, офицеры дивизионной газеты. Да и нализываться же не обязательно.

Выпьем в меру, поговорим - и до дому. Надеюсь, без меня там

ничего не стрясется. Не малые же дети, в конце концов, эти мои подчиненные.

Хлебнули по второй. Журналисты оживились, разбеседовались.

Майор-редактор нащупал чистый, без помех звук - из приемника вытекал сладкий тенор: слегка картавя, пел о России, о косых дождях и березах у крыльца. Грешен, каюсь: не жалую теноров. Из-за их слащавости. Чего-нибудь помужественней бы, погрубей.

Светилась шкала приемника. Картавый тенор пел про Россию.

Дивизионные журналисты рассказывали всякую всячину.

Про комдива и его ординарца рассказали.

Весной, когда погромыхивала первая в году гроза, провожали на родину демобилизованных солдат-ветеранов. Провожал комдив и своего ординарца, служившего у него с финской войны. Перед малой, перед финской, войной генерал (тогда подполковник) был начальником Сестрорецкого погранотряда, и он принимал участие во многих боях с белофиннами. С началом Великой Отечественной он получил стрелковую дивизию, ополченскую, - чекисты, милиционеры, партийные работники, ленинградская интеллигенция.

Дрался с дивизией под Пулковом, на Невской Дубровке, дрался у стен города, где родился, где комсомолия на Невском судостроительном заводе и откуда ушел служить в погранвойска. С погранвойсками он распрощался в сорок первом, а с ординарцем прошагал всю Отечественную, распрощался аж в мае сорок пятого.

Так вот, когда ординарец, тертый калач, из уральских казаков, прощался с комдивом, он убежденно сказал:

- Товарищ генерал, история прошлая, а ведь вы дружили с нечистой силой...

- Что? - с удивлением спросил генерал.

- Говорю - с нечистой силой знались, ей-богу! Посудите сами...

И ординарец стал называть случаи, когда по каким-то неведомым причинам его начальник избежал смерти от упавшего вблизи снаряда, от танковой болванки, от взорвавшегося фугаса, от срикошетившей пули. Генерал слушал, кивал - да, да, все было, - после принялся объяснять:

- Ну, правильно, сбили мы белофиннов с моста через Сестру, пробежали с тобой мост, бежим уже по насыпи на финском берегу.

И вдруг я сталкиваю тебя с насыпи и сам скатываюсь в канаву, - спустя миг на насыпи взрыв фугаса. Ну, так рассуждай:

за секунду до этого я увидел в том конце насыпи финского солдата. Куда он бросился? Не крутнуть ли ручку машинки и взорвать фугас?

Упредить, в канаву! Так-то. Или ходил я во главе лыжного отряда по тылам белофиннов, и нас обстрелял снайпер, убил комиссара. Второго выстрела я ему не дал произвести, врезал автоматную очередь по верхушке ели. Почему туда? Да потому, что с того дерева снег осыпался, там, стало быть, "кукушка" сидела. Или рассуждай: под Оршей стоял я с группой офицеров на крыше землянки, снаряд рванул, кого убило, кого ранило, мне же повезло - контузило. Почти аналогичное: случай на КП в полку у Чередшока. Соли мы обедать, полуподвал, стол у окна; я было пристроился подле окна, но Черсдпюк мне: "Товарищ комдив, прошу во главе стола..." Я пересел. Чередпюк - на мое место, а спустя полчаса снарядный осколок влетел в окно - и прямо в висок Чередпюку...

На войне кому-то везло, кому-то не везло. Но иногда, повторяю, и соображать надо было. Вот ты заявляешь: ночевка в Сувалках. Ночевали, ночевали, не отпираюсь. А теперь вникай, как складывалась ситуация. Въехали мы в Сувалки, начали размещаться, начальник штаба на первом этаже, я - на втором. Ты соорудил мне постель у одной степы, я приказал перенести к противоположной.

Так? А почему приказал? Рассуждай: бои идет близко, немецкие танки выползают из лесу и бьют болванками по окраине Сувалок.

Значит, нужно подальше от той степы, что обращена к лесу и немцам. Перенесли постель, а танк и долбанул болванкой, пробило стену, спи я там махай кадилом. Или ты в бога ие веришь?

В нечистую силу веришь? А возьми недавний случай - бой под Кенигсбергом. Как погибли командующий артиллерией и замначштаба? А так. Ночью наши штабные машины задержал на развилке патруль: "Дальше нельзя немцы". - "Как немцы? Их же там не было?" - "Прорвались". Пу, коли прорвались, мы свернули с шоссе, заночевали до рассвета. Командующий же артиллерией и зампачштаба без моего ведома поехали дальше, по пути обругав патрульных: "Вы трусы, никаких там фрнцев нету в помине!"

Храбрецы были отменные, ибо дегустировали трофейный коньяк...

Кончилось тем, что немцы из засады влепили в их "виллис" фаустпатрон, погибли офицеры, хорошие в общем, заслуженные офицеры... Словом, так вот обстоит: где повезло, где сам соображал.

Ординарец с сомнением сказал:

- Не-е, товарищ генерал, тут-ко без нечистого не обошлось - уцелеть в таких передрягах...

Комдив улыбнулся, прощально похлопал его по плечу. А над Пруссией гремела, как напоминание о прошедшем, добрая весенняя гроза, и в воздухе пахло цветочной пыльцой, дождевой свежестью и тройным одеколоном, которым щедро надушился после бритья бравый уральский казак.

Да, умеют журналисты рассказывать. Но я слушал их, а припоминал нашего Фрола Михайловича Абрамкипа и других ветеранов роты, уехавших с первой демобилизацией. Не забыл ли Абрамкпп меня? Безотказный был старикан!

А тертый калач, ординарец комдива, на Урал ведь уехал. Может, сумеет выйти к эшелону, к генералу. Если генерал даст ему телеграмму, адрес-то ординарец наверняка оставил. Мне Абрамкин Фрол Михайлович тоже оставлял адресок, да я его посеял, раздолбай. И письмеца теперь не черкнешь. Хотя до писем я не охотник, лепь-матушка губит. Получать - куда ни шло, писать - увольте.

Вот в блокнотик я иногда записываю интересные, ценные сведения и гениальные мысли. Свои в том числе. Например, после посещения редакционного автобуса я записал: "1. Слабая воля - это нехорошо. Давал слово не пить, а у "дивизионщиков" вкусил неразведенного спирта. 2. Но воля у меня не столь слабая: сказал себе - не напьюсь - и не напился. Был лишь навеселе. В теплушку вернулся в полной форме. Следовательно, умей держать себя в руках, это золотое правило".

Но еще чаще я их не записываю, свои гениальные мысли.

Мелькнут - и забудутся. Вот мелькнуло: "Новая война. Когда она будет? Узнать бы дату! А. может, не стоит? И чем война закончится? Я то хочу определенности - любой, пусть даже трагической для меня, - то хочу продлить неопределенность, пребывая в неведении. Двойственность моей натуры? Но двойственность - это плохо". И забылось.

18

Человек - совершеннейшее создание, И вот это чудесное, неповторимое создание лишают жизни. Кто лишает? Да столь же совершенные, расчудесные создания. Черт знает что! Как сделать, чтобы не было войн? Наступит ли когда-нибудь вечный мир? Должен наступить, хотя сейчас думается об этом иногда без уверенности. Впрочем, иногда и с уверенностью.

На воине я научился убивать. Меня убивали, да не убили, и я убивал некоторых убил. Таких, как я, людей. Вся штука в том, что люди эти были врагами. Из этого следует: войны не кончатся,

пока не кончится вражда на планете. А из этого следует:

пошли-ка подальше прекраснодушие и чистоплюйство, поскольку ты все-таки не пацифист, а солдат. Прекраснодушие оставим до лучших времен. Однако до чего же я задубел: о человеческой смерти говорю - штука.

Людям нужно верить. И я верю. Подчас на слово. Но как часто они обманывали меня, и тогда я корил себя за телячью доверчивость. А переиначяться не могу. Глупая, ребяческая доверчивость - не моя вина, а моя беда.

Столбик, обозначающий стык Европы с Азией, мы проспали, включая и дневального. Ничего не попишешь, ночью сладко спится. Уже которые сутки в пути, и вроде бы отоспались. Аи нет, придавить минут шестьсот всегда в охотку.

Уральские горы подставляли солнышку своп крутые, острогорбые спины; елышк на них был похож на вздыбившуюся шерсть.

С гор стекали ручьи. Речки и озера голубели в долинах, в расщелинах. На разъездах, где останавливались, пропуская пассажирские поезда, была оглушающая тишина. Оглушающая - потому что в знойном, тягучем воздухе висел звон кузнечиков - и ничего более. Днем небо на Урале высокое-высокое, но ночные звезды кажутся досягаемыми: протяни руку - и потрогаешь любую.

Ночью горы обступают железнодорожное полотно, и ели сбегаются прямо к вагонам.

Ночами же полыхало зарево - и вблизи дорогп, и подальше, в горах. Наверное, там варили сталь. Наверное, там делали танки и пушки. Правильно, Урал - арсенал страны. Как писали в газетах: Урал кует оружие. И посейчас кует? Заводских труб здесь изобильно, как в Подмосковье.

Вот когда видишь эти трубы, чувствуешь: могуча твоя страна.

А когда заводские трубы где-то угадываются за лесом, чувствуешь: твоя страна может быть еще могучей, еще не все силы развернула. Потому уральская да сибирская сталь сломала сталь рурскую и сломает любую другую, если доведется так - сталь на столь.

В городах и поселках мало зелени, хотя они окружены лесами.

Пыльно, дымно. А рядом, в ельнике, в березняке, благодать. Сойти бы с поезда и пожить на заимке недельку-другую. Чтоб подальше от деревень, чтоб на берегу речки или озера, чтоб в лесу куковала кукушка и звенели кузнечики. Да не одному пожить, а с девахой вроде Эрны. Вспомнил об Эрпе, и во мне рождается плотское, жадное. Не всегда мои мысли о ней такие.

Бывает, что вспоминаю о ней чисто и грустно. Но как-то мимолетно. Плотские же воспоминания долги и мучительны. И я не стесняюсь их. А почему я должен стесняться? Я люблю эту женщину и был близок с ней. Что ж тут плохого? Что немка? Ерунда! Немка тоже человек. И, как я убедился, неплохой. Нас свела война, точнее - свело то, что порождено войной. Да, военная судьба соединила, она же и развела.

Не знаю, как Эрна, а я - чем дальше, тем больше - тоскую по тем дням, по Эрне тоскую. Что было у меня и Эрны - для нас двоих, и ни для кого более. А ни ее, пи себя стесняться не надо...

Вот я, едва касаясь губами, целую Эрну, и печальное, прпвядшее лицо будто окропляется живой водою. И мне хочется целовать и целовать ее - чтоб милое, грустное лицо оживало.

А последние бои на Западе - за Кенигсберг. Говорю ж вам:

крепкий орешек пришлось разгрызть под занавес. Форты там были железобетонные, считалось - неприступные: "Королева Луиза", "Линдорф", "Король Фридрих-Вильгельм" и так далее. Громкие названия, но форты пали...

Станций и разъездов на Урале порядочно, и мы порядочно стоим. К эшелонам выходят все - от древних дедов до трехлетних ребятишек, белоголовых, сопливых и голопузых. Дедов мы угощаем армейской махрой, голопузых - армейским сахаром. На Урале окают, как на Волге, а старшина Колбаковский заявляет:

- И в Сибири окают.

Доберемся - убедимся. Еще уральцы любят употреблять частицу "то": "Я-то говорю-то тебе-то". Как сибиряки насчет этого, старшина умалчивает.

Стоим на унылой, невзрачной станции. Она наверху, а поселок внизу: на немощеных улицах и лужи, и пыль, лужи миргородские, пыль - по щиколотку. От вокзальчика на улицу ведет деревянная лестница, и Нестеров с Востриковым по-школьному съезжают по перилам. Поднявшись щелястыми, шаткими ступенями, поджигают хлопья пуха возле уборной - на станции цветут тополя, - пух легко, радостно сгорает. Я говорю им:

- И не жаль спички переводить?

- Извиняемся, товарищ лейтенант, не будем, - отвечает Нестеров.

А едва я отворачиваюсь, поджигают кучу тополиного пуха возле ограды. Тихони и скромники расшалились. Ей-богу, пацаны.

Как есть пацаны.

Тополевый пух подымался от деревьев, от земли, плыл в прогревшемся воздухе, снова ложился на землю. Как тихий снегопад.

Если задувал ветер, пух несло, будто снег в метель, забивало нос, рот, глаза.

Вот так же забивало лицо - но не сухим, теплым пухом, а сухим, холодным снегом. Сначала тоже был ленивый, тихий снегопад, снежинки сыпались с низкого, навалившегося на подмосковный лес неба. А затем ударил ветер, закружило, понесло, завьюжило, стало по-вечернему сумрачно, хотя был день. Хмурый, снежный, свинцовый день. Конец ноября. Сорок первый год. За спиной - столица.

И сейчас Москва позади, но тогда все было по-пному. Сейчас мы после победы, а тогда были накануне поражения. По крайней мере мне так казалось, не скрою. Никому об этом не заикался, но в мыслях было. Прошло пять месяцев войны, протяженных, как пять лет. И не было дня, чтоб мы не гадали: когда же погоним немца обратно? А покамест он пас гнал, не так уж шибко, но гнал и допер до московских пригородов.

Мы знали, фашисты планировали блицкриг - молниеносную войну: за какой-нибудь месяц разбить нашу армию и, заняв Москву, завершить кампанию. Они были недовольны тем, что война складывалась не по их планам. Мы тем более были недовольны ходом войны. Если бы кто сказал мне, что начало войны будет таким, я б ни за что не поверил. Но пять месяцев были позади, и фашисты подошли к Москве.

Мы были недовольны ходом войны? Недовольны - да разве этим словом можно определить наши тогдашние мысли и чувства?

Мы были угнетены, подавлены, злы. Но сквозь подавленность пробивалась надежда, злость побуждала к действию. В итоге - дрались как черти. Были, конечно, и слабые, сдавшиеся в плен грозным событиям. В нашей роте - а от нее осталось два десятка человек - нашелся боец, простреливший себе кисть. В другой роте ручной пулеметчик, из Мытищ родом, сбежал с фронта домой. Их обоих - и самострела, и дезертира - расстреляли перед строем.

За секунду до залпа один упал на колени, второй истерично закричал, после залпа они завалились в сугроб. А мы разошлись по заснеженным траншеям.

В преддверии зимы морозило, поля и перелески обдувал ветер, где оголяя смерзшиеся комками палые листья и суглинок, где наметая сугробы. На вершинах елей каркали вороны. Стараясь не думать об этом карканье, мы расчищали от снега окопы, траншеи, ходы сообщения, всматривались в сизую клубящуюся муть, изъязвленную пожарами. Мы были поморожены, валились с ног от усталости, недосыпа и педоеда (мне, только что из госпиталя, недолечившемуся, доставалось покруче других),

однако оружия и боеприпасов было вдоволь, а это всегда подбадривает ратного мужика.

Комиссар полка, обмороженный не меньше пас, ходил по трапптоям. курил с бойцами, обнадеживал: ребята, малость еще продержимся - и не за горами контрнаступление, в тылу готовится ударный кулак, подходят сибирские дивизии, выстоим же, ребята!

Начальник особого отдела тоже бывал в траншеях и тоже обнадеживал: никакой паники, колебаний и сомнений, никаких пораженческих слов и мыслей: пиаче - трибунал, законы военного времени. Мысли, как я уже сказал, бывали у меня далеко не победные.

Но я помалкивал: кому охота в трибунал, с которым шутки плохи!

И еще: я верил комиссару, верил, что вскоре начнется наше наступление, надо только выстоять.

А окончательно уверовал я в перелом, в близкую победу под Москвой, когда мы отбили атаку на Крюковку, атаку по счету двенадцатую - за четыре дня (немцы атаковали с железной неизменностью: три атаки в день, будто норма какая). Немцы откатились к совхозу, от которого уцелели одни силосные башни, служившие неплохим ориентиром для нашей артиллерии, зализывать рапы, готовиться, вероятно, к завтрашним атакам, ибо на сегодня их норма вроде бы исчерпана. На поле чернели воронки, догорал, сея жирную копоть, танк с крестом на борту, валялись трупы в серо-зеленых шинелях (в первых атаках на Крюковку немцы уволакивали своих раненых и убитых, потом - только раненых). Трупы немцев лежали ничком, навзничь, на боку, раскидав руки и ноги - в сапогах, в ворованных валенках, в уродливых соломенных чеботах, эрзац-валенках для сугреву при жизни. Мы хоронили своих убитых на окраине деревни, где держали оборону, - в воронках от снарядов и бомб; забросав глппой и снегом братские могилы, клали поверх простреленные каски. Валил снег, натягивал саван на изрытую, истерзанную, обезображенную землю, на мертвых и живых еще людей.

За траншеей было то, что осталось от Крюковки, от ее изб и дач, печные трубы, груды кирпича и обгорелых бревен, покореженные куски листового железа, обезглавленные, расщепленные ветлы. Жители эвакуировались, и Крюковка погибла без ннх.

В сущности, от нее осталось разве что название.

Прежде я как-то не ощущал, что позади нас Крюковкп, Сафоновки и прочие Козловки, полудеревни, полудачпые поселки, а затем уж Москва-матушка. А тут словно прострелила

мысль: до Москвы еще есть километры - деревни, поля, леса, речки, - которые фашисты должны преодолеть. Не преодолеют, не приблизятся к столице, не войдут в пее, проклятые, если мы стоим на пх пути.

Не овладели они Крюковкой в двенадцати атаках, не овладеют и в тринадцатой, и в двадцатой. И Москвы им не видать как своих ушей. Погоним прочь! Трудно сказать, с какой видимой причины появилась у меля эта уверенность: ведь немцы доперли от границы до московских пригородов, - по она появилась, и росла, и крепла.

Погоним!

И после того как немцы выдохлись, перешли к обороне, мы их погнали. Взашей. Вспять. На запад. Вот тогда-то, наверное, и родился боевой клич: "Вперед, на запад!" - с которым мы не расставались уже всю войну. Однако в декабрьских полях Подмосковья, зарождаясь, он звучал как-то по-особому. Признаюсь: я больше радовался, что не отдали Москвы, чем тому, что взяли Берлин. Ибо понимал: не отдав Москвы, мы неизбежно должны взять Берлин.

И мы взяли его. Закончив войну. На западе. Против немцев. А на востоке были и остаются японцы, о которых я, каюсь, подзабыл.

Зато сейчас, в эшелоне, вспоминаю. Придется свидеться. Так сказать, представиться...

А парторг Мпкола Спмопепко также воевал под Москвой в сорок первом. Может, неподалеку от меня находился. Был сержантом и остался всю войну в сержантах. Случай не очень типичный.

Видимо, Миколе Симонепко везло на госпитали. Если же человека не убивало и не слишком часто ранило, он рос в чинах. Сколько сержантов стало лейтенантами да капитанами, сколько майоров стало полковниками да генералами! Я и то продвинулся. Не так чтобы здорово, однако продвинулся: лейтенант, а могут и старшего лейтенанта дать, срок позволяет. Но многие, многие навечно оставались в своих воинских званиях. Те, что легли в братские могилы, под фанерные обелиски, под простреленные каски.

Едем по Уралу, и я думаю: "Ну, ладно, ну хорошо, пу, допустим на миг, хотя это и собачья чушь: вот отдали мы Москву. Так что, на этом был бы конец войне? Выкуси, Адольф Гптлер! Отступили б до Урала - и тут бы дрались. Отступили б до Сибири - и там дрались. Пока не разбили б врага. Отдавали бы серые таежные деревеньки и снова брали бы их. Но какое счастье, что Москву мы отстояли и что война сюда не дошла въяве, будь она

распроклята... Нет, никакой враг никогда не войдет в Москву!"

Попали в полосу затяжных, нудных дождей. Сколько ни едем - мокрядь, промозглость, тучи. Вагоны потемнели от дождя, рельсы мокро блестят, на остановках мы почти не выходим, да и к эшелону не очень-то выходят: мокнуть неохота. Даже в Свердловске на перроне было малолюдно. Меня это несколько обижает, хотя разумею: наш эшелон далеко не первый, пыл может полегоньку улечься.

Мы проводим политинформации, играем в шахматы, домино и карты и спим, спим. Под дождичек и стук колес спится. Всем, кроме меня. По совести, днем я больше притворяюсь, чем сплю. Мне временами до чертиков не хочется ни слушать, ни тем паче вступать в разговоры.

Они прекращаются лишь на ночь. А так - в разных концах вагона слышны голоса, громкие и тихие, уверенные и робкие, хриплые и чистые, порознь и все разом. Говорплыцики подчас забивают великого храпуна старшину Колбаковского и великого исполнителя, певца-аккордеониста Егоршу Свиридова. Ефрейтор в незнамо где добытой динамовской майке, склонившись пышным чубом к планкам и высокомерно оттопырив губу, перебирает клавиши, изредка произносит: "Карамба!" - вновь перебирает клавиши, поет.

Для себя поет, для души. Игнорируя невнимательных, неблагодарных слушателей. Среди этих неблагодарных значусь и я, у которого репертуар Свиридова навяз в зубах.

Настроение у меня подпортплось из-за дурной погоды. Я уже подметил: ясно, солнечно - и на душе вроде радость, сумрачно, негюгодисто в природе - и на душе скверновато. И у других, полагаю, то же. Что-то не видать улыбок, не слыхать смеха, одни будничные, скучные разговоры.

Дорога имеет ту особенность, что позволяет обстоятельно подумать, присмотреться к себе и людям. Во фронтовой обстановке это не всегда удается. А тут - пожалуйста. Хочешь - спи, хочешь - наблюдай и размышляй. Я размышляю и одновременно пробую подавить свое дурное настроение. Действительно, из-за туч и дождя кукситься? Не резон!

В который раз возвращаюсь к мысли: вопреки моим ожиданиям, жизнь, люди не изменились после долгожданной, выстраданной, добытой такою ценою победы. Нет, жизнь не переменилась круто, и люди прежние, живые - то сильные, то слабые. Наверное, я должен после победы быть неизменно ровным, радостным и счастливым: ведь дожил до нее! Да что там, бывает, и вовсе забываю о том, что была победа. Быт, повседневность, суета засасывают.

А поддаваться им нельзя. Надо почаще оглядываться назад, будоражить свою память. Поворошив прошлое, лучше разбираешься в настоящем, уверенней ожидаешь будущее.

Как сложится твоя судьба, Петр Глушков, бывший студент Бауманского института, ныне лейтенант, исполняющий должность командира роты? Заглянуть бы в свое завтра. А может, не стоит?

Неинтересно будет жить, зная наперед, что с тобой случится. Итак, да здравствует неизвестность!

Черт подери, в конце концов, любопытно узнавать, чем оборачивается для тебя завтрашний день. Это так много - целый день.

Сколько их, новых дней, будет в моей жизни? Впрочем, точнее:

день - это так мало, пролетел - и нет его. Мои дни мелькают, как километровые столбы. И ничего не вернешь, ничего не переиначишь. Что сделано, то сделано. А что предстоит сделать, то сделаем. Вот и вся несложная философия Петра Глушкова, бывшего тем-то, ныне того-то...

- Карамба! - Верхняя губа ефрейтора Свиридова надменно вздернута, взор устремлен в потолок.

- Ты чего наподобие ворона заладил: кар... кар... - Это старшина Колбаковский, с верхних нар.

Свиридов не удостаивает его ответом, лишь меняет позу, наклоняя голову к планкам аккордеона. Раньше подобное высокомерие могло дорого обойтись великому исполнителю, но нынче аккордеон едва ли не в безраздельном владении Егора Свиридова, старшина будто запамятовал, что "Поэма" его личная собственность.

Вот Свиридов и чхает на некогда грозного ротного бога. Сдал он, ротный бог, утратил хватку, размагнитился. Солдатики это расчухали мгновенно, не один Егорпта Свиридов. И мне в ипочасье хочется размагнититься, да не позволяю себе: мы еще военные люди, а не штатские, без дисциплинки рухнем под откос. Приелось, конечно, все это за армейские, фронтовые годы, но куда ж денешься? Командир и есть командир. А взводные и отделенные, я усекаю, идут вслед за старшиной на поблажки. Больше, чем на других сержантов, я могу рассчитывать на парторга Симоненко.

У него кадровый, службистскпй характер, хотя внешне Симоненко мягок. В Можайске даже плакал на станции, так растрогался.

Колбаковский валяется на нарах в майке и кальсонах - трусов принципиально не признает, - пошевеливает пальцами ног,

наблюдает за ними, за Свиридовым, за мной. Ступни у старшины рыхлые, в фиолетовых пятнах, ногти отросли, загнулись, на пальцах рыжая шерстка. Неизвестно, созерцание чего наиболее не по душе Колбаковскому - собственных пальцев, ефрейтора Свиридова или меня. - по старшина хмурится и кривится.

Старшина за дорогу округлился и словно помолодел, потому что округлость эта разгладила морщины. Животик у него стал еще полней. Колбаковскому лет тридцать пять, а мне кажется: в отцы годится. Может, из-за того, что плешина красуется и зубы сплошь металлические. Объяснял: зубы потерял цинга, а где потерял - не объяснил. Колбаковский воевал в нашей роте месяца три.

Не трусил, на передовой показывался, в окопы с термосами жаловал. Но бурчать бурчал: что за жизнь под старость лет, таскаюсь под пулями, не по назначению используют мой армейский опыт.

Ну, а опыт-то армейский у Колбаковского - в основном отирался на продскладах. Как по той поговорке: кому война, кому мать родна. Войны он понюхал чуток. И еще чуток понюхает.

Со Свиридовым и Симоненко я знаком побольше. Они из числа немногих уцелевших в передрягах зимних и весенних наступлений сорок пятого года. Фронтового Симоненко я запомнил в двух видах: с газеткой в руках, читает вслух в окружении бойцов, и в атаке - с автоматом, в солдатской цепи, он командир отделения, но если надо показать пример, вырывается вперед. Свиридов, рядовой автоматчик, в атаках и не вырывался, и не отставал, нормально дрался. И вообще вел себя нормально, дисциплинированно, носа не задирал. А вот Симоненко, пожалуй, не изменился, каким был, таким и остался.

Откуда родом Колбаковский, мне неведомо, не поминает он об этом. Как многие сверхсрочники, покочевав по разным местам службы, он, возможно, подзабыл родину, армия для него родина.

Микола Симоненко с Полтавщины. Свиридов из Иркутской области, потому и зовет себя по-снбпрски - Егорша. Будем проезжать Иркутск, попросится на побывку. А ну загуляет?

Дверь теплушки прикрыта: дождь хлещет с этой стороны, нальет. В вагоне сумеречно, и Симопепко зажигает "летучую мышь", растопырив локти, просматривает за столом газеты, выписывает в тетрадочку, готовится к политинформации либо к беседе. Он сосредоточен: брови сведены к переносице, мясистые губы шепчут, повторяя цитаты. Будешь сосредоточенным: цитаты - штуковина серьезная.

- Ну, чего ты ко мне причепался? - Это сиплый, пропитый бас Головастпкова. Адресован он Логачееву.

Тот говорит непримиримо:

- Повторить, что ль? Погромче?

- Замолчь! Прпчепался, ей-богу... Ну. лады, сделаю...

О чем - непонятно. Но Логачесв напирает, Головастиков оправдывается.

Логачеев мне правится: грамотешкп нехватка, тугодум, по очень правильный человек, не враль, работяга, прав ровный, спокойный. Однако сегодня Логачеев нервничает, покрикивает на Головастикова. Судя по всему за дело.

Сутулый, нескладный Филипп Головастиков. - на крепких скулах жирная, в угрях кожа, катает желваки, в бесцветных, плоских глазах скука, тоска и, по-моему, усталость. Ну, тоска с погоды, скука с дорожного однообразия, а усталость с чего? Спи, отдыхай, набирайся сил. Отсыпайся за войну, как это проделывает Толя Кулагин, - дрыхнет, потом проснется, промолвит словечко, ввязываясь в разговор, и, глядь, уже снова храпит с пугающе открытыми разноцветными глазами.

У Головастпкова своя позиция: "С этой войной запустил всю пьянку". Поэтому спит оп немного, а пить замахивается много.

Один раз сорвался, полез на меня с кулаками, второй назревает?

Товарищи его опекают, не дают ходу, особенно Логачеев. И вот угрюмо-трезвый Головастиков катает желваки и поскрипывает зубами, они у него желтые, изъеденные табаком. Пожалуй, я зря не посадил его на гауптвахту. В назидание. Ему и другим.

Федор Логачесв вразумляет Головастпкова и вдруг, поймав мой взгляд, убирает под стол татуированные руки. Федя не такой уж скромник, и русалки, и голые бабы для него - тьфу, но меня почему-то конфузится. Не всегда, правда. Однако если вот так перехватит взгляд, убирает татупровочки. От греха подальше.

До войны Логачеев проживал в Дербенте, ловил рыбку на Касппп. Гордится тем, что он рыбак и что оп из Дербента. Говорит:

"Читали книгу "Танкер "Дербент"? Это в честь нашего города названо... Не читали? Как же так? Ай-я-яй... Сам я тоже не читал, но про книгу слыхивал, мировая, сказывают, книга. И город Дербент мировой!" В Дербенте у пего жена, два сына, три дочери, отец, теща, свояченица, живут все в одном домике, на прибрежье.

Им Логачеев аккуратно шлет письма-треугольнички, многочисленное семейство отвечает ему со значительно меньшей аккуратностью. В минуту жизни горькую Логачеев вздыхает: "Не пишут своему пахапу, мне то есть..." И еще повод для огорченных вздохов: "Пошто я не на флоте, а в пехтуре? Все из-за военкома, Юсупов ему фамилия..." Слово "флот" произносит с любовью,

слово "пехтура" - с пренебрежением. А пехотинец он вполне исправный, кто воевал на пару, подтверждает.

- Послушай, Федя, - оаспт Головастиков, - регламент твои истек, кончай говорильню.

- Кончаю, - успокаивается наконец Логачеев. - Но ты учти...

- Учту, учту. - И Головастиков принимается вертеть здоровенную цигарку.

В теплушке накурено, дым кольцует "летучую мышь" на стояке. Парторг Симопепко морщится, подносит газету блпже к лицу.

Геворк Погосян фыркает:

- Начадили! Надо открыть дверь.

Его поддерживает Вадик Нестеров:

- И то! Дышать нечем.

Погосяну возражает дружок Рахматуллаев:

- Не надо открывать - на улице холодно.

Его поддерживает Яша Вострпков:

- Тепло выпустим...

Спор о том, отодвигать или не отодвигать дверь, разгорается, в него втягиваются остальные солдаты. Пустой, никчемный, он удивляет меня своей горячностью и раздраженностью. Из-за сущего пустяка лаются. Удивляюсь обычно неразговорчивым, печальиоглазым Погосяпу и Рахматуллаеву, - может, непогода на них подействовала больше, чем на кого-нибудь, вконец испортила настроение, - удивляюсь обычно вежливым, уважительным юнцам: спорят - будь здоров. Сверху, из угла, кто-то подзуживая, кидает:

- А не пойтпть ли на кулачки?

Действительно, только и остается решить этот вздорный спор потасовкой. Я говорю:

- Дневальный, отодвппь на минутку дверь. Проветрим и опять закроем.

Все молчат. Может, поражены несложностью и мудростью моего решения? Или просто не о чем говорить и спорить?

В теплушке блистательно отсутствует мой верный ординарец Миша Драчев. Повадился гостить в соседних вагонах, а то и отставать. Не скажу, чтоб мне его очень уж не хватало. Но вот кого не хватает, так это замполита Трушина. Давненько не заглядывал в нашу теплушку. Завернул бы к нам, покалякали бы, парень же в общем-то свойский. Ну да, я немного соскучился о нем.

И, подумав о Трушине и ошутив некую к нему близость, я вдруг ощутил близость и к тем, кто находился сейчас со мной в теплушке, ощутил общность, неразделенность с ними. Будем

трезво смотреть на вещи: люди после войны меняются, но не настолько же, чтоб взаимно отдаляться, чужеть, что ли, друг другу. Ведь столько пережито вместе, и не должно это сгинуть без следа.

Командующий Третьим Белорусским фронтом Василевский сказал командующему нашей армией:

- Не надоело воевать, генерал?

- Надоело, товарищ маршал.

- Ну, так берите Кенигсберг и заканчивайте войну...

Командующий фронтом будто говорил это в шутливой форме,

а командарм будто забеспокоился и начал сам себя поправлять, путаться:

- Воевать не надоело, товарищ маршал, военному человеку не может надоесть... Моя обязанность - не задумываться о проблемах, не умствовать, а выполнять приказы вышестоящего командования. Будет приказ - буду воевать, сколько нужно...

Александр Михайлович Василевский, образованнейший, умница из умниц, сказал с сожалением:

- Да нет, генерал, любые приказы выполнять надо думаючи.

И задумываться о проблемах не грешно. Например, о такой: чем дольше война, тем нетерпимее потери. Как там ни совершенствуй свое полководческое искусство, а солдата на войне убивают...

- Так точно, убивают, - отчеканил командарм. - Наряду с другими вверенными вам объединениями будем брать Кенигсберг!

И если прикажете, закончим войну!

Мне редакционные офицеры, когда попивал у них чистейший медицинский спирт, рассказали, что был якобы подобный разговор перед штурмом Кенигсберга. Возможно, и был. Все верно, кроме одного: весной сорок пятого война не кончилась. Для меня, в частности. Она как бы сделала передышку.

Но неверно и вот еще что. По редакционной холостежи выходило: командарм недалек, то есть глуповат. Я заспорил: откуда видно? Мне ответили: из разговора с Василевским. Я сказал: не переоцениваю достоверность разговора, это во-первых, а во-вторых, ничего глупого не усматриваю в словах командарма. И добавил:

он же герой Сталинграда, генерал, как же он может быть недалеким? Холостежь, дружелюбно улыбаясь, взялась потешаться: ах, Глушков, ах, наивная душа, смелый не всегда умный, и генералы всякие бывают.

Я лишь однажды видел командарма, да и то мельком: снявши

фуражку, он вытирал пот со лба, - плешивый, с черными усиками, эти усики мне тогда не понравились, очень уж напоминали об одном немецком ефрейторе. Однако я одернул себя: "Это твой генерал!" - отогнал оскорбительное сравнение и влюбленно посмотрел вслед направлявшемуся к машине командарму. Все было правильно: "Мой генерал..."

В споре с редакционной холостежью меня вдруг поддержал редактор. Близоруко щурясь, майор положил на мое плечо пухлую, ласковую руку:

- Разделяю ваше мнение, товарищ Глушков. А эти храбрые детишки, вольнодумствующие щелкоперы иногда склонны загибать. По-моему, командарм чем-то им досадил...

Храбрые детишки и вольнодумствующие щелкоперы уверяли:

ничем не досаждал, просто они объективны. Редактор уточнил: категоричны. Детишки и щелкоперы стояли на своем, одновременно нахваливая комдива и командира Краснознаменного Тнльзптского корпуса, в состав которого входила наша дивизия. Это меня отчасти примирило с ними, но пить еще я отказался. Несмотря на уговоры. Конечно, "дивизнонщикп" хлопцы отменные, однако тут загибают, факт. Ведь глупым даже в полковники не выбьешься, а генерал - качественный скачок, высшая категория. Еслп хотите, для меня генерал как таковой вне критики...

А редакционный молодняк смел не только в бою, но и на язык.

И про все-то они наслышаны, судят по-своему, без оглядки. И как пишут, стервецы, в "дивизнонке" - за сердце хватает, о некоем лейтенанте Глушкове тоже недурно было написано. Удивляюсь этим способностям подобрать словечки так. чтобы за сердце брало, до печенок доставало! Ну, а насчет командующего армией они тем ве менее не правы, меня не переубедить.

19

Старичок был тщедушный, сморщенный, убогий, и кто-то сказал:

- Старичок-сморчок.

Я рявкнул:

- Отставить!

Но старичок не обиделся на солдата. И без того сморщенное личико его сморщилось еще сильней, он обнажил розовые, без зубов, десны, хихикнул и прошамкал:

- Истинно так, солдатушка. Я и есть гриб-сморчок...

Мне было жаль старика. Он был не только сморщенный, но и сухонький, невесомый, как пушинка, дунет ветер - и понесет старичка. И ветер поддувал, может, поэтому старичок и держался

за что-нибудь - за спинку скамейки, за ствол дерева, за вагонные поручни.

Заприметил я его в Ишпме. Он был в армейских обносках, на голове соломенная шляпа - под ней не блеклые, не стариковские, синели глаза. Были они добрые, робкие и чистые, как у ребенка.

Чистые потому, наверно, что в старости становишься по-детски безгрешным. И у меня будет такой же незамутненный, безгреховный взгляд, когда доживу до семидесяти.

Распогодилось, и на станцию высыпал народ. Наигрывала гармошка, бубнило радио, толчея, смех, галдеж. Среди уже ставших привычными станционных занятий было и такое. Столпившись, солдаты с хохотом и шутками наблюдали, как по карнизу ходила кошка: туда-сюда, по краешку, вот-вот сорвется - и хладнокровно заглядывала вниз, любительница острых ощущении, где у кольев штакетника облизывались худущие, облезлые собаки, поглядывая на нее.

Солдаты, гогоча, толковали зрелище:

- И не боится, зараза! Свалится - разорвут в клочья.

- Играет с огнем с родственница тигра!

- Дразнит их. дразнит как: на-кась, мол, выкуси, близко, да пе достанешь!

- А как они облизываются, псы-собаки!

- Прямо цирк, еп-бс! Бесплатный цирк!

Кошка и впрямь дразнила собак. Они стали раздосадованпо, злобно поскуливать.

- Везде посередь божьих тварей война. Нету мирностп. нету...

В солдатских огрубелых голосах и гоготе я разобрал эти тихие.

сожалеющие слова. Их произнес синеглазый, высушенный годами старичок, державшийся за скамейку, у йог его был фанерный чемоданчик.

Потом я увидел его возле пассажирского поезда - с облупившейся краской вагоны, немытые оконные стекла, обшарканные, заплеванные подножки. Он упрашивал дебелую распаренную проводницу со свернутыми флажками посадить его. Она отвечала непреклонно:

- Как же я посажу, любезный папаша, ежели у тебя билета нет? На незаконность толкаешь.

- Так их, бплетов-то. нету в кассе, как есть нету, красавица, - шамкал старичок жалобно и просительно. - Посади, сделай божескую милость, век не забуду.

- На преступление толкаешь, папаша. Сказала, - значит, все, пе посажу. Некуда. Вагон забитый. Как селедки в бочке...

Да, поезд был забит до отказа. Старичок поковылял к

соседнему вагону, к молоденькой грудастой проводнице в берете, любезничавшей с тихоокеанским морячком.

Потом я встретил старика у нашего эшелона. Он опять просил посадить его. Солдаты объясняли: не имеем права, папаша, брать штатского в воинский эшелон, не обессудь. Он прошамкал:

- Не забижайте старого старика. У меня трое сынов и пятеро внуков воевали, вот как вы.

Солдаты говорили: "Не имеем права", разводили руками, отворачивались. И тогда я спросил у пего:

- Докуда ехать, отец?

Оп встрепенулся, весь подался ко мне.

- До Омска, сынок, до Омска! Тут-то недалече...

До Омска недалеко, это так, старшина Колбаковский давеча подтверждал. Я отнял у старика чемоданчик, сказав:

- Пойдемте в нашу теплушку.

Пока шли, я подумал, что, конечно, это пепорядок - везти гражданского в воинском эшелоне, - что надо где-то устроить его на нарах, не стеснив солдат, что начальство наверняка взгреет меня, если усечет.

Около теплушки разминался Колбаковский. Я сказал:

- Старшина, подвезем человека до Омска?

Он кивнул, спросил у старика:

- Вшивости нету?

- Нету, - виновато ответил тот.

- Полезай. - Колбаковскпй забрался по лесепке, подал старичку руку, я подтолкнул в спину, и он, кряхтя, залез в вагон.

Колбаковскпй веско произнес:

- Па остановках без надобности не выползай, ферштееп?

- Чего-чего, милый?

- На остановках сиди и не рыпайся, не то попадешь на глаза кому не следоват, понял?

- Понял, милый, понял! Спасибо, родные вы мои сыночки...

- Не аллилуйствуй, - строго сказал Колбаковский, и я подивился этой воскресшей в старшине строгости. С солдатами уже иной, размягченный, а вот на старичка наседает, взыграло былое, забилось ретивое...

Старичок пришибленно примолк, оглядываясь. И я огляделся и приказал Нестерову:

- Давай наверх, ко мне. там можно потесниться. А его на твое место, несподручно ему лазать на верхотуру.

- Есть, товарищ лейтенант! - рубанул Нестеров и, схватив вещевой мешок, шинель, закинул их наверх. - Прошу, дедушка!

Вот тут кто-то и сказал: "Старичок-сморчок-), - а я рявкнул.

Робея, старичок пристроился на краешке нар. Но когда пассажирский поезд, на который его не пустили, стронулся на соседнем пути, во взгляде старичка промелькнуло: пичо, милый, и я за тобой, далёко не уйдешь. Наш эшелон пошел, набирая скорость, и у старичка взгляд стал еще живей да веселей.

Он назвался мне, потом Колбаковскому, потом всему вагону разом:

- Макар Ионыч.

И поклонился всем сразу, низко, по-русски. Я назвал себя, Колбаковский себя, остальные загалдели:

- Уважительный старикан!
- Мерси, папаня!
- Устраивайся, дедко, располагайся!
- Обмыть бы знакомство, а?
- Жаль, нету! Да и начальство не позволит.
- А что начальство? Оно само женатое... хе-хе!
- Гляди, Макар Ионыч, Омска не проспи!
- Старуха заждалась небось свово сокола!
- В гости, что ль, ездил? Нашел время!
- Подвижной ты старик, Макар Ионыч!

Старичок слушал, кивал, улыбался. А после, когда стихло, взялся рассказывать. Да, старуха, поди, заждалась его. Не в Омске, правда, от города на автобусе надо катить полета верст. Да, ездил в гости, на свадьбу внучки свояка, за хорошего парня взамуж, лейтенант был, счас инвалид, обезножел маненько. Не в Ишиме это, а село от Ишима сто верст, потому никто и не провожал на вокзале, на свадьбу добирался на попутных и обратно на попутных, нашлись божьи люди, не обидели, как вот вы не обидели, посадили в поезд.

- Не обидели и не обидим. Но ты вот что, Макар Ионыч, - со строгостью сказал старшина Колбаковский, - ты на остановках не рыпайся, не то на тебя глаз положит кому не следоват. Замри и не выглядай, понял?

- Да нешто я неразумен; какой? В доскональности понимаю, товарищ старшина. Вас не подведу, себя не подведу... Как мышь в норке буду!

Макар Ионыч и вел себя как мышь, тихонечко лежал либо сидел на нарах, хрумкал сухариком - свадьба была, видать, не шибко богатая, или же хозяева забыли снабдить старика на дорогу чем повкусней. Во время обеда мы накормили Макара Ионыча щами из кислой капусты, пшенной кашей, напоили чаем. В отличие от нас, он побаловался чайком всласть, выдул котелок, изрядно вспотев. Колбаковский не преминул внушить:

- Надуваешься, а как будешь сливать?

- Потерплю, товарищ старшина, - смутился Макар Ионыч. - Я терпеливый, выдюжу хоть сколь...

Он пропустил столько остановок, что я забеспокоился. И когда остановились в поле, заставил старика выйти из вагона. Настороженно озираясь, он пристроился у ближайшего кустика. Я опять стал беспокоиться: эшелон вот-вот тронется...

Облегчившись, Макар Поныч взбодрился и осмелел. Пустился в объяснения:

- Ехаем по Ишпмыо, то ись Ишимские степи это...

Мы и сами зрели: степь куда ни глянь, изредка березовые колки. Кое-где ходила под ветром пшеница, кое-где были распаханные клинья, в остальном трава, ковыли, кустарничек. Толя Кулагин, как бывший полевод, спросил:

- Что за почвы?

- Пошти чернозем, что твоя Кубань, - не без хвастливости ответил Макар Ионыч. - Воткни оглоблю - дерево вырастет! А за Омском, за Татарской проехаете Барабинские степи. Пониже, на юг от Барабы, Кулунда, то ись Кулундинские степи, хлеба там, на Алтае, богатеющие. Целика там много...

- Целик - это целина. - пояснил нам, серым, бывший полевод Толя Кулагин.

Потом Макар Ионыч поведал о ходе свадьбы, о невесте и женихе, о гостях - местных и приезжих, о своих родичах, о своей старухе. На данном вопросе, насчет старухи, его попросили остановиться подробней, уточнив, сколь годов они живут парой. Старик уточнил: на пару живут сорок годов, это у него вторая жена, а с первой он прожил десять годов.

- Померла? Либо разошелся? - в упор спросил Головастиков, скребя небритую щеку.

- Разошелся.

- Почему?

- Не сошлися характером, - сказал Макар Ионыч и загадочно улыбнулся.

Головастиков с той улыбки сделался еще мрачнее, старик же окончательно разохотился говорить. Обстоятельно рассказал о характере и внешности супруги, и по всем статьям выходило, что добрей, верней и пригожей бабы не сыщешь. В виду имелась нынешняя супруга, предшественницы он не касался, сообщив лишь:

- Звали ее Евдокия Петровна. А мою законную зовут Евдокия Ивановна! А то и вовсе морской узел: первая-то женка вышла опосля за Макарку Сухореброва! Одна пара склеилась - Евдокия да Макар. И друга пара - опять же Евдокия да Макар...

- От перемены мест... этих... слагаемых сумма не меняется, -

изрек Свиридов.

Какой-то озорник спросил сверху:

- Ну, а жене изменял, дедушка? Признавайся! Законной, Евдокии Ивановне?

- Нет, - твердо ответил Макар Ионыч.

- Почему? - снова в упор спросил Головастиков.

- Во-первых, опасался дурну болесть подцепить. Ну, во-вторых, любил старуху свою, стало быть...

Кто усмехнулся, кто рассмеялся, а Головастиков угрюмо сказал:

- Силён старик.

Головастиков в последнее время не пьет, а если и пьет, то самую малость, потому что незаметно. Но с каждым днем он все угрюмей, и я не без опаски думаю: Головастиков из Новосибирска, вот-вот попросит трехдневный отпуск, надо отпускать, а не наломает он там дров со своей разлюбезной неверной женой? Бывало, что фронтовики круто расправлялись с этакими дамочками.

Не пустить? Так сам сбежит! Что за мысли у Головастикова, знать бы. Ишь как дотошно выспрашивает у старика, как нехорошо блестят его глаза. Ей-богу, наломает дров в Новосибирске, чует мое сердце.

Я мысли Головастикова не угадываю, а он мои угадывает.

И говорит:

- Товарищ лейтенант, дозвольте обратиться? Разрешите задержаться в Новосибирске, повидаться с женой.

- Гм... - отвечаю я, несколько растерянный. Нахожусь, обретаю уверенность: - Разговор преждевременный, до Новосибирска еще далеко.

- Ничего не далеко, - говорит Головастиков. - Четыреста пятьдесят километров. От Омска.

- Навроде того, - поддерживает Макар Ионыч. - По сибирским понятиям рядышком.

- Рядышком? - говорю я. - С остановками протащимся сутки... И к тому же я самостоятельно не могу разрешить отлучку, надо согласовать с комбатом, с замполитом.

- Потому и нужно загодя начинать, - говорит Головастиков.

И он, конечно, прав, не оспоришь. Добавляет: - Промежду прочим, я с замполитом уже разговаривал...

- Субординацию нарушаешь, не но команде действуешь.

- С комиссаром можно, товарищ лейтенант, - говорит Головастиков, вторично ставя меня в тупик.

- С комиссаром-то с комиссаром, а через меня перепрыгиваешь... И что же он тебе сказал, комиссар?

- Сказал: "Ты разгильдяи, тебя нельзя отпускать".

- Вот видишь. Головастиков...

- Ничего не вижу. Прошу отпустить.

- Подумаю, подумаю.

Разумеется, буду думать, отпускать Головастикова или нет.

Но прямота, с которой он передал мнение замполита, подкупает меня, настраивает на благожелательный лад. И второе обстоятельство: если Трушин категорически против, я скорей буду за. Таков уж закон противодействия, имеющий быть в моих с Трушиным отношениях. Глупости это, идиотство, однако факт: не согласиться с Трушиным для меня соблазн. Не всегда, но часто. Словом, риск благородное дело. На риск, и немалый, придется идти, отпуская Головастикова. Не мешает с комбатом посоветоваться. Посоветуюсь, если выпадет возможность. Ладно, до Новосибирска еще порядочно.

Все-таки Головастиков фрукт: до последнего момента утаивал, что из Новосибирска, а ведь можно было вмешаться в разговоры, когда старшина Колбаковскпй демонстрировал свою осведомленность насчет Транссибирской магистрали. И Свиридов не сообщает, что он иркутский, хотя мне это известно. Иркутск тоже будем проезжать, Егорша Свиридов, ясно, попросится. Его я отпущу без помех.

Эшелон, пыля, рассекал степи. Они напоминали мне донские степи, по здесь они шире, необозримей, величественней. Ну и масштабы на востоке: то беспредельные леса, то беспредельные степи, вскоре опять пойдут леса - и опять без предела. До чего же огромна паша страна! Огромная, а целиком умещается в твоем сердце.

Солнце раскаленным, будто пульсирующим шаром садилось за горизонт, по степи растекался лиловатый - вперемежку с голубым - свет. Ветер продувал ее насквозь, волоча по проселкам пыль и иссушенную колючку, сгибая придорожный цикорий. Но он не мог сдуть ворон с чашечек изоляторов, ласточек - с проводов, птицы были словно приклеены. Если к телеграфному столбу приложить ухо, услышишь, как поют провода. Некогда я получал от этого занятия удовольствие. Пацаном.

У колка пасся табун, лошади были разномастные, худые и понурые. Лишь гнедой жеребенок-стригун носился, взбрыкивая, играл сам с собой. Сивый мерил, расставив мосластые ноги, печально смотрел на его шалости. И, видимо, не понимал их.

Макар Ионыч выкурил самокрутку, предложенную ему Филиппом Головастиковым, и стал рассказывать про своих сынов и внуков:

- У меня избыток баб, стало быть, шесть дочек и шешпадцать

внучек. А сынов трое. Все детки от Евдокии Ивановны, от Евдокии Петровны не было, чегой-то у ей не зачиналось... И пятеро внуков у меня. Сынов зовут по старшинству: Яков, Алексей, Парамон.

Внуков: Васятка, Гришка, Володька. Федька и Петюпя. - тоже по старшинству счислил. Весь мой мужской корень воевал... Ну.

сыны - те в меня: не лезут наперед, уважительные. А с внуками разнобой: Васятка и Петюня хорошие, в отцов, а Гришка, Володька и Федька фулиганы были, не приведи господь. Царствие им небесное. Потому как Гришка и Федька убитые на фронте, а Володька пропал без вести, считай, нету в живых. А из сынов убитый Алексей, раб божий... Вот и скажу вам, ребятки: ничего страшнее нету, ежели убивают человека до смерти...

Наверно, это так, Макар Ионыч, наверно. Хотя я видел коечто, возможно, пострапшее смерти. Это когда человек сошел с ума. Фамилия его была Леговский, такой интеллигентный солдатик, из недоучившихся студентов, наподобие меня. Жить-то он остался, но перестал быть человеком, ибо без разума что за человек? Быть может, на меня этот случай произвел впечатление потому, что к смерти я попривык, а сумасшествие на глазах первое и последнее.

Было это в январе сорок четвертого под Оршей, Леговскпй прпбыл в роту за месяц до нашего наступления, неудачного, кровавого, трагического. Но кто из нас догадывался, что оно будет таким? К нему готовились, к зимнему наступлению, его ожидали нетерпеливо, с надеждой: наступать - значит, идти вперед, на Оршу, и дальше, на Минск, и еще дальше, пока хватит пороху.

А пороху не хватило и на триста метров. О эти злосчастные метры, на каждый из которых приходилось, я думаю, по десятку убитых бойцов! Конечно, я преувеличиваю, но наложили нашего брата тогда густо. Пожалуй, впоследствии нигде не встречал подобной густоты.

Леговский был малорослый, слабосильный, застенчивый, терялся, натыкаясь на грубость бывалых солдат. Они не папькалнсь с ним, попрекая физической немощью, очками в золотой оправе, подпиленными ногтями, отсутствием мата в лексиконе и наличием линялых обмоток на искривленных рахитом ногах. Обмотки-то и выдавали в нем ненастоящего, необстрелянного солдата, обстрелянные, как доказано, ходят только в сапогах, хотя бы и трофейных. Я утешал его: будет наступление - разживешься у фрицев.

Он отвечал: благодарю вас. Он мне неизменно говорил "вы", я ему, задубевший, выдавал "ты".

Леговского забрали в армию после отсрочки. Он объяснял

мне:

из-за близорукости была отсрочка, потом пропустили через медицинскую комиссию - годен к строевой службе. Понятно, подчищали, тут и близорукий, и пожилой сойдут: война требовала людей, где ж их наберешь, одних молодых да здоровых? Три месяца в запасном полку - и на фронт с маршевой ротой. И - здравия желаю, рядовой Леговский! Он, разумеется, отвечал: здравствуйте - от гражданки еще не отрешился.

Ах, милый, смешной, беспомощный Леговскпй! Он из кожи лез вон, чтобы стать не хуже прочих. Нас гоняли в тылу, натаскивали перед наступлением, и Леговскпй старался не ударить лицом в грязь (падать лицом в грязь, в снежную кашицу, нам приходилось всем). Прибинтовав очки к голове (со стороны - будто ранен в голову), он немилосердно шлепал ботинками, пыхтел, задыхался, натужливо кричал "ура" в атакующей цепи, с разбегу спрыгивал в траншею, снова бежал. На занятиях по рукопашному бою остервенело вонзал штык в соломенное чучело, а выдернуть не мог.

Разбирал винтовочный затвор, а собрать - увы. Но вот стрелял он - с его-то близорукостью - неплохо. Объяснил: в кружке ворошиловских стрелков занимался в школе еще.

Он тяготел ко мне, родственную душу, видать, почуял. Родственности, точнее, сходственпостп было, однако, мало - разве что оба бывшие студенты и одногодки. А разница хотя бы в том, что он в армию попал с четвертого курса (надо же - с четвертого курса забрали), я же в эти годы служил срочную, воевал, валялся в медсанбатах и госпиталях, сызнова воевал и довоевался до командира взвода. Для Лсговского я был начальство, а он жался ко мне, как теленок к теленку. Но я уже не был теленком. А оп был.

Учился Леговский на философском факультете университета, и я не замедлил пошутить: "Ну, филозоп. так в чем же смысл жизни?" Он ответил на полном ссрьезе: "Жить достойно". Происходил Леговскпй из ученой семьи, родители доценты, кандидаты философских наук. Вот и сынок вдарплся в философию. Это неплохо - философия, плохо то, что Леговский вырос комнатным, не приспособленным к жизненным суровостям, что ему только и жить при маме-папе. Правда, я тоже рос комнатным, маминым сыном, но приспичило - и задубел. Постепенно: служба в кадрах, затем уж война. А вот Леговскому это еще предстояло - задубеть.

Но оп не выдержал, сломался. Может, потому, что постепенности не было. Сразу в пекло. И он свихнулся. В самом прямом смысле этого слова.

Когда началась артподготовка, Леговскпй побледнел. Я положил ему руку на плечо, надавил - для ободрения. Он криво, вымученно улыбнулся и побледнел еще больше. Сказать бы ему утешающие, бодрящие слова, да за грохотом стрельбы и разрывов не услышишь и самого себя. Я хлопал его по плечу, думал: "Напрасно до артподготовки не поговорил, не подбодрил. Закрутился и упустил возможность побеседовать". Беседы эти - моя командирская обязанность - помогают, да отнюдь не всякому. Позже я понял, что Леговскому беседа вряд ли бы помогла.

Перед наступлением мы сменили полк, занимавший оборону, затем нас сдвинули, потеснив еще одной свежей частью. Траншеи были набиты пехотой, повернуться негде. Было сумрачно, мглисто, падал ласковый снежок, и падали снаряды. Ибо немцы здорово огрызались и коптрбатарейная борьба нарастала. По тому, как доставалось нам, ясно было, что и немцам достается.

По логике, однако, им должно было доставаться гораздо больше, нежели нам: мы первые открыли внезапный и мощный огонь по их разведанным, пристрелянным позициям. Но на войне логика не всегда срабатывает. Хотя, возможно, логика тут все-таки была:

далеко не все огневые точки противника были засечены нашими наблюдателями, и в то же время многие наши точки были засечены немцами. Как бы то ни было, огонь немецкой артиллерии плотнел, ожесточался.

Немцы били и по артиллерийским позициям, и по траншеям и землянкам, где засела пехота. Сперва они не стреляли, будто оглушенные нашими орудиями: мы слышали лишь выстрелы за спиной и разрывы впереди. Так продолжалось минут десять, радуя сердца.

А затем снаряды стали рваться за леском, где стояла артиллерия и танки, и на переднем крае у нас - возле траншей и ходов сообщения. Немецкие снаряды. И сердца уже не так радовались.

Был блеклый рассвет. Из мглы проступали проволочные, в три кола, заграждения, кое-где разрезанные и разведенные саперами, голые кустики и трава ничейного поля, и подальше угадывалась немецкая колючка, спиралями безо всяких проходов; может быть, наши саперы их еще проделают, а нет набросим на проволоку шинели да по шинелям... Это будет минут сорок спустя, когда артиллерия перепесет огонь в глубину немецкой обороны и мы пойдем в атаку. А покамест снаряды выворачивали глыбы мерзлой земли, перемешанной со снегом и корнями будяка, и эти глыбы шмякались о бруствер.

Грохот долбал по барабанным перепонкам, от него

разбаливалась голова. Траншея, где мы стояли, покачивалась, словно плыла на волнах. Солдаты были сосредоточенные, внешне спокойные: кто курил, кто грыз сухарь, кто поправлял каску либо вещевой мешок на горбу, кто подтыкал полы шинели за пояс - так бежать удобней, кто напряженно оглядывал нейтральное поле, кто нагибался, если снаряд падал вблизи. И только Леговский, как мне думалось, был явно взвинчен, откровенно встревожен: руки у него тряслись, нижняя челюсть отваливалась, взгляд бегающий. По совести, встревожен был и я, и не столько тем, что Леговскпй трусил, сколько тем, как огрызались гитлеровцы. Не подавим их артиллерию, пулеметные гнезда - перепадет на орехи всем, не одному Леговскому.

И чем больше я вслушивался в грохот артиллерийского боя, тем больше росло во мне предчувствие неудачи. Я старался подавить его. а оно не подавлялось - как немецкие пушки.

Снаряд упал в соседнем колене траншеи, другой разнес землянку. Засновали санитары с носилками. Дурное предзнаменование. Еще до атаки несем потери. А ее начало - вот оно: дерущий по сердцу скрежет, в небе огненные трассы реактивных снарядов.

Залп "катюш", артиллерия переносит огонь на немецкие тылы, и мы выбираемся из траншей. За Родину! Коммунисты, вперед!

Мы пошли, увязая по щиколотку, а то и по колено в спегу, прерывистой, неровной цепью, кто опережал со. кто отставал, и эти отстававшие были моей заботой. Я орал: "Шире шаг. славяне!" - и, оглядываясь, призывно махал рукой. Среди отстававших был и Леговский, я прокричал: "Леговский. какого... плетешься?

Подтянись!" Брань и команда подействовали, он приблизился ко мне, сутулый, мучнисто-бледнып, с прибинтованными к башке запотевшими очками. Черта ли он увидит в них? А без очков вовсе слепой кутенок.

Мы шли, подгоняемые собственными криками и стрельбой. Вокруг творилось невообразимое. Немцы садили из орудий и минометов, метров через сорок на нас обрушился и пулеметный огонь, Давно я не переживал такого лиха. Па нейтралке стлался смердящий дым, рвались снаряды и мины, пересекались пулеметные очереди. В цепи то тут, то там падали. Кричали раненые. Я еще вопил: "Не отставай, славяне, за мной!-) - но понимал, что атака вот-вот выдохнется. Дали немцы прикурить!

Разорвался снаряд, и меня отбросило воздушной волной, припечатало к бугорку. В глазах потемнело, по сознания не потерял. Подумал: "Жив, осколки помиловали". Затем подумал: "Что с моим взводом? Что с ротой?" Приподнял голову и увидел -

цепь на спегу. Залегли. Врешь, так не пойдет. Ползком, по-пластунски, но вперед!

Я проорал это куда-то в пространство, в снежное, мглистое, грохочущее небо, и с усилием отклеился от бугорка. Тошнило, слабость сковывала движения. Цепь лежала. Не разберешь, кто убит, кто пет. И я полз от тела к телу и орал живым в ухо: "Вперед, по-пластунски!"

И мы поползли и доползли до немецкой проволоки, и здесь фланкирующие крупнокалиберные пулеметы окончательно пригвоздили пас - пп сдвинуться, пи поднять головы. И шестиствольные минометы лупили. Мы прижимались к бугоркам, к трупам, ища спасения. Да, мы уже искали не победы, а спасения. Невозможно сказать, в какой момент произошел этот перелом в сознании, но, когда я увидел труп красноармейца, повисшего на спирали Бруно, - я знал: атака не состоялась. Она захлебнулась в разрывах снарядов и мин, в пулеметных очередях, а мы захлебнулись в своей крови.

Мы валялись, живые и мертвые, у проволочных заграждений.

Падал снег, мело, подмораживало, и мы коченели: живые - медленно, раненые - быстрей, мертвые - совсем быстро. Я лежал, уперевшись подошвами в чью-то брошенную, вмятую в суглинок каску, а подбородком - в приклад автомата. И ступни, и подбородок озябли и были уже нечувствительны. И казалось: холод проникал в меня с ног и с головы, эти две ледяные волны должны были где-то сойтись. И они сошлись, сверля стужей, в низу живота, ибо я лежал ничком на снегу. Я подумал: "Отморожу мужские принадлежности, этого еще не хватало".

Было невмоготу. Замерзал я, замерзали мои солдаты. Как поступить? Подыматься в атаку бесполезно - пулеметы выкосят. Валяться у проволоки бессмысленно - околеем. Выход: как только вражеский огонь ослабеет, забрать раненых и отползать к своей траншее. И тут я вдруг подумал о Леговском. Что с ним? Где он?

Я потерял его из виду.

Леговского я обнаружил возле пашей траншеи, он, как оказалось, полз передо мной. В траптпею мы скатились разом, и, когда встали на йоги, я увидел, что он без ушанки и без очков.

Отходили мы по приказанию комбата, так и не дождавшись ослабления вражеского огня. Грохотали разрывы, свистели пули, а мы ползли, уже не обращая на них внимания. Скорей бы добраться до своей траншеи! И мерещилось, что скорость движения убережет от осколка пли пули. Это был самообман, но с ним, неосознанным, было легче. Да и согревались мы, оживали при переползании - те, кого не убило на обратном пути. Задыхаясь, я тащил на себе раненого пулеметчика, потом его

потащил помкомвзвода. Уже после, в траншее, я подумал: "Раненый-то прикрывал меня от пули, от осколка..."

Леговскпй привалился к траншейной стенке, перепачканный глиной, кровью, сажей, и мускулы на его лице передергивались, а глаза, выпуклые, близорукие, беспомощные, метались, перескакивая с предмета на предмет. Они перескочили с меня на труп, полузаваленпый землей на дне траншеи, с трупа на сорванную дверь блиндажа, с двери опять на меня. Я спросил Леговского, где его очки и шапка, - он издал в ответ что-то невнятное. Не в себе парень. Не может очухаться от пережитого. Я, с пял с убитого ушанку и нахлобучпл Леговскому. Он обхватил ее, натянул на уши, промычал.

Меня вызвали к комбату. Когда возвратился, остатки пашей роты обедали прямо здесь же, в траншее. Леговский с напарником сидел на корточках, хлебал из котелка, поставленного на закоченевший труп. Их, трупов, в траншее было немало, а там, на нейтральной полосе, во много крат больше...

Вместо пораненного ординарца меня обиходил помкомвзвода - отрезал ломоть хлеба, налил из термоса супу, дал ложку. Я не допес ее до рта, услыхав душераздирающий вой. Выл Леговскпй. Он приплясывал, задрав лицо к небу и оскалившись. Я остолбенел.

Он упал, забился в судорогах, вскочил, бросился бежать, налетел на выступ траншеи, снова упал - и ни на миг не прекращался звериный, обреченный вой.

Сперва я решил - истерика. Потом, когда Леговский. став на четвереньки, залаял, я подумал: симулирует сумасшествие. Леговского отвели в сапроту, оттуда отвезли в санбат. Я думал о нем весь вечер и ночь, а утром мы опять пошли в наступление, и Леговский позабылся. Это наступление тоже было неудачным...

Через месяц, когда мы бесповоротно втянулись в прежнюю окопную жизнь и не помышляли о наступлении, командир медсанбата при случае сказал пам, что Леговскпй, точно, сошел с ума, психика не выдержала - в госпитале определили, в санбат пришла "телега", то есть бумага. "Банальное сумасшествие", - прибавил медик.

Но для меня это было необычно. И потому жутковато. В моих ушах возник волчий вой и собачий лай, я увидел Леговского с запрокинутым, перекошенным лицом, оскаленного, стоящего на четвереньках. Сколько попадал я в переделки - похлестче, чем под Оршей, - и пи разу не было, чтоб теряли рассудок. В прямом смысле. В переносном - было. Но то было - и проходило, а тут нормальное, или, как выразился майор-медик, банальное, сумасшествие. Я слушал, как обсуждают это известие солдаты. -

деловито, собранно, как решают, что уж лучше пускай убьет, чем жить сумасшедшим. А может, еще вылечат Леговского? Кто-то мрачно пошутил: мол, к концу войны вылечат, останется в живых, в отлпчпе от нас. Солдаты с той же мрачностью посмеялись, А мне было все так же жутко.

В Омск мы приехали ночью. Гурьбой проводили Макара Ионыча до автобусной остановки, поболтались на вокзале. А затем нас по пустынному ночному городу повели в гарнизонную баню. С нашей ротой банился и гвардии старший лейтенант Трупшц. Почтил пас, так сказать, своим присутствием.

20

ТРУШИН

Рваные черные тучи, однако дождя пет. Изредка проглянет солнце - и опять темно, как вечером. А на дворе полдень, и Федя Трушин одет в майку, парусиновые брюки и сандалии на босу ногу. Жарковато. Под тополями дремлют дворняги. В пыльном бурьяне бродят куры, клюют, кудахчут. Ставни домов прикрыты.

Улица пустынна, и лишь на дальнем конце возникает человеческая фигура. Ей навстречу и шагает Федя Трушин. Когда они сближаются, он видит: гражданин неопределенного возраста, носатый, кучерявый, с прямым прибором несет на шее золоченую раму для картины, - видать, купил в магазине. Голова продета в раму, и похоже - портрет. И это сходство не нравится Феде Трушину. Кто он такой, этот гражданин с прямым прибором, чтобы представать в качестве портрета? По Фединым понятиям, на портретах могут быть только выдающиеся деятели, исторические лица.

А то каждый пожелает быть в золотой раме, висеть на стене - что получится? Поравнявшись с гражданином, Федя Трушин с неодобрением качает головой, гражданин недоуменно оборачивается вместе с рамой.

Эта встреча в пыльном заволжском городке почему-то запала Федору в душу, хотя, повзрослев, он усмехался этой своей наивности, своей прямолинейности. В портрете ли суть? Хочешь красоваться на стене красуйся. Вопрос глубже, серьезней. Он заключался в том, что Трушин преклонялся перед великими людьми, за которыми вставали, естественно, их великие дела. Великие личности и их деяния украшали человеческую историю, собственно - как позднее вывел для себя Трушин - творили ее, историю.

Все в них было масштабно, бессмертно, прекрасно, в вождях, полководцах, революционерах, и отсвет от их благородных ликов как бы освещал и простой народ. Они были в прошлом - далеком и не очень.

Трушин подчас уставал, по не от своей преданности великим, а от своей строгости и требовательности, чувствуя, что перегибает палку (хотя его же изречение: "Лучше перегнуть, чем недогнуть"). Сущность его натуры оставалась неизменной, но он утрачивал тогда суровый тон. хмурость, подмигивал, щербато улыбался и тяжеловесно шутил. Особенно если был расположен к человеку.

А к лейтенанту Глушкову Федор Трушин был очень расположен. Не потому что Глушков обладал исключительными, неотразимыми личными качествами, а скорей потому, что Трушин был не в состоянии жить без человека, которому бы симпатизировал.

И этого он не замечал за собой. Такие люди были у Трушина везде, куда забрасывала судьба. Менялись места службы - менялись привязанности. Последней и был лейтенант Глушков. Можно сказать, что привязанностей у Федора Трушина много было, а любовь одна. Ибо простых смертных было много, вождь - один.

А вообще Федя Трушин нежный сын, заботливый брат и любитель природы. Отец умер рано, сбитый грузовиком. Был он развеселый, разудалый, ухажер и балалаечник и будто торопился жить, предчувствуя близкий конец (мать, больная чахоткой, жива и посейчас). Работал отец на фабрике игрушек и приносил детишкам расписных деревянных зверей, а жене краски, и она красила наличники, перила, двери, ставни, стены, пол - домик выглядел сказочно-красочным. В переулке его так и называли "трушинский терем". По вечерам отец играл детям на балалайке, виртуозно закидывая ее за спину, перебрасывая под ногами, пел частушки. Потом уходил из дому допоздна, и мать кашляла за ситцевой занавеской.

Хоронили его осенним днем, накрапывал дождь, гроб накрыли крышкой, чтоб не намочило покойника. Ему, покойнику, было уже все безразлично, а Феде хотелось хоть напоследок насмотреться на родное лицо с запудренными мукой синяками от ушибов, - шофер был пьян, машину занесло на тротуар, она ударила отца крылом.

Спустя два месяца шофера судили, Федор был на суде, слушал судью, прокурора, защитника, свидетелей и обвиняемого и понпмал: происшедшее непоправимо.

И еще раньше, по дороге на кладбище, Федор осознавал эту непоправимость. Он шел за гробом, поддерживая мать под руку, к нему - не к матери, а к нему - жались сестренки. Она была в черном платье и черной шали, он в белой рубахе - другой не было.

В сентябре еще тепло, но хлюпало, чмокало - заволжская пыль при дождях превращалась в грязюку. Гроб покачивался, его песлп на полотенцах отцовы дружки по игрушечной фабрике, молодцы, как на подбор, статные, кудрявые, в хромовых сапогах гармошкой, на румяных лицах скорбь. И на городском кладбище, неогороженном, запущенном, спуская гроб на веревках в яму, на дне которой блестела вода, они были скорбные, понурые. Но когда после похорон сели за поминальный стол, молодцы оживели, взыграли. Они хлопали стаканами, не закусывая, заигрывали с молодайками, матери пророчили женишка, и это было оскорбительно. Мать сновала из кухни в комнату, таская холодец, соленые огурцы и вареную картошку, а Федор стоял в углу со сжатыми кулаками.

В год смерти отца Федор перешел в восьмой класс. В октябре он бросил школу. Отцовы дружки уговаривали его подаваться на игрушечную фабрику, но Федя устроился - сам, без помощи, - в ремонтные мастерские, выучился на слесаря. Заработанные деньги до копеечки приносил матери. И уж у нее получал на свои нужды, сводившиеся преимущественно к приобретению книжек об исторических личностях.

Отработав смену, Федор ходил за покупками на рынок и в магазины, кашеварил, таскал воду, колол дрова, починял кое-что по хозяйству. Вечерами пособлял сестренкам готовить уроки. Уложив всех спать, ложился и сам. А утром вскакивал первый, разогревал завтрак, кормил сестер и хворавшую мать и топал на автобусную остановку. Трясся в разболтанном, дребезжащем автобусе, подняв воротник полупальто, клевал носом не без риска проехать ремонтные мастерские.

Но воскресенье было его, Федино. Зимой он читал запоем книги, летом уходил один в лес, без сестер. Пропадал целый день, не принося пи ягод, ни грибов. Что там делал - никому не рассказывал. Но сестренкам на досуге рассказывал разные истории про птиц и зверей. Так, например:

- Вот вы, засопи, спите и не слыхали, как по ночам в конце апреля кричали кукушки. Откуда я знаю, не спал, что ли? Спал, да знаю... Так вот, это в лесах кричали самцы кукушки, они прилетели первые. Позже прилетели самки. И уж как они кричали по ночам: самцы - та-та-ку, та-та-ку, самки буль-буль-булъбулъ. Вообще-то они кукуют, правильно, но весной ночами кричат именно так... Ну, весной кричат все птахи, каждая по-своему. После крику они строят гнезда, откладывают яйца, садятся на них.

А кукушка не желает строить гнездо, она подбрасывает свое яйцо в чужое гнездо, чтоб кто-то за нее высидел. Не верите?

Честное комсомольское!.. Верите? Ну, а теперь мотайте на ус, как это происходит... Кукушка выбирает самое высокое дерево и часами с верхушки выглядает гнездо, куда бы подложить свое яйцо. Если хозяева в гнезде, кукушка выжидает, а когда они отлучатся, садится в их жилье. Снесет яичко - и дёру. А бывает так, что хозяева засекают кукушку, подымают крик, им на подмогу со всех сторон летят другие птахи, и кукушка удирает. Тогда она что?

Тогда она появляется с самцом, Помозолив глаза, он улетает, за ним устремляются защитники гнезда, а кукушка тем часом пробирается в гнездо. И еще что делает, разбойница! Выбрасывает пару яиц хозяйских, чтоб положить свое! Но что еще вытворяет, послушайте! Если гнездо маленькое и кукушка в нем не поместится, так она снесет яйцо на земле, а потом в клюве несет в гнездо.

Ох и хитрющая... Ну, а дальше... дальше не знаю, рассказывать лп? Уж больно нескладно получается, жестоко. Рассказать, говорите? Ладно. Слушайте... Птичка, допустим зорянка, высидела яйцо, и вылупился кукушонок. Вылупился на день, на два раньше, чем птенцы зорянки. Маленькая зорянка смотрит на него, большого, удивляется. Но начинает кормить. А он орет, все ему мало. Зоряики улетают за кормом, и тут кукушонок выталкивает из гнезда яйцо, второе. А когда появляются птенцы зорянкп, он и их выбрасывает из гнезда. Всех, одного за другим. Один остается, весь корм ему. Разбойник, да? В мамашу. А подрастет - и покинет своих приемных родителей... Безрадостная жизнь у кукушек, потому, наверно, они так грустно и кукуют. Нельзя на неправде, на зле строить свою жизнь, правильно?

И на фронте Федор Трушин любил поваляться на травке, понаблюдать за кузнечиком, ящерицей, сорокой или белкой, ежели позволяла обстановка. Наблюдал, улыбался, вздыхал. И никому не рассказывал о наблюденном. На войну Трушин уехал через неделю после ее начала. Часть дислоцировалась в Оренбурге, стояла сушь, травы блекли под знойным солнцем, на город из степи наплывали пыльные тучи. Федор в числе первых подал рапорт:

"Прошу командование направить меня на фронт борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, вероломно напавшими на священную социалистическую Родину..." Командир части в уголке наложил резолюцию: "Не возражаю". И Федор Трушин покатил наперехват своей фронтовой судьбы. Он катил по железным и шоссейным дорогам, вышагивал по проселочным и думал: "Как же это могло случиться, что Гитлер посмел напасть? Разорвал пакт о

ненападении, обманул нас... За свое вероломство Гитлер и его шайка расплатятся, они еще поплачут кровавыми слезами..."

Пока же плакали русские женщины, хотя и не кровавыми, а обыкновенными слезами. Собирая и провожая близких на войну, они, русские женщины, знали, чем она обернется. И пусть мать Трушина не собирала и не провожала его, и она в эти дни плакала горькими бабьими слезами. Может, она и крестилась, и шептала в ночной тишине: "Сохрани тебя бог, Феденька... Да ты и сам оберегись, сынок..." И, быть может, вспоминала, что сын не очень-то берег себя. Перед самым призывом в армию в однодпевье дважды отколол.

Был канун Октябрьской годовщины. В городке гуляли и в честь праздника, и в честь призывников, которых военкомат ВОЈ-ВОТ должен был отправить в армию. Городок умел погулять! В районном Доме культуры крутили кино и давали концерты, по квартирам свои концерты - оконные стекла звенели от песен и плясок, по мосткам и кирпичикам, под гармошечные переборы ходили принаряженные толпы, и ветер трепал красные флаги над каждым домом. Веселье, радость, хмельная легкость! И самыми веселыми и хмельными были призывники, уже остриженные под нулевку. Менее других был навеселе Федя Трушин, но зато он более других сокрушался по утраченной шевелюре. Шевелюра была, что говорить, завидная: смоляная, завитушная, не расчешешь гребешком, чуб до глаз. Федор принимал с матерью гостей, сам ходил в гости и все стеснялся своей оболваненной, как смеялись призывники, башки. И не без поспешности натягивал кепчонку, выбираясь на улицу. По улицам Федя шел, угнув голову, и все поправлял кепочку, как бы проверяя, не унес ли ее ветер. А ветер дул в лицо и в спину, рыскал вдоль палисадников, высекал волну на речке. Федя свернул к речке только потому, что увидел: кто-то растелешился и, белея незагорелым телом, полез в воду. Бр-р!

Не жарко! Или кто-нибудь из подпивших, коим жарко и коим море по колено? Он подошел поближе и признал в купальщике Ваську Анчишкнна - сосед через улицу, тоже призывник, башка оболванена.

Васька крутил этой выстриженной башкой, таращил зенкп, орал что-то лихое и нечленораздельное, бил ладошками, подымал брызги. Однако, отплыв от берега на середину, он вдруг окунулся с головой, вынырнул и завопил совершенно членораздельно: "Утопаю, спасите!" Опять скрылся под водой, вынырнул: "Спасите, утопаю!" Сперва Федор подумал, что Васька придуряется, изображая тонущего, - парни иногда так забавлялись. Но потом, вглядевшись, сообразил: и впрямь тонет,

дурачина, пьяная морда.

Он разделся и бултыхпулся в воду. Она обожгла, и он подумал: "Купаться в такой - только спьяну". И еще подумал, что Васька здоров, не зря его прозвище Бугай, вытаскивать будет нелегко. Чтоб быстрей добраться до Васьки и чтоб было не так холодно, Федя поплыл энергичными саженками. Когда полуживой, наглотавшийся водицы Васька вынырнул, белея бледно-зеленой рожей, Федя схватил его за шею. Васька вцепился в плечо, поволок на дно. Федор оторвал его руки, окунул с головкой. Васька подуспокоился, и тогда они поплыли к берегу: Федор на боку, гребя одной рукой, другой таща за собою послушное, огрузневшее Васькино тело.

На берегу откачивал Ваську, его рвало водой и слизью, он стонал, охал и всхлипывал. Очухавшись, несостоявшийся утопленник стал одеваться. Оделся и Федор, дрожа и выстукивая зубами. Васька сказал:

- Слышь, Федька, айда ко мне. Выпьем, согреемся. Угощаю как своего спасителя.

- Иди к черту, - сказал Федор. - Лезешь в воду пьяный, а пз-за тебя приходится купаться не по сезону.

- Судорога у меня была. Свело обе йоги, Спасибо, что спас.

Пойдем тяпнем, а?

- Не пойду. А спас я не только Ваську Бугая, но и будущего бойца Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Гляди не вздумай пить в армии, опозоришь нас всех...

После купели Федор согрелся не водкой, а пожаром. За пустырем и садом, на отшибе, стоял домишко, ветхий, покосившийся, с засыпанными землей стенками, с плохо вымытыми окнами. Наверное, такие оконные стекла были единственные на весь городок, ибо к Первомаю или Октябрю домашние хозяйки заставляли буквально спять свои окна. Но в этом домишке жила Красотка Клавка, и этим объяснялось все. Красотка Клавка была действительно когда-то красивой, но сейчас поблекла, подурнела. В городке она известна как гулена, лентяйка и грязнуля. У нее, безмужней, две маленькие дочки, и Красотка Клавка, уходя в гости, оставляет их одних, подпирая дверь поленом.

Федор увидел это полено, но сначала он увидел, как из щелей выбивался дым, а в окошке плясало пламя. В домике горело!

Пожар! Федя отбросил полено, отвел дверь, и в лицо ему ударили искры, горячий воздух и дым. И в сенях, и в комнате было полно дыма, прошиваемого языками огня, он трещал, шипел, брызгал искрами. Дым выедал глаза, душил. Прикрывшись носовым платком, Федор силился увидеть девочек. Крикнул:

- Где вы? Эй, где вы?

Никто не отзывался. Трещало и шипело пламя. Задыхаясь, Федор нашаривал рукой табуретки, стол, кровать. Девочки были под кроватью. Полузадохнувшихся, он вынес их одну за другой наружу. Закопченный, обожженный, с воспаленными белками, судорожно кашляя, он стоял возле горевшей хибарки и смотрел, как народ сбегается на пожар.

Позже выяснилось: девочки нашли в столе спички, стали баловаться, подожгли занавеску, испугавшись, залезли под кровать.

А хибарку, между прочим, отстояли, всем миром подлатали жилье Красотки Клавки, она и посейчас там обитает.

А с Васькой Анчишкиным, вытащенным Федей из осенней воды, они в дальнейшем вместе служили в стрелковом полку, вместе воевали на фронте и вместе попали в госпиталь. Федю подлечили, а Васька Анчишкин умер от гангрены.

В том бою, когда их ранило, решалась судьба переправы через Донец. "Юнкерсы" три дня кряду бомбили мост и скопившиеся около наши войска, немецкие танки рвались к реке, но их

сдерживали на оборонительном рубеже километрах в двадцати отсюда - наши артиллеристы и пехотинцы.

Жгло летнее солнце, в раскаленной степи за каждой машиной вставало пыльное облако, бойцов мучили жажда и нехватка боеприпасов. А немцы от души, от пуза стреляли из орудий и минометов, бомбили, бросали в атаку танки и самоходные установки.

Канонада утихала лишь к ночи, и в степи багровели пожары - подбитые танки и автомашины, развороченные фермы и полевые станы, подожженный массив пшеницы, ее смрадным, прогорклым запахом забивало сладковатый трупный.

Хоронили своих, на немцев не хватало сил. Да и времени нехватало. Днем отбивались от противника, ночью углубляли окопы и траншеи, рыли запасные позиции. А немцы ночами преспокойно почивали, за вычетом дежурных ракетчиков и пулеметчиков: до рассвета над степью взмывали белесые ракеты, посвистывали пули.

Еще три дня назад здесь было тихо, танковый гул только надвигался с северо-запада. Пахло не горелой пшеницей и трупами, а чернобылом и мятой, и Федя Трушин дышал полной грудью, покусывая вкусную степную былинку. Трое суток удерживали оборону, а на четвертые покатились к Донцу. Полк, в котором служили Трушин и Апчишкип, отходил последним, прикрывая остальные части. Арьергардные бои не сахар: паши ходко отступают, чтоб успеть переправиться на тот берег, немцы прут, того и гляди перережут дорогу, окружат полк. Тогда, летом сорок второго, мы немецкого окружения боялись так, как в последующие годы немцы стали бояться нашего окружения.

Зацепившись за прибрежные холмы, полк стоял насмерть и позволил всем частям переправиться. Но когда начал переправляться сам, бомба с "юпкерса" попала наконец в мост. Немецкие танки и самоходки то там, то тут выползали к реке, к переправе. Много наших полегло в лозняке, на отмелях, в реке: Донец переплывали на бочках, ухватившись за конский хвост или саженками, если умеешь. Пулеметные очереди и снаряды вспенивали воду - танки били из кустов прямой наводкой.

Трушин плыл в намокшей одежде, тянувшей на дно, окунал голову, будто это могло уберечь ее от пули либо осколка.

И вдруг - невероятно! - вспомнил, как спасал в Заволжье подпившего Апчишкина.

Земляк плыл рядом, тоже опуская голову под воду. А затем пуля ужалила Трушину плечо, вода окрасилась кровью, Анчишкиы тут как тут, помог доплыть до мели, и Трушин ни о чем больше, как только о раздиравшей плечо боли, думать уже не

мог. На мели пуля нашла и Апчишкипа, ударила в бедро, он упал. Санитары оттащили их обоих на сушу, в буерак, погрузили на двуколку. Скрючившись, Трушин покачивался в повозке, и сквозь пресный запах крови ему мерещился запах мяты, чернобыльника, клевера. Пикируя, ревели моторами "юнкерсы", бомбы и снаряды взрывали нагретую землю и нагретый воздух степные миражи, никли под слоем пыли хлеба и сады, и вдоль шляха затаились в страхе сгоревшие и еще не сгоревшие хутора.

В госпитале у Федора Трушина было вдоволь свободного времени. Он сочинял стихи. Скрытно, никому не показывая. Парочку стихотворений посвятил умершему Васе Апчишкнпу, остальные - Сталину. О Сталине он писал еще до призыва, писал в армии, на фронте и особенно в госпиталях. Ни в какие редакции не посылал. Во-первых, это было сугубо личное, сокровенное, во-вторых, считал их несовершенными, недостойными Сталина, которого воспевали во всех журналах и газетах сотни профессиональных поэтов, не чета ему, самоучке. Он просто с величайшей тщательностью переписывал свои творения в общую тетрадь под коричневым коленкоровым переплетом. Эту тетрадку хранил от посторонних взоров бдительпейше.

А письма матери и сестрам Федор писал открыто, не таясь, даже комментируя кому-нибудь, кто был близко. Он кроме писем посылал им деньги по аттестату, и мама не переставала благодарить его, а он понимал: при рыночной дороговизне деньги те мало что значат. Он рассматривал корявые, педоппсаппые слова в мамином треугольнике и аккуратные, красивые буковки в сестриных треугольниках и воочию видел свой городишко, домтеремок и маму с сестрятамп. Всех такими, с какими распрощался, уезжая в РККА.

День, когда команду призывников отправляли в Оренбург, выдался пасмурным, промозглым. Утром Федя поднялся с мыслью: "Все. Сегодня все в последний раз..." Он умылся, побрился, погладил перед зеркалом стриженый затылок, как будто шевелюра могла отрасти за педелю. Затем с вещевым мешком за спиной, сопровождаемый мамой и сестрами, с радостью не пошедшими в школу, он направился в военкомат. Во дворе военкомата призывников заперли и не выпускали часов пять, а родня топталась за воротами. Кое-как построились и колонной, вернее, толпой - на вокзал. Федя шагал по лужам, моросил дождь, было зябко и грустно. Миновали переулок, где кособочился домтеремок, краска на нем поблекла, облупилась, вышли к привокзальному скверику - тополя голые, паровоз свистит. Мама, глядя на паровоз, крестилась, по впалым морщинистым щекам стекали слезинки, сестрята веселились,

толкали друг дружку, курносые, белобрысые, с пышными косами, Федю дергали за рукав: "Пиши нам про службу подробно, обещаешь?" Он обещал. Он умел писать подробно.

Сестры белобрысые, а он цыганистый. В кого? Молодцы с игрушечной фабрики скалились: "В соседа!" Мать сердилась, объясняла: "В деда. В моего то есть батю. Такой же чернявый. А я вот беленькая, в маманю..."

Вообще гвардии старший лейтенант Трушин был красив: широкоплеч и строен, с тонкими, удлиненными чертами, с гордой посадкой крупной головы, глаза, точно, черные, жгучие, и чуб, точно, смоляной, кудрявый. Одно портило - щербатинка, из-за которой он пришепетывал. Ее происхождение: Трушин стоял в блиндаже у окна, смеялся, неподалеку упала мина, осколок на излете ударил в окно и в рот, отколол кусочек от двух передних зубов. Будь осколок посильней, не предугадать, чем бы все кончилось. Изучая щербатину перед карманным зеркальцем, Трушин хмуро пошутил:

- Спасибо, что не проглотил.

Он был неравнодушен к своей внешности и не скрывал этого, изъянец с зубами изрядно расстроил его. Петр Глушков, посмеиваясь, утешал:

- Не скажу, что до свадьбы заживет. Скажу, что после войны поставишь золотые коронки, фиксами будешь прельщать слабый пол...

- Слабый пол мы и без фиксы прельстим, - сказал Трушин не улыбаясь. На эту тему он не собирался разводить шуточки.

21

Гарнизонная баня в Омске была тесная, пропахшая хлоркой и мышами, с отсыревшими, заплесневелыми стенами и потолком, с которого шлепались увесистые капли и не менее увесистые куски штукатурки. Но все это меркло перед горячей водой, мочалкой и куском хозяйственного мыла. А еще был душ! А еще была парилка! К сожалению, очередь в нее была такая, что и через сутки не попасть. Можно было бы проявить твердость, и офицера пропустили б вне очереди. Но в бане все роты перемешались, в предбаннике и бане чужие солдаты, ну как не признают за начальство: голяком, погон нет. Тут все равные - голые, со шрамами и вмятинами, с отметками войны.

Решили с Трушиным: обойдемся без парилки. Как в том анекдоте: не больно-то хотелось. Попариться, конечно, хотелось, но и так славно: шайка горячей воды, намыливаешься, трешь мочалкой на совесть, без дураков. И нет в помине пота, грязи и усталости, кожа горит, душа поет! Мы терли с Трушиным спины друг другу, обмывались под душем, снова орудовали мочалками,

как наждаком, безжалостно сдирая с себя кожу. От избытка чувств я насвистывал "Синий платочек", Трушин мурлыкал:

"Кони сытые бьют копытами..."

В предбаннике мы надевали чистое бельишко, которое выдавал старшина Колбаковский. Солидный, с сознанием ответственности момента, он слюнявил химический карандаш и ставил в ведомости жирные галочки. Выдаст майку с трусами либо рубашку с кальсонами, поставит галочку против фамилии получившего и со значительностью выкликнет:

- С-следующий!

"Почему галочку, а не крестик?" - подумал я, и эта вздорпейшая мысль не сразу отвязалась от меня.

Мы развалились на лавках, распаренные, отмытые донельзя, с сырыми волосами, блаженные. Не хватало лишь пива. Наверное, его в Омске можно было бы достать, если б не ночь.

Армейская банька, будь то на фронте или же в сибирском городе Омске! Это святое дело. Аминь. Одна из немногих житейских радостей, выпадавших нам на долю. Зато большая радость.

Еще раз аминь. Помню, на фронте был период, когда вши одолели нас. Набрались мы от немцев: захватим блиндаж, переночуем - и пошел развод. Прямо-таки кишели в складках одежды.

Изведут тебя, бывало, ты уже и бить их перестал, и чесаться сдался: жрите, проклятые. Но тут приезжает походная баня - большая палатка, где моются, и дезкамера, где обрабатывают обмундирование и белье сухим паром, - милая вошебойка, спасительница наша! И немедленно после этого настроение у личного состава поднималось на сто градусов. А возможно, и выше. Так что баня серьезный фактор.

На улице ночная свежесть обдала нас, охолонула, взбодрила.

Был глухой час, и улицы были безлюдны. Если не считать нас, служивых. У подъезда бани слышались покашливание, приглушенный говор, среди которого выделилось, как отпечаталось:

"Воспитанные люди говорят: с легким паром! Ты невоспитанный, Мамонов?" Тлели огоньки папирос и цигарок. Мы с Трушиным курили, угощались у комроты-три. Сигареты "Спорт", коробочка с дискоболом на этикетке, не перевелись, значит, еще кое у кого немецкие трофеи. А у меня - пшик. Поэтому курю что придется - и папиросы, и сигареты, и махорку. Поэтому и кашляю: надо что-то одно.

Роты построились, зашагали по мостовой, вымощенной булыжником. От вокзала нам навстречу поднимались в гору

другие батальоны - в Омске, видимо, банился не один наш эшелон. Мы с Трушиным шли по тротуару, то кирпичному, то дощатому, покуривали, переговаривались. Было лунно, безветренно и влажно - сказывалась близость Иртыша. Незнакомый город спал, не подозревая, что лейтенант Петр Глушков со товарищи имел честь помыться в местной гарнизонной бане и вышагивал сейчас к вокзалу мимо цветников, тополей, заборов и домов с закрытыми ставнями. Глядя на эти ставни, я думал, какие за ними там люди и как живут. Ничего определенного на эти вопросы ответить, разумеется, не мог. Но мнилось: в Омске уже бывал, очень давно, и ходил вот так же по его ночным улицам, гадая, что за люди в его домах и как живут.

Я не весьма прислушивался к тому, что говорил Трушин, отвечал ему рассеянно, и он рассердился, скрыв это шуткой:

- О великих материях задумался? А что замполит говорит - наплевать?

- Почему же наплевать? - сказал я. Действительно, неладно: с тобой разговаривают, а ты думаешь о постороннем, буркаешь в ответ невразумительное. - Говори, пожалуйста. Я слушаю.

- Ну, так слушай, - уже с откровенной сердитостью сказал Трушин. - Ты на каком основании вез гражданского? В воинском эшелоне? Соображаешь, ротный?

- Что ж раньше не сказал? В бане, например? Не хотел мне портить банное расположение духа?

- Да и себе не хотел. Однако ближе к сути. Почему пустил в вагон старика?

- Потому и пустил, что старик, - сказал я и взялся объяснять свои мотивы.

- Гуманист, - сказал Трушин, выслушав меня. - Гуманизм - это, конечно, мило. Но зачем же нарушать закон, порядок? Добреньким для всех хочешь быть, я давненько это за тобой замечаю.

- Не для всех, - вставил я.

- Добреньким, конечно, быть прпятствеппей... А закон пусть поддерживает дядя? В своем гуманизме можешь зайти так далеко, что и не выберешься назад. Всепрощенцем стать можно.

Его слова прозвучали и угрожающе, и убедительно. Но я с наигранной беспечностью сказал:

- С помощью комиссара определю разумную границу человеколюбия и за нее - ни шагу. Устраивает?

- Смотря кого устраивает. А с комиссарами посоветоваться не зазорно по любому вопросу.

- Буду советоваться, - заверил я.

- Я имел в виду не только себя.

- И я имел в виду не только тебя.

- А комбату и в полк доложу. О том, что ты провез гражданского.

- Докладывай. Положено... Ночевать в нашей теплушке будешь?

- Какое тут ночевать, утро вот-вот. Но до Новосибирска поеду с тобой. Чтоб не наколбасил чего, ротный называется...

Трушин говорил раздраженно, резко, а мне внезапно подумалось, что он мой товарищ, даже в некотором роде старший, что он смелый вояка и неплохой, в сущности, человек. И мне захотелось дружески обнять его, промолвить что-либо дружеское же.

Но я одернул себя - это выглядело бы сентиментально - и только сказал:

- У нас в теплушке просторно и сено поменяли. Старое слежалось, выкинули. Тебе будет хорошо.

- О начальстве печешься? Это правильно. - И Трушин чуть улыбнулся. Что же касаемо человеколюбия вообще, то на войне это не актуальная тема.

- Так какая нынче война? Нынче пауза!

- А у меня ощущение: война не кончилась, она продолжается и вечно будет продолжаться.

- Ну, это ты загнул, Федор!

- Возможно, и загнул, - согласился он не очень охотно.

На путях фыркали, пересвистывались маневровые "овечки".

На перроне людей почти не было, а в залах ожидания они спали на деревянных диванах с вязью НКПС, на полу, пристроив в изголовье чемоданы и мешки. Пожилой, с черной повязкой на глазу милиционер-железнодорожник оглядывал спящих пассажиров, переступая разбросанные руки-ноги. Мы прошлись с Трушиным по перрону, покурили, подивились обилию цветников на вокзале:

Сибирь, а на клумбах гвоздики, настурции, розы. Трушин сказал:

- Кончится война - во всех наших городах и поселках будет изобилие цветов.

- А говорил, война не кончится никогда.

Трушин не ответил и полез в теплушку. Я за ним.

Неурочное бодрствование привело к тому, что пробудился аппетит. Я достал из вещмешка печенье. Погрызли. Снова покурили. Солдаты уже засыпали. Колбаковский устраивался на нарах повольготнее, не ввязываясь в наше бдение. Он судорожно, с хряском зевнул и в то же мгновение выдал начальственный всхрап.

И вот уже эти всхрапы, напизываясь на что-то или цепляясь друг за друга, образуют знакомую бесконечную руладу. Дает старшина!

Трушин послушал руладу, сказал с неодобрением:

- Черт-те что! Не заснешь из-за него.

- Перебирайся на мое место, я лягу между вами.

Так и поступили. Теперь богатырский храп бил прямой наводкой мне в ухо. М-да, старшина дает, ничего не скажешь.

- Приспичит - уснем, - сказал Трушин, вновь закуривая.

Я курить больше не стал: накурился - во рту кисло, носоглотка будто обожжена. После некоторого молчания Трушин задумчиво проговорил:

- Занятная это штука - история. , - Занятная, - подтвердил я.

Он помолчал, - по-моему, неодобрительно - и сказал:

- История - величественна! В сравнении с ней себя, свою жизнь, свои дела осознаешь ничтожными. Так, песчинка в Сахаре... Историю творят великие люди!

- Она бывает разная, - сказал я. - В том смысле разная, что состоит из добрых и злых деяний.

- Выходит, и злодеи могут быть выдающимися личностями?

- Азбучная истина.

- Азбучная? Истина? Как бы не так! Я лично убежден в ином: подлинную историю творят положительные герои, а отрицательные им, так сказать, подыгрывают.

- В том смысле, что помогают как-то появиться добрым деяниям?

- Да! Своим противоборством помогают!

- Значит, и Гитлер помогал? Своими злодеяниями? Не будь Гитлера, никто бы не проявил себя на исторической арене?

- Темнишь, Петро! Передергиваешь! Без злодеев, как ты их именуешь, история не обходится, к сожалению. Такова диалектика. Борьба противоположностей. Но закономерность: в этой борьбе побеждают положительные герои.

- Всегда лп?

- В конечном счете всегда. Истинную историю в итого можно рассматривать как свод героических и благородных свершений.

Человечество неуклонно продвигается к прогрессу, несмотря на зигзаги на того же, допустим, Гитлера и его фашизм. Впереди у человечества светлая цель - коммунизм.

- Ради того и воевали.

- В конечном счете ради того. Мы, считай, построили социалистическое общество, после войны будем строить коммунистическое. Залечив предварительно военные раны, восстановив народное хозяйство. То есть наберем силенок и

приступим к строительству коммунизма.

- Ты считаешь, что перед войной мы построили социализм?

- В основном построили. Ведь неплохо же перед войной зажили, а? Были, наверное, и отдельные промахи, ошибки, недостатки - задача-то была исторически новая, неизведанная, - но в принципе достигли своего. А какой ценой построили социализм?

Кто определит эту цену? И вот мы толковали о человеколюбии, и я тебе сказал: на войне это не актуальная тема. Почему не актуальная? Потому. Война складывается из сражений, сражения - из боев. Кто измерит степень необходимости тех или иных потерь в том или ином сражении, бою?

- По-видимому, никто. Это вещь неуправляемая.

- Не согласен! Потери планируются. Но сколько планировать надо - больше или меньше? Чем ниже командир рангом, тем ограниченнее его кругозор и тем менее понимает он объем потерь, могущих быть у командира рангом выше. Словом, лишь на самом верху, во всефронтовом масштабе, можно правильно спланировать свои силы, средства и потери, да, потери - где больше, где меньше.

- Лучше бы планировать так: везде поменьше. Живые же люди гибнут.

- Так не бывает. На войне было множество конкретных задач, и каждая решалась по-своему. В том числе и по потерям.

Так-ю, гуманист! Легко быть гуманистом в мелком, частном случае. И труднее им быть, когда решаешь глобальные вопросы. Речь шла о конечном результате, о Победе с большой буквы. И приходилось действовать, не считаясь с жертвами.

- А по-моему, Федор, наоборот: чем больше возможностей, чем больше власть, тем проще избежать лишних жертв. На войне, естественно, всего не предусмотришь, но беречь людей нужно.

- Ты не только гуманист, но и стратег выдающийся, - сказал Трушин, позевывая.

Это пренебрежение меня не обидело. Вероятно, гуманисты, стратеги и философы мы оба доморощенные. О себе это заявляю с уверенностью. А вообще я устал. Пора отдыхать. Однако я все-таки сказал:

- Мы с тобой рассуждаем, как надо было действовать, а война-то закончилась.

- Новая предстоит. На наш век их хватит.

Я кивнул лежа, и это было смешно. Тут я соглашался - что новой войны не избежать, на нее и едем. Но с другим не соглашался и сказал:

- У тебя получается, что все вершит вождь, а народ ни при

чем.

- При чем. Народ выполняет указания вождя.

- А если он не пожелает выполнять эти указания?

Трушин привстал на локтях:

- Ты, друг ситный! Ты говори, говори, да не заговаривайся!

А вообще давай спать, не то с тобой влипнешь.

- Спокойной ночи.

- Спокойной ночи... Ты, Петро, возьми в толк одно; время наше жестокое, и негоже быть размазней.

Он еще что-то говорил затухающим голосом, и я незаметно задремал под этот голос и стук колес. А когда Трушин умолк, заснув, я пробудился. Вагон спал. Старшина Колбаковский всхрапывал чудовищно, как никогда. С баньки, видать. Подхрапывал неназойливо, деликатно и гвардии старший лейтенант Федор Трушин. Запрокинулся. Красив, породист брюнет. И, наверное, неглуп брюнет. Во всяком случае, умней меня. А может, и нет.

Просто некоторые проблемы мы трактуем отлично друг от друга. Только и всего? А так - общая судьба, сверстники, порождение войны. И не ее одной.

Фитиль в "летучей мыши" был прикручен, в теплушке по углам гнездилась тьма. И в одном из углов проглянуло, как живое, лицо Ермолаева Алексея Алексеевича. Это мамин муж, мне - никто, хотя считался отчимом. Зачем мне отчим, если у меня, говорят, был отец? Был, да умер до моего еще рождения. А отчима мне не надо.

- Если не надо, я уйду, - прошептал Ермолаев и растаял в сумраке.

Галлюцинация? Либо приснплось? Я похлопал ресницами, ущипнул себя за руку. Не сплю. Привиделось. Бывает.

И тут же привиделось: в тесной комнате горит электричество, незнакомые мужчины - в кожаном пальто и коверкотовом плаще - выдвигают ящики письменного стола, роются в бумагах и книгах, простукивают пол и стены, на стуле бледная мама, бледный Алексей Алексеевич: "Я чист перед народом"; а за окном хлещут дождевые струи, в водосточной трубе клокочут ручьи, кожаный и коверкотовый говорят Пете: "Спи, мальчик, спи".

Сгинь, наваждение! И впрямь надо уснуть лейтенанту Петру Глушкову. С чего-то разгулялись нервишки. Ермолаев Алексей Алексеевич явиться вживе не может, наверняка он мертв. Как мертвы погибшие фронтовики. Наглухо, навечно. Он мертв, и они мертвы, хотя причины и обстоятельства их смерти различны.

Я лежал, вперившись в угол, где уже никто не возникал, и старался думать не о Ермолаеве, а о павших в боях однополчанах.

И это мне удалось.

Четыре года воины - пот. кровь, нечеловеческое нервное напряжение, горечь утрат. Но ведь была же и светлая, гордая радость побед! Была. Только как доставались нам эти победы? За войну я столько перевидел трупов! Иногда пытаюсь вывести цифру - сколько наших людей погибло за войну. Цифра у меня колеблется от пятнадцати до двадцати миллионов. Это, наверное, домыслы. После войны подсчитаем в точности. Может, цифра окажется больше, чем моя. Вот так досталась победа. И если я когда-нибудь забуду об этом, или забудет мой ровесник, или забудет кто-то из молодых поколений. - пусть погибшие встанут из своих могил и задушат нас мертвыми костлявыми руками.

Возле нас будут возводить двепадцатпотажный дом. Кто-то из жильцов барака, на месте которого строился новый дом, съезжая в другой район, бросит кошку. И она будет бродить по стройплощадке и мяукать. И мы с женой возьмем ее к себе, и жена скажет:

- Что-то к старости мы стали сентиментальны.

Я кивну в знак согласия.

Может быть, из-за небывало чудовищного храпа Колбаковского я то и дело просыпался. Сколько ж так маюсь? По привычке поднес к глазам запястье и вспомнил: часы нарочно оставил в вещмешке, чтоб не брать в баню. - там могли утащить. Ладно, не буду потрошить вещмешок, шуметь. Перебьюсь без часов.

Утром достану.

То, что не знал, сколько времени, успокоило меня, и я наконец-то заснул. Крепко, без сновидений. Утром проснулся раньше всех. Первым чувством было удивление: Колбаковский спал, но не храпел. Вторым чувством было недоумение - когда я полез в вещмешок и не обнаружил часов. Вот так, удивляясь и недоумевая, перетребушил весь мешок, однако часов не было. Начал припоминать: не отдал ли Драчеву на хранение, не положил ли еще куда? Обшарил карманы, планшет. Да нет же, был в здравом уме и твердой памяти: перед баней оставил в своем вещмешке.

Увели? Кто? Как? Как - это очень просто: развязав горловину мешка. То-то мне показалось, когда я развязывал горловину, будто она завязана не так, как это делаю обычно я. А вот кто?

Кто этот негодяй, подлый воришка?

Не может быть, чтобы кто-то из наших пошел на такое! Вероятней всего, я каким-то образом потерял часы. Да, да, утерял, сунул куда-то, забыл. А теперь трясусь над пропажей, возвожу поклеп на людей. Меня и вправду немного трясло,

разнервничался - не из-за пропажи, а из-за того, что подумал: украли свои.

Неужто это могло быть? На фронте никогда бы! А здесь? Нет, не верю, что украли. Потерял.

Снова все обшарил. Даже село под плащ-палаткой поворошил.

А может, Драчев надумал попользоваться? Не предупредив? Без спросу? И я разбудил ординарца, зашептал:

- Ты часы мои не брал?

- Какие часы, товарищ лейтенант? - Драчев спросонья таращится, чешет грудь.

- Не кричи! Мои часы. То есть твои. Которые ты мне подарил на время.

- Почему на время? Я вам их насовсем подарил.

- Да не в этом дело...

- А в чем, товарищ лейтенант?

- В том, что они пропали.

- Сперли их? Ух, заразы!

- Тише ты! Значит, не брал?

Мой вопрос повис в воздухе. Ясно, что Драчев не брал и не мог брать. Но кто тогда? Кто этот сукин сын? О, позор какой!

И это - при Трушине, при замполите. Позор!

Драчев сказал:

- Товарищ лейтенант! А не старик ли тот, Макар Ионыч, спер часики?

- Замолчи. - сказал я.

- Чего ж молчать, товарищ лейтенант? Я скорей на старичка подумаю, чем на кого из наших. Чтоб к командиру в мешок лезть... Тьфу!

А что, если старик? Так мне подумать легче. Все-таки не мой солдат, все-таки человек посторонний. Но какие основания бросать тень на старика? А вдруг кто-нибудь вовсе чужой на остановке забрался в вагон? На остановках все выходят, дневальный зазевался, прохлопал. Так думать мне еще легче. Но в общем тяжело. И обидно. И горько. Такого на фронте никогда бы не произошло. Словно измазали меня в липучем, постыдном, гнусном.

- Товарищ лейтенант, - сказал Драчев, - а ежели обыск устроить? Обыскать всех подряд?

- Отставить! Ты ж говоришь: старик.

- Для страховки. Всех подряд!

- Отставить! Во-первых, кто дал право подозревать всех?

Сверху - голос Трушина:

- А во-вторых, тот мерзавец уже продал часики на вокзале

либо обменял. Словом, краденое при себе держать не будет.

Я чертыхнулся. Не хотелось, чтобы замполит узнал об этом позоре, а он нате вам! - засек разговор. Наверное, потому, что ординарец орал, вместо того чтобы говорить тихо. Черт бы побрал всю эту пакость!

Трушин слез с пар, подошел к нам.

- Обыскивать, товарищ Драчев, мы не имеем юридических прав. Это будет нарушением социалистической законности.

- Товарищ гвардии старший лейтенант, - сказал ординарец, - а воровство - это не нарушение законности?

- Нарушение, - ответил Трушин и не нашелся что сказать еще. Кашлянул в кулак, оглядел нары.

Я подумал: "Кто же из этих, спящих, стибрпл часы? Ах, дьявол, надо бы сделать вид, что потерял их в бане! И так, и этак я оплеван, по хоть не было бы в роте публичного позора. Теперь публичности вряд ли избежать".

Я ожидал: замполит примется читать мораль, стыдить, вразумлять, мылить шею. промывать мозги. И было за что - воровство в роте. Но он не стал этого делать. Сердито, но сдержанно сказал:

- Случай, который отнюдь не украшает. Однако раздувать его не будем. Из-за одного воришки но будем подозревать сорок человек. Тем паче не ясно, кто мог быть этим жуликом. Следствие проводить нам и некогда, и не с руки. Ограничимся разговором. Я сам поговорю с народом.

Пораженный непредвиденным исходом, я сразу поглупел и спросил:

- Разбудить личный состав, товарищ гвардии старший лейтенант?

- Без нужды, товарищ Глушков, - сказал Трушин, будто и не было моей глупости. - После завтрака поговорю.

- Слушаюсь, - промямлил я.

Завтрак был поздний, часов в одиннадцать. Я ел вяло, сверх силы. Старшина Колбаковский спросил:

- Товарищ лейтенант, посуху дерет горло?

- Оставьте, старшина, не в этом кручина.

- Вижу, что не в этом,.. Занедужили? Чего-то вы не в себе, расстроенный, а?

- Неприятности, старшина, неприятности.

- Какие? - встрепенулся Колбаковский, впиваясь в меня хищным взором.

- После завтрака узнаете. Замполит батальона обнародует.

За столом и на нарах дружно стучали ложки. Активно орудовал ею и Трушин, домовитый, благожелательный, свойский.

Но когда попили чаю и помыли посуду, он насупился и, суровея, произнес:

- Товарищи, минуту внимания! У вас в теплушке произошло чепе, о котором считаю своим долгом проинформировать. У вашего командира роты, лейтенанта Глушкива, украдены часы. Собираясь в Омске в баню, он оставил их в вещевом мешке, откуда они были похищены...

Я сидел с опущенными глазами, с краской стыда на щеках, словно это не у меня крали, а я крал. Трушин говорил, становясь все больше суровым и грозным:

- Можно, разумеется, обвинить в происшедшем дневального, можно старика, ехавшего с вами, можно и кого-то из вас.

Но не станем так поступать. Признаться мерзавец не признается, если он среди нас, содеянного же не переменишь. Кто он - мы не будем допытываться, не будем мараться. Но предупреждаю: попытайся он еще раз совершить кражу, пусть пеняет на себя, мерзавец. Выведем на чистую воду!

"Все же подозревают кого-то из наших", - подумал я.

- Выведем, повторяю, на чистую воду, посадим на гауптвахту, а предварительно набьем морду!

"Вот так ортодокс!" - подумал я, и мне стало веселее.

- Понятно, товарищи? - спросил Трушин, и тут все загалдели.

До этого - словно в рот воды набрали. Меня даже удивило это молчание, потому что я ожидал взрыва негодования. Люди же молчали - до тех пор, пока замполит не задал своего вопроса.

Да и сейчас они не кипели, как того желалось бы мне. Они говорили с возмущением, осуждающе, но без воплей. Суть высказываний: если этот гад среди нас, то устроим ему темную, оторвем руки и ноги, на ходу выбросим из вагона.

А все-таки кто вор? Я не переставал об этом думать весь день.

Трушин сказал:

- Слушай, ротный! Тебе не сдается, что в роте некоторый переизбыток нарушений воинской дисциплины и порядка? Перечислю: случай с Головастиковым, провоз гражданского лица, соп дневальных на посту, теперь эта кража... Не многовато ли?

- Многовато.

- Так вот, предупреждаю: кончай с бардаком.

- Подбирай выражения!

- Ах, скажите пожалуйста, ему не нравятся выражения!

Смотрите, какая благородная девица! А я тебе повторяю: бардак все это.

- Ну, хватит, - сказал я, в общем-то признавая его правоту, - Наведем порядок.

- Давай наводи...

Наводить - как? На взыскания я не очень рассчитываю. Больше на сознательность. Все-таки я верил и верю в людей. Да, сейчас расслабились, могут что-нибудь и допустить. Этакая послевоенная разрядка. Да, связи между ними ослабели, подослабла и дисциплинка. Такова реакция на мирную жизнь. Она, мирная жизнь, продлится недолго. Едем на новую войну, и я не сомневаюсь, что все мы не сплохуем, что бы там ни было.

А нечестные, непорядочные людишки есть и между нами.

Не всех война очистила от скверны, такие будут попадаться и в послевоенной жизни. И попадаются, как это ни печально. Мне временами на фронте казалось: война сожжет в нас все дурное, низменное, недостойное прошедших горнило. Значит, ошибался.

Эшелон помногу стоял ночью, да и утром не спешит, останавливаясь на полустанках, разъездах и просто в степи перед семафором. Из крупных станций проехали Татарскую, впереди были Барабинск и Чулым, а затем уж и Новосибирск. Старшина Колбаковский говорит, что Новосибирск на берегу Оби - огромнейшая река. Это нам известно из географии. Из нее же известно, что и другие большие сибирские и дальневосточные города ка берегах больших рек: Омск на Иртыше, Красноярск на Енисее, Иркутск на Ангаре, Хабаровск на Амуре. Но одно - знать из школьной географии, другое - взглянуть собственными глазами.

Взглянем и запомним. Особенно запомню Иртыш и Омск - там я обнаружил исчезновение швейцарских часиков, дарованных ординарцем Драчевым. Кто их украл?

В Барабинске, когда Трушина вызвали к комбату, ко мне обратился Головастиков:

- Разрешите, товарищ лейтенант?

- Да.

- Товарищ лейтенант, разрешите отлучиться до дому, в Новоспбирск.

Головастиков говорил напряженно, катая кадык. На выбритых - небывалое явление - щеках пятна, шея, схваченная белоснежным подворотничком, тоже в красных пятнах, он переминался, словно надраенные сапоги жмут. Я спросил:

- У вас, кроме жены, кто в Новосибирске?

- Мать, сестры, тетки...

Я не очень понял, зачем задал ему этот вопрос. Как и этот:

- От вокзала далеко живете?

- На трамвае за полчаса доберусь.

И вдруг во мне созрело решение, рискованное, необъяснимое и твердое, испытать судьбу, свою веру в людей. В это решение не буду впутывать Трушина, благо нет его, ибо, если Головастиков

что-то натворит дома, отвечать придется и тому, кто его отпустил. Сам буду решать и отвечать. И я сказал:

- Головастиков, я вас отпускаю.

Он не сказал "спасибо", не обрадовался, только пятна на лице и шее стали гуще. Выпрямился, принял стойку "смирно". Я сказал ему:

- Напоминаю о необходимости вести себя на побывке как полагается. Чтоб ни пьянок, ни дебошей, ничего иного... Вы когда напились... гм. помните?., угрожали расправиться с женой.

Глядите, чтоб намека на это не было! Будьте благоразумны.

Не подведите себя и меня.

- Постараюсь, - сказал Головастиков, усмехаясь, и я тут же пожалел о своем решении. Но переиначивать, отступать было поздно. Рискну. А если натворит?

Он откозырял, подхватил за лямки вещмешок и вскочил на подножку вагона; пассажирский поезд, стоявший на соседнем пути, тронулся, будто специально дожидался этого пассажира.

В Новосибирск Головастиков прибудет значительно раньше пас.

А нагонит после Новосибирска. Где? Где-нибудь в Красноярске.

А если не нагонит, если сорвется и наломает дров? Ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Тогда спьяну он грозил:

зарежет непутевую супругу. Пьяный треп? Или всерьез? Не зря ли заварил кашу, лейтенант Глушков? Не пустил бы - и все.

Головастиков, правда, мог бы удрать самовольно, самоволка в роте - тоже мало радости.

Докладывать Трушину о том, что отпустил Головастикова. я не стал. Замполит вернулся от комбата оживленный, деятельный.

по суровый. Объявил мне: проинформировал капитана обо всех упущениях в моей роте, капитан велел передать, что вздрючит по первое число, ежели не наведу порядка. Трушип доверительно прибавил, что и в остальных ротах дисциплина прихрамывает, поэтому во всех теплушках будут проведены беседы, надо решительно предупредить личный состав: за нарушение дисциплины и порядка последует строжайшее наказание, вплоть до ареста, вплоть до гауптвахты, - кстати, в последние дни она не пустует.

Беседчиками выступят командиры рот, взводов, отделений, парторги, комсорги, агитаторы. Что ж, выступим. Вреда от этого не будет. Не говоря уже о пользе. Впрочем, это уж я для красного словца. Значение партийно-политической работы в армии понимаю.

В Новосибирск мы прибыли под вечер. Громадный город

лежал в сиреневой дымке, мерцал ранними огоньками. С детства я наслышался: Сибирь - это стужа. А тут стояла удушливая жара, хоть солнца не было видно. Оно угадывалось за облаком, будто давило на пего изнутри, выгибало. Город - и каменный, и деревянный, и многоэтажный, и приземистый - был запылен, разморен духотой, растревожен проходящими на восток воинскими эшелонами. Мальчишки, возбужденные, крикливые, шныряли между составами. Женщины робко подходили к дверям теплушек:

искали среди них своих сыновей, мужей, братьев, на худой конец знакомых. На перроне было много госпитальных мужиков в полосатых пижамах и байковых халатах, из-под которых выглядывали кальсоны, - кто на костылях, кто с пустым рукавом, кто с забинтованной головой, - последние раненые с западной, с немецкой войны. Раненые разговаривали с нами, расспрашивали, откуда мы. Одни из них были печальны, отрешенны, другие бодрились, шутили: мы-де отвоевались, так повоюйте вы за нас на востоке. Но шутки были вымученные, с горчинкой. Что там нас ожидает, впереди, это вопрос иной, покамест же мы были здоровые, а они больные, покалеченные. Старик железнодорожник в промасленной тужурке, с масленкой и паклей в руках сказал мне:

~ Что, лейтенант, жалкуешь раненых? Да нынче их не много. Остатние. А бывало-т эшелон за эшелоном везли раненых с запада. Все одно как вот вас... А вот знаешь, как я третьего дня зажалковал. Пошел на кладбище, там у меня брательник похоронен младший, раненый лежал в нашем госпитале еще в январе... Ну, брожу меж могилками воинскими, читаю, когда кто скончался: кто в мае, кто только что, в июне... Понимаешь, это раненные на войне помирали в госпитале уже после войны...

- Понимаю, папаша, - сказал я, подумавши: они будут умирать и в июле, и в августе, и в другие месяцы.

Мы закурили, и старик, попыхивая дымком в седые усы, рассказал, что третьего дня гостил у него сын-майор, ехал с эшелоном на восток, он артиллерист-зенитчик, вся грудь в наградах, орел, только вот закладывать за галстук научился, до войны за ним этого не числилось.

- После войны отвыкнет, - сказал я.

- Дай-то бог. Опасаюсь - как бы не пристрастился. Мужик, ежели присосался к бутылке, пропал...

- Не переживайте, папаша. Отвыкнет, - сказал я и подумал: "А что с Головастиковым? Он уже дома. Не наломал бы дров!"

Ах, до чего это унизительно - подозревать человека! Вот я подозреваю, что Филипп Головастиков может совершить дурное с

женой. Вот я подозреваю, что славный, добрый Макар Ионыч мог польститься на мои часы. Или на них польстились мои однополчане - Колбаковский, Симоненко, Свиридов, Кулагин, Логачеев, Погосян, Рахматуллаев, Нестеров, Востриков и кто там еще?

Противно так думать. А думаю. Унижая себя и их. Фу, пакость!

Увидел: верный ординарец Драчев точит лясы с сибирячкой, заходится в хохоте. Что ему ротные неприятности? Как с гуся вода. Весельчак. Ветродуй. И я припомнил: так, ветродуем, именовал меня старшина Колбаковский в бытность мою взводным, Я давал повод для этого, был легкомысленный и пустой? А ведь это обидно звучит - ветродуй.

Я прошелся по перрону, выпил газировки, заглянул в вокзал, лекарственно провонявший из-за дезинфекции. Поглазел на расписание поездов, на очереди у касс, на таблички: "Ресторан", "Медпункт", "Почта и телеграф", "Милиция", "Дежурный по вокзалу", "Комната матери и ребенка". Вокзал был большой, под стать городу, и заполнен транзитниками. Бросались в глаза узбеки в расписных тюбетейках, стеганых халатах и кирзовых сапогах, ворочающие тюки и ящики, и женщины, без утайки кормящие грудью детишек, по-видимому, мест в "Комнате матери и ребенка" не хватало. В зале ожидания было гулко, как в храме, и затхло, смрадно.

По лесенке я спустился в привокзальный сквер, сел на скамью. Откинулся на спинку. Достал из пачки папироску, помял в пальцах и, прежде чем сунуть в рот, осмотрелся.

22

Я не донес папиросу до рта. Наискосок, через аллейку, на скамье сидела особа - женщина не женщина, девушка не девушка, во всяком случае, молодая, но с ребенком - и лила слезы в три ручья. На меня дамские слезы действуют губительно, и я немедля готов сделать все, чтобы они прекратились. В женщине - все же это была женщина, похожий на нее мальчишка скорей всего сын - было что-то восточное, то ли китайское, то ли бурятское: черные гладкие волосы, продолговатые, подтянутые к вискам черные глаза, слегка приплюснутый нос, выступающие скулы. Одета в жакет с накладными плечами, в застиранную юбчонку, на ногах стоптанные туфли на высоком каблуке. Она плакала, вздрагивая всем телом, по чистой бледно-смуглой коже щек текли слезы, она вытирала их скомканным, уже намокшим носовым платком, сморкалась.

Я закурил, затянулся и перешел на ту скамейку. Спросил:

- Разрешите присесть? Что с вами? Кто вас обидел?

Она мельком взглянула на меня и залилась еще горше, всхлипывая и шмурыгая носом. Этого я вытерпеть не мог.

- Да что ж вы молчите? Кто вас обидел, спрашиваю?

Наверное, тон мой был излишне нервозным, крикливым.

Мальчишка испугался и также заплакал. Этого еще не хватало.

Как можно спокойнее я сказал ей:

- Поверьте, я хочу вам добра. Хочу помочь. Что с вами случилось?

Она вновь посмотрела на меня, но не мельком, а внимательно, изучающе. Потом сказала мальчику: "Ну что ты, Гошенька, успокойся", обняла его, прижала. Вытерла ему нос и себе. Спрятала платок в сумочку. Одернула жакет. Я курил. На привокзальной площади сигналили автобусы. За вокзалом, на путях, пересвистывались паровозы. Скоро свистнет и мой паровоз. Для добрых дел времени у меня в обрез.

- Не хотите говорить?

Сам подивился своей настойчивости. В принципе я с незнакомыми женщинами не заговариваю. Стеснительность мешает, переходящая порой в угрюмую застенчивость. А иногда кажется:

женщины подумают, что я с ними заигрываю ради определенной цели, а это уж пошлость, от которой меня коробит. Короче - на знакомства я не мастак.

Докурил папиросу, окурок швырнул в урну и собрался было уходить, когда женщина сказала:

- Лейтенант, не сердитесь. Мне стыдно выкладывать свои беды как-то сразу. Но я выложу...

И, запинаясь, она рассказала: стояла в очереди за билетом, зазевалась, сумочку раскрыли и вытащили кошелек (она щелкпула замком сумочки для наглядности), там все деньги, паспорт, пропуск, ну, кошелек с документами потом подкинули, деньги - тю-тю; заявила в милицию, обещали посадить без билета, да покуда не сажают, разбираются.

"Благородные ворюги, документики подбросили", - подумал я и спросил:

- Ехать-то куда?

- В Читу.

- Там дом?

- Да.

- А зачем в Новосибирск приезжали?

Разговор смахивал на допрос, но женщина отвечала все с большим желанием. Видать, я ее разговорил-таки.

- Сюда приезжала хоронить отца.

- А что ж никто не провожает?

- Некому.

- А это ваш сынишка?

- Мой. Пришлось брать с собою. В Чите не с кем оставить.

Пацаненок - ему года три - крутил пуговицу на рубашонке, таращил на меня раскосые глазенята, еще полные слез; в нем было побольше русского, светлого: и кожа, и волосы, да и нос не такой приплюснутый, и скулы не выпирали. И тем не менее на мать он походил здорово.

- В Новосибирске никто не провожает, зато в Чите вас будут встречать с цветами:, - пошутил я, понимая: тяжеловесно это, топорно.

- В Чите пас некому встречать, - сказала она так, что у меня пропала охота шутить ц расспрашивать тоже.

Помнмо всего прочего время мое истекало. Это милиция может досконально разбираться, а мне некогда. Я должен решать без проволочек. Эту женщину я абсолютно не знаю. Но знаю:

она плакала, плакал и ее ребенок. После войны я дамских и тем более детских слез совершенно не переношу, тут я всегда действую. О нарушении воинского порядка, о незаконности того, что задумал, я старался не вспоминать. И потом во мне опять возникла необъяснимая и острая жажда испытать судьбу, свою веру в людей - то, что было с Головастиковым. Я сказал:

- Простите, вас как зовут?

- Нина.

- Меня - Петр. Вам, простите, сколько лет?

- Двадцать три.

- Мы почти что ровесники! Стало быть, можно на "ты".

Можно? Ну так слушай, Нина: поедем с нами, в эшелоне. Это, конечно, медленней, чем в пассажирском, но верней.

Она подняла глаза и пристально посмотрела на меня. Я смутился:

- Ну, что разглядываешь?

- Надо же поглядеть на человека, которому доверяешься, - сказала она. Дальше Читы не увезете?

- Нет.

- А точно эшелон пройдет через Читу?

- Вероятно, да. Мимо не провезем...

Она задумалась, снова в упор глянула. И почему-то прерывисто вздохнула.

- Спасибо. Я согласна. Но для вас это никаких трудностей не создает?

- Какие там трудности! - сказал я беспечно и подумал о комбате и о Трушине. - Сами хозяева. Теплушка неказистая, но

доехать можно. Пошли, Гоша?

Мальчишка задпчился, спрятался за мать. Она встала, взяла корзппку. Я взял чемодан. Процессия: я впереди, за мной Нина, тащившая за руку Гошу, он отставал, заплетался великоватыми, не по размеру, ботинками, явно собираясь расхныкаться. Идем, так сказать, на посадку.

Я оборачивался, бодряше улыбался Нине, пацану подмигивал: "Шнре шаг, Гоша! Сейчас ты - ту-ту, домой!" - а сам думал:

вот тебе и ту-ту, куда веду эту женщину с ребенком, как они будут жптъ несколько дней среди моих солдатиков? Старичка подвезли от Ишима до Омска, накоротке, - это одно, женщина и несколько дней - это другое. У нее, совершенно незнакомой, на глазах будет вся наша армейская жизнь. Ну, особых секретов нет: занятия почти не проводим, только политинформацию. Но разговоры-то могут быть не для посторонних ушей. И потом она женщина, как ей, извините, управляться со своими надобностями от остановки до остановки? Как оценят ее присутствие в вагоне Трушин, а следовательно, и начальник эшелона? Не заставят лп высадить? Женщина на корабле! И как поведут себя в данной ситуации они, мои солдатики? Со старичком было проще, с Макаром Ионычем. Разве что исчезновение часиков кое-кто связывает с ним, и то это вряд лп - часики.

Так или иначе - отступать было некуда. Да и не в мопх правилах отступать. Все-таки я спросил:

- Нина, а вы где работаете?

- В райкоме комсомола.

- О! И кем же?

- Инструктор по учету.

Райком комсомола - это неплохо, это обнадеживает. Начальство повезем.

На перроне мы наткнулись на Райку. Батальонная повариха, поблескивая медалью "За боевые заслуги", прогуливалась в одиночестве, и во взоре ее было высокомерие. Но когда увидела меня, то взор ее, кроме высокомерия, выразил и глубочайшее презрение: и ты, Глушков, такой же, как все, и ты уцепился за гражданскую бабу, да еще с ребенком, нет, люди добрые, вы подивитесь на этих мартовских котов! Я невольно заплелся ногами, наподобие Гоши.

В теплушке Нина сняла жакет, и оказалось, что плечи у нее узкие и вся она узкая, тонкая, как девочка. Мне это было приятно, как и то, что в эшелон посадил ее, по-видимому не замеченной батальонным начальством. Теплушке объяснил, кто Нина, почему и докуда едет с нами. Солдаты выжидательно помалкивали, оглядывая гостей и меня. И я понял: они поведут себя с ней так,

как поведу я.

- Товарищ старшина, отгородим внизу закуток для наших пассажиров.

- Создадим купе, товарищ лейтенант, - ответил Колбаковскпй с неким тайным смыслом.

- Да, купе. В нем будут жить Нина с сыном. Отгородите моей плащ-палаткой. Драчев! Дай плащ-палатку.

Колеса под деревянным полом чугунно провернулись, застучали, и мальчик сказал:

- Мама, хочу пи-пи.

Никто не засмеялся, не улыбнулся. Нина вытащила из корзины завернутый в газету эмалированный горшок, водрузила на нем в уголке Гошу, задумчивого, сосредоточенного. Вот так-то, лейтенант Глушков: солдатская теплушка и детский горшок.

Не представляется ли вам это сочетание несколько противоестественным? Представляется. Но отлично, что у Нины есть горшок, иначе с пацаном была бы проблема.

На ужин была перловка, шрапнель, как называли ее в армии из-за специфических свойств (тут перловка уступала разве гороху). Старшина Колбаковский неизвестно с чего лично раскладывал кашу с кружочками колбасы; Нине наложил в отдельную миску, пацану - в отдельную: ему, как я заметил, больше колбаски, меньше шрапнели. Хлопчик рубанул вовсю, жмурился от удовольствия, облизывал ложку и пальцы. Мать внушала:

- Нельзя облизывать. Это некрасиво.

- Ничо, - сказал Кулагин. - По скусу пришлось, это заглавное.

К чаю Нине и пацану подложили сахару столько, что она растерялась: куда его? Я поморщился: забота, гостеприимство хороши в меру. Но Гоша начал хрумкать кусок за куском, и сахару поубавилось.

После ужина Гошу сморило, и Нина уложила его за плащпалаткой. Посидела с ним, затем вышла к столу. Потеснились, дали ей местечко. Молчали. В приоткрытую дверь всасывало вечернюю свежесть, запах хвои и влаги. В проеме мгновенно возникали и исчезали дорожные огни, и "летучая мышь" на стояке мгновенно то меркла, то разгоралась. У фонаря кружились бабочки, мошкара, изнемогая, падали на пол. По-собачьи повизгивала доска в обшивке вагона. Раньше этого звука не было. Или нэ примечал? Это деревянное повизгивание будит беспокойство, тоску и еще что-то.

На Нине была кремовая крепдешиновая блузка, которую буравили маленькие острые груди. Стараясь не смотреть на груди, я смотрел на них, на тоненькую, слабую шею с детской

ложбинкой сзади, на худые нервные пальцы на безымянном был перстенек. А где обручальное кольцо? Хотя извиняюсь: у нас, помимо стариков, не принято носить обручальных колец, за границей носят: золотые, серебряные, оловянные - в зависимости от достатка. Под Рославлем, помню, захватили в плен обер-ефрейтора, у него в ранце был узелок с золотыми кольцами, штук десять, - снимал с убитых товарищей. Когда из ранца выуживали этот узелок, немец чуть не упал в обморок. Ну, это я так, к слову.

Хочу отвлечься от Нины и от того, что нужно разговаривать.

Она была смущена, стремясь не показать этого. Смесь независимости, непринужденности с робостью, со скованностью. То постучит ноготками по столу и усмехнется, то отодвинется от сидящего рядом, подогнет ноги. То просветлеет, то нахмурится.

То раскроет рот, чтобы произнести фразу, то сомкнет, не произнеся и словечка.

Ефрейтор Свиридов закурил, но Логачеев прикрикнул на него;

- Задымил, паровоз! Мальчишку задушишь. Валяй дымить к дверям.

- Пардон, - сказал Свиридов и беспрекословно направился к двери.

- Да что вы, не беспокойтесь, ничего с ним не случится, - сказала Нина, покраснев.

- Как ничего? - веско проговорил старшина. - У мальчонки легкие не привыкшие к вашему зелью. Слушать всем: курить либо выходи на остановке, либо у дверей! Правильно, товарищ лейтенант?

- Вдвойне правильно, - сказал я. - Ибо и наша дама, по моим наблюдениям, не курит. Да, Ниночка?

- Упаси боже! - Она всплеснула оголенными по плечи руками, а у меня засвербпло - курнуть. Встал, пошел к двери.

Выпуская дымок, затягиваясь, спиной осязал взгляд Нины.

Захотелось внезапно повернуться и поймать его. И я внезапно обернулся. Нина глядела на Колбаковского, который ей что-то говорил. Черт! Несерьезная, мальчишечья досада заставила меня повременить с возвращением к столу. Я выдымил вторую папиросу и лишь после этого сел за стол. Там уже вязался неторопкий, вялый разговор.

- Значится, папашу схоронила? - говорил Логачеев. - С чего JK8 ЭТО ОН?

- Умер от ран. Почитай, всю войну прошел, - отвечала Нана, - А что ж так? - спросил Логачеев. - Ты в Чите, он в Новосибирске?

- Мама у меня умерла в сороковом году, - сказала Нина, - Отец женился вторично и уехал в Новосибирск. А я осталась у

тетки, - История, - сказал Кулагин, отворачиваясь от насупившейся, поугрюмевшей Нины.

Снова молчали, и снова вязался неторопливый разговор.

- Ты вот скажи мне, дочка, - говорил старшина Колбаковскяй, - как Чита поживает?

- Да как всегда, - отвечала Нина.

- А большой город? - спросил Симоненко.

- Не очень, тысяч сто населения.

- А вот ты скажи, дочка, - чувствуется, что Колбаковскому приятно так называть Нину (хотя какая она ему дочка: ей двадцать три, ему лет тридцать пять), - скажи, дочка: как в Чите, ежели идут сильные дожди. Большой остров заливает?

Нина оживилась, с удивлением спросила:

- Вы бывали в Чите?

- Доводилось. - Колбаковский доволен, что растормошил ее, подмигивает безадресно, разъясняет всем сразу: - В Чите нету стоков для дождевой воды, она прет с сопок по улицам, а Большой остров в низинке, вот его и затопляет.

Похоже, Колбаковский рад, что может сообщить об отсутствии стоков, а Нина огорчена, что эти сведения не в пользу ее города, А Колбаковский подзуживал:

- Чита! Чп та, чи не та. Есть Чикаго, а есть Читаго. Чита город областной, для народа он пужпой... Как не надсмехаются над ней, бедняжкой!

Нина на подзуживание не поддалась. Спокойно, как бы растолковывая непонятливому собеседнику, она сказала старшине:

- Некоторые военные не жалуют Читу и вообще Забайкалье.

Из тех, которые там служат. Наверное, жалеют, что не стоят в России или где-нибудь в благословенных краях - Грузии, Молдавии, Украине. Там-то и климат поласковей, и с продуктами посытней. Рвутся туда душой. Поэтому Чита для них - пыльная, серая, забытая богом, они называют ее всесоюзной гауптвахтой.

Остроумно? Я не нахожу.

- Строгая ты, дочка, - сказал Колбаковскпн. - А как там поживает маньчжурская ветка?

- Как всегда.

Кулагин спросил:

- Что это - маньчжурская ветка?

- Это ответвление от железной дороги в сторону города Маньчжурия.

- Китайский город, - уточнил Колбаковский.

- Да, китайский. От него начинается КВЖД.

- А это с чем едят? - спросил Логачеев.

- КВЖД - Китайско-Восточная железная дорога.

- Мерси за справки, - сказал Свиридов, хотя вопросы задавал не он.

- Не стоит благодарности. А вам, старшина, скажу откровенно: человек я не пришлый, коренной, поэтому люблю Забайкалье и Читу.

- Да я что? Я так, - с улыбкой сказал Колбаковский. - Читинский патриотизм нам знаком. Значит, ты чалдопка?

- Конечно.

- Чалдонами да гуранами кличут местных жителей, коренных забайкальцев, - не без важности пояснил Колбаковский высокому собранию. - А вообще-то гуран - это дикий козел. Между прочим, в Забайкалье живут русские, буряты, эвенки, якуты, много смешанных браков.

- И я от смешанного, - сказала Нина. - Отец русский, мать бурятка.

- Надо же! - удивился Симоненко. - Потому и смахиваешь на китайку. А в паспорте как пишешься?

- Русская, - сказала Нина.

- Законно, - сказал Свиридов. - А Чита лучше Иркутска?

- Ну, это извечный спор! Кому Иркутск больше нравится, а мне - Чита. Иркутск чем берет? Ангарой. А так - старинный купеческий город с переулками да закоулками. А Чита спланирована вроде Ленинграда - улицы прямые, как стрелы. Вокруг нашего города сопки в багульнике, в лиственнице, сосне, березе, недалеко озеро Кенон, чудесный уголок, проезжать будем. Знаете, как весной красиво: зацветает багульник - и сопки заливает лиловым цветом. А осенью сопки в золоте: березы и лиственницы желтые, а тут еще солнце подсвечивает, знаете, как красиво!

- Знаем, дочка, - сказал Колбаковский. - Я неоднократно приезжал из Монголии в Читу. У меня в Читаго даже знакомая была, в военторге работала.

- Товарищ старшина выбирает, с кем знакомиться, - сказал Свиридов.

Колбаковскпй игнорировал шутку. Солидно, с достоинством произнес:

- В Чите штаб Забайкальского военного округа на площади Ленина помещается. Затем округ превратили во фронт. - Это всем, чтоб оценили познания старшины Колбаковского. А это Нине: - Пет спору, оправа у Читы красивая, а сам город не блещет!

- Верно, Чита не благоустроена, не везде тротуары и мостовые, мало канализации, мало крупных зданий. Но это все

наживное, город молодой, после войпы наверстает. С такой планировкой Чита себя еще покажет!

На щеках у Нины сквозь бледную смуглость проступил бледный румянец. Что-то в ней было трогательно-милое, - может, оттого, что нерасторжимо соединилось русское с бурятским. В мальчике, в Гоше, бурятского меньше, видимо, отец его русский. Но на мать он похож. А кто Гошин отец и где он? Собственно, какое мне до этого дело? Вероятно, на войне был, как и все. Да, а в Нине есть нечто девичье, милое.

- Вот увидите, покажет! Так что милости просим, разобьете самураев приезжайте к нам в Читу, не пожалеете.

"И она знает, куда мы направляемся. Военная тайна! Шила в мешке не утаишь", - подумал я, а Свиридов брякнул:

- Приедем, Нинон! Выбирай любого из нас...

- Меня зовут Нина. - И она так посмотрела на Свиридова, что тот осекся. Поделом тебе, менестрель двадцатого столетия.

Молчун Рахматуллаев сказал:

- Нина, а ты похожа на мою сестру, она узбечка.

Нина улыбнулась. И молчун Погосян сказал:

- Каждый город хороший, где живут хорошие люди.

- Правильно, товарищ Погосян! - веско сказал Колбаковскпй. - Но я расширю твое замечание: не только город, а любое место красят собою - кто? Красят собою люди! Возьмем хотя бы Монголию. Я там не един годочек отбухал, в Семнадцатой армип служил, не слухом пользуюсь. Так что мы имеем в Монголии?

В Монголии мы имеем: полупустыня, камни, пески, ковыли, безводье, зимой пятьдесят мороза, летом пятьдесят жары, обитали в землянках. Край наисуровый, а монголы добрые, гостеприимные, бесхитростные, честные. Так что получается? Получается: через тех мопголов и сама страна делается доброй и радушной, хотя климат дикий. Там наша Семнадцатая давненько загорает, и ничего, прижились. И с цирикамп, с даргами крепко дружили. Цирик - это кто? Солдат. Дарга - это кто? Командир. А крестьяне по-пхпему араты. Славнецкий народ! И русский для них как брат, ей-богу. Завсегда приглашали нас на свои надомы. Надом - это что? Конное состязание. Колбаковскому хотелось закурить, он уже сунул папиросу в зубы, по спохватился. Поколебавшись, идти курить к выходу или повременить, спрятал папиросу в пачку:

желание рассказывать перебороло. - Ну, как надом проходит?

Рассказать?

- Беспременно и обязательно, товарищ старшина! - сказал Свиридов. - С подробностями и в лицах.

- Так-с. - Колбаковский выдержал паузу. - Ну, надом

устраивают в степи. Степь там - конца-краю не видать. На старте собирается всадников пятьсот, а то и до тыщп. Наездниками бывают чаще пацаны и пацанки, но бывают и взрослые. Со старта все срываются, как оглашенные. Первые версты идут кучно. Потом образуется колонна, потом и она растягивается, разрывается. Стало быть, скачут ребятки. А их сродственники скачут сбочь, за кордоном конной милиции. Надобно вам заметить, что участников надома сопровождают конные милиционеры от этапа до этапа.

Чтоб порядок был. Чтоб сродственники не поменяли кому-нибудь лошадь. Уставшую на свежую. Сродственники эти кричат, свистят, гикают - своих подбадривают. Постепенно, однако, болельщики отстают. А ребятки мчатся, а милиция мчится, степь гудит от топота копыт. Зрители болеют, как на футболе, а их, зрителей, тыщи. Проиграть в скачке считается зазорным. По этой уважительной причине неудачники за несколько верст до финиша сворачивают, пытаются ускакать в степь. За ними скачет милиция, нагнав и окружив, сопровождает перед зрителями. А глашатай при этом кричит, шутейно конечно, мол, посмотрите на этих лошадей и всадников, они тащились на кончике коровьего хвоста!

Победитель же в бронзовом шлеме проезжает с почетом. Теперь глашатай кричит: посмотрите на славного батора, он был впереди ветра, честь всаднику и его родителям! После победителю вручают пиалу кумыса и призы. А цепа его коня враз - что? - повышается. Все добиваются купить или выменять такого знаменитого коня. Вообще должен сказать, у монголов культ лошадей. Вот мы говорим как? "Добро пожаловать". А монголы говорят как? "Идите на коне". Для монгола конь, ей-богу, дороже жены. Не обижайся, дочка!

- Я не обижаюсь, - сказала Нина. - У бурят то же самое.

Мне показалось, что говорит она уже без охоты. Наверное, выговорилась. А может, душевный настрой все-таки не для говорений - как-никак отца схоронила. Лицо ее как бы застыло: выражение вежливое, но замкнувшееся, отчужденное. Вероятно, ве один я уловил это, потому что разговор пресекся.

Грузно, жерновами, крутились под полом колеса, подрагивал стол, позванивала ложка в кружке, покачивалась лампа, ломая наши тени. В некий миг тени Нины и моя столкнулись на стене и почти что совместились. К чему бы это? А-а, ни к чему. Не разводи символику, лейтенант Г лутков. Действительно символика, притом глупейшая. А в дороге я, точно, поглупел. От безделья.

В начале пути отдыхал, отлеживался, нынче приелось. Дальняя дорога имеет свои минусы. Вот-вот, теперь

пофилософствуй.

Но я не стал философствовать, а посмотрел на Нину, на ее тонкие пальцы, на узкие, покатые плечи, на слабую, нежную шею, на торчливые груди. Она нахмурилась. Не нравится, что пялюсь. Не буду.

На остановке я ей предложил:

- Прогуляемся?

- Только чтоб не отстать, - сказала она.

- Это в мои планы не входит.

Она глянула на меня, будто спрашивая: а что входит?

Я помог ей сойти на землю. Огляделся: батальонного начальства не видать, на станции фонари, а чуть отойди - темень, очень хорошо. Будем прогуливаться, не выползая на свет.

Вкруг фонарей летали ночные бабочки, в тополиных ветках возились вороны, кем-то потревоженные. В поселке, за мостом, лаяли собаки. В соседнем вагоне блеял патефон: "Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтая..." Музыкальная лирика, сладость высшей кондиции. У нас - Свиридов, у соседей - патефон. Что лучше, сказать трудно. В иных теплушках уже спали - двери задраены. Стучали молоточками осмотрщики вагонов, старые чумазые дядьки. Мы с Ниной прохаживались вдоль состава и не разговаривали.

У нее, по-видимому, не было настроения, я же хотел поговорить, но не знал, с чего начать, и, во-вторых, оробел. От той лихости, с которой завязал знакомство на новосибирском вокзале, не осталось и следочка. Эта лихость убывала во мне постепенно, и вот она на нуле. А промежду прочим, боевой офицер, фронтовик, медали и ордена позвякивают на груди. Да и не всегда я теряюсь перед женщиной. Бывает - наоборот.

Молчать было сущим идиотством, и тем не менее я молчал. Мы ходили туда-сюда. Похрустывала галька. Козлетонил патефон:

"Когда б я только смелости набрался, я б ей сказал..." Солист Большого театра Лемешев. Неаполитанская песня. Прелестно! Во мне заваривалась злость и на себя, и на Нину. Ну чего в рот воды набрала? Сказала бы что-нибудь.

И она сказала:

- Пойдемте на станцию?

- Ради бога, - сказал я без энтузиазма: на станции светло, можешь напороться на эшелонное начальство. А засечет, допустим, Трушин - запросто от него не отделаешься, допечет расспросами, внушениями да осуждениями.

Мы прошлись по станции, и Нина сказала:

- Обождите меня. Я на минутку.

И прямым ходом к уборной. Ну и балбес же я! Вытащил на

вечернюю прогулку, хожу хвостом, а ей-то нужны не променад и не мое сиятельное присутствие. Догадаться б оставить ее одну.

Учтем на будущее.

Досада перебивалась чувством, которое я в точности не мог определить, но было в нем что-то приятное, в этом чувстве. Я думал: "Как она открыто, без стеснения, у меня на глазах пошла туда, куда ей надо". И это как бы снимало между нами некие условности, как бы сближало нас.

Потом мы вернулись к эшелону, и Нина сказала, что пора спать, и мы залезли в теплушку.

Я лежал на верхних нарах, а на нижних, подо мной, лежала женщина. Ее зовут Ниной. Она дочь русского и бурятки, она женственна, молода, и у нее есть сын, которого зовут Гошей. Эту женщину я почти не знаю, по до Читы немножко узнаю. А вот женщину, которую звать Эрной, я знал достаточно хорошо, вернее - близко. Что с ней, как она живет без меня? А так, наверно, и живет - как я без нее. Было же: вместе жили. Не забывай меня, Эрна. Я тебя не забуду. И будь счастлива. Ауфвидерзеен!

По-русски "до свидания"! Но свидание наше вряд ли состоится.

Будь счастлива, Эрна. Спокойной ночи, Эрна. По-немецкп "гутен нахт".

Сквозь стук колес, повизгивание доски в обшивке, сквозь солдатский храп и посвист мне чудится легкое женское дыхание.

Словно оно рядышком. Словно оно на моей щеке. О женщины!

Вспоминаю: концерт фронтовой бригады, щекастый, с брюшком опереточник пел-хрипел на грузовике с откинутыми бортами:

"Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вы наши звезды, как сказал поэт!.." - скакал козликом. Ария была пошлая, как и все в оперетках, однако суть ее правильная: нельзя без женщин.

И у меня будет своя женщина. Вот отвоюю, демобилизуюсь и женюсь. "Вы наши звезды, как сказал поэт..." Уж не ведаю, называл ли Головастиков супругу звездой. А теперь грозится зарезать. Пустые угрозы? А если не пустые? Что тогда будет? С ним?

Со мной? Он загремит в трибунал. Да и я, вероятно, туда же. Вот тебе и послевоенная идиллия. Точней - между двумя войнами.

И точнее - не идиллия, а драма. Однако к черту богатое воображение. Пока еще никто никого не зарезал. По крайней мере я об этом ничего не ведаю. И слава богу.

То черта поминаю, то бога. А ни в того, ни в другого не верю.

В себя верю. Стараюсь верить. Надо верить не в богов, а в людей.

И надо, пожалуй, записать эту мысль в блокнотик.

Я подвинулся к свету, помуслил химический карандаш и увековечил мысль на бумаге. Довольно банальную. Это у меня частенько случается: более интересным пренебрегу, менее интересное запишу. А в общем никчемное занятие - записывать в блокнотик. Кому это надо?

Колбаковский всхрапнул так, что я вздрогнул. Дает старшина.

Тот самый, что прозвал меня некогда ветродуем. Ветродуй обозначает: пустой, легкомысленный, подбитый ветром человек. Я такой? Вот Миша Драчев ветродуй - на каждой остановке прилабунивается к каждой женщине. Зубоскалит: "Даст не даст, а попросить обязан". Урезонивающим его Драчев режет: "Я ни одну фрициху не тронул. Потому - брезговал. А тут свои, кровные бабоньки, и никто мне не указ, писайте вы хоть кипятком". Принципиальный он, мой ординарец. Не зря косился, когда я похаживал к Эрне. К той немке с округлыми коленями, которую я тронул, не побрезговал. А и обладуй же ты, братец Драчев! Да и ветродуй в придачу.

Однако нужно спать. И я уснул. Пробудившись в середине ночи, понял стоим. Поглядел в оконце, убедился - стоим в поле.

Поближе к лесу, на косогоре, спала деревня, облитая лунным светом. Я всмотрелся: подслеповатые избы под соломенным верхом, пыльные улочки, срубы колодцев, поскотина. Ни огонька, ни звука, ни движения. Показалось: людей нет, они не спят по избам, а ушли в лес.

И вдруг вспомнилась иная, далекая, смоленская деревня: она была, как и эта, под соломой, пыльная, с колодезными журавлями и срубами и так же безлюдна, потому что жители схоронились в лесу.

Деревня была километрах в двадцати западнее Рославля и называлась не то Ипатовка, не то Игнатовка. Забыл. А надо бы помнить. Все-таки, сдается, Ипатовка. Закрою глаза и увижу карту, разложенную на пеньке. Она измята, потерта на сгибах - лейтенант Глушков аккуратностью не отличается, исчерчена разноцветными пометками. Условные обозначения, названия населенных пунктов. Да, точно - Ипатовка.

Деревня была раскидана по буграм: изба на бугре, пониже - огород, поскотина. Подумалось: эти избы на буграх - как надолбы. Увы, такие надолбы не могли задержать немецкие танки в сорок первом. Ипатовку фашисты прошли на третьей скорости, словно разрезав по большаку пополам. Деревня уцелела, потому что боев

не было - наши части поспешно отступали. Два года спустя Ипатовка опять сохранилась, ибо немцы отступали с не меньшей поспешностью, без боев, не успев поджечь избы, что обычно делали. Тогда драпали мы нах остен, то есть на восток.

Теперь драпалп они нах вестей, то есть на запад. Вот такие пироги.

Стояло бабье лето: солнце, теплынь, паутинки, поределый, будто расступившийся лес-прясельник, желтые и рдяные листья, полегшая трава. Угасающее, грустное птичье цвирканье. А людям было радостно! Солдаты нашего полка, топавшие через Ипатовку, улыбались, выбравшиеся из лесу, из укрытия, бабы, старики и детишки обнимали их и целовали, и если кто из баб плакал, так разве чю от радости.

И у меня был рот до ушей: не так уж часто бывает, чтоб освобожденная деревня сохранилась. Чаще видишь кучи пепла, груды битого кирпича, печные трубы на пепелищах, обгорелые ветлы и не видишь людей - их немцы пли угоняли, или расстреливали, если находили в лесных схоронах. Натыкались мы, и не раз, на трупы женщин и детей, убитых немцами при отступлении. И я, вроде бы привыкший на войне ко всему, в сущности, так и не смог привыкнуть к виду женских и детских трупов. Глядя на них, я содрогался от сознания своей личной вины перед дорогими, милыми, беззащитными, кого я а не мы - не уберег, отдал на поругание и смерть.

А в Ипатовке былн живые люди! Говор, смех, плач. Старики расчесали бороды, надели чистые и мятые, вытащенные из сундуков рубахи. Бабы тоже принарядились - косы уложены, платочки, жакеты. Голоногие, с истрескавшимися пятками пацаны завороженно глазели на наши погоны, звезды на пилотках, а бабы угощали нас холодной криничной водой. Такая водичка, когда протопал с десяток километров, потный и усталый, - это то, что надо.

Полк наш сразу же за деревней свернул в лес. Сперва подумалось: нас вывели в резерв. Передохнем в лесочке. Лучше бы, натурально, в избах, а не под сенью берез. Но против начальства не попрешь. Оно, дивизионное начальство, не разрешало подразделениям размещаться в деревнях - немцы могли засечь с воздуха и разбомбить, - однако само расквартировывалось именно там.

Как говорится, начальству виднее.

Быстренько, впрочем, выяснилось: остановились мы потому, что притормозилось наступление. Было слышно, как на западе неподалеку бухали пушки. Значит, завязался бон. Значпт, противник зацепился за какой-то оборонительный рубеж, и наш

март преследования на сегодня кончился, надо вести бои и сбивать противника. Это не улыбалось, преследовать отходящих гитлеровцев куда как приятнее.

Пушки бухали остаток дня и ночь, утром послышались взрывы тяжелых бомб. В темноте над лесной кромкой дрожало зарево, растекалось по небу. При свете утра мы увидели, как на запад пролетели эскадрильи "ИЛов", а Ипатовкой пропылили тапки и артиллерия. Подтягиваются туда, где бон. Скоро и нас подтянут, пехоту, - обычное дело.

По утренней росе я накоротке наведался в деревню. Хотелось поговорить с жителями, если удастся, отведать молочка от бешеной коровки, сиречь самогона. Вопреки воле начальства, в деревне размещалась какая-то часть, как я понял, саперы. Крепкие, с руками-кувалдами, они шуровали по дворам: кто починял изгородь или крылечко, кто точил лясы с молодайками, кто курил с дедком на завалинке. Выходило, что номер мой пустой, делать мне тут нечего.

Но номер не был пустым: старик, стоявший у ворот, кривой на левый глаз, с заросшими шерстью ушами, в треухе и рваных галошах, поманил меня узловатым, негнущимся пальцем. Я подошел.

Старик спросил:

- Закурить есть?

- Найдется, папаша. - Я достал пачку папирос.

Старик прикурил от моей зажигалки, с наслаждением пыхнул дымком.

- Духовпто, я т-те скажу!

- Нравится? Курите на здоровье!

- Како от курева здоровье! От самогонки - другой разговор.

Употребляешь?

Я скромно опустил глаза. Старик рассмеялся.

- Мужик - да чтоб не употреблял! Пошли-ка со мной, сыпок.

Он провел меня на выгоп за огородами. В кустах бересклета, оглянувшись, нет ли кого поблизости, поворошил опавшую листву, в ней початая бутылка. Зубами извлек матерчатую пробку.

- Храню в тайпостп от старухи. Первак. Дуй из горла. Ровную половинку.

Бутылка была прохладная, с налипшими листьями и травинками. Я принял молодецкий вид:

- Ну, папаша, со знакомством!

Запрокинулся, хлебнул. Вонючая маслянистая жидкость обожгла рот, глотку, грудь. Задыхаясь, сделал еще несколько глотков. Огонь! Даже слезы выступили. Старик усмехнулся, сунул луковицу:

- Закуси.

От лука слезы у меня навернулись еще сильнее. Старик истово перекрестился, сказал:

- С освобождением! Дожил я, значится... Аминь!

И единым махом, не отрываясь от горлышка, выпил самогон.

Спрятал бутылку в листве, не торопясь вытер губы рукавом.

в удовольствии закрыл живой глаз, и мне показалось, что старик вообще ослеп. Ио он открыл глаз, по-стариковски блеклый и не по-стариковски пронзительный, посмотрел на меня. Я спросил:

- Вас как зовут, папаша?

- Филимои. По батюшке Терентьич. А тебя?

- Петр.

- Ну, давай, Петр, закурим.

Он затягивался, кашлял, сплевывал и прислушивался к тому, как гудит не столь уж далекий бой: И я прислушивался, прикидывая, не стронулся ли немец, не подается ли на запад. Не похоже, чтобы подавался.

- Под германцем быть - краше в гроб лечь. А теперя как заново народились, после освобождения-то, дожидались вас-то два годочка... Хоть помирай с радости!

- Зачем же помирать, Филимон Тереитыгч? - сказал я. - Жить

надо!

- Надо, - согласился старик и попросил еще папироску.

Мне нужно было возвращаться. Я пожал ему руку, а он обнял меня, и тут мы расцеловались. Самогон уже давал о себе знать: я расчувствовался, снова поцеловал старика, сказал, что пусть живет сто лет, теперь жить да жить, все наладится, а мы немца погоним дальше.

Выпивон действовал! Я шел от деревни тропой, нырявшей под березы, и нырял вместе с нею. Ветки мягко шлепали по лицу и плечам, стволы мазались будто мелом, полужелтая, полузеленая листва осыпалась, шуршала под ногами, пахло горечью и прелью, и хотелось вдыхать и вдыхать этот грибной запах. Тренькали синицы, долбил дятел, - без конца слушал бы эти звуки. Голубое небо, оранжевое солнце, в низинке плескался молочный туман, осина пылала, как подожженная, - глаза не уставали смотреть на эти краски. Все было хорошо, славно, трогательно. До того трогательно, что в горле першило от умильных, никогда не проливающихся слез. У меня так: выпью порой и расчувствуюсь, до слез расчувствуюсь чему-нибудь, однако все это в душе. Разве только улыбаюсь безудержно и вздыхаю. Так сказать, от избытка чувств, подогретых вином. В данном случае самогоном. А вообще это здорово - жить!

Я прошел березняк, осинник, забрел в ельник. Здесь, в ельнике, и стоял наш батальон. Солдаты стучали ложками о стенки котелков. На опушке полевая кухня, повар в колпаке и нарукавниках. Давай подрубаем, повар. Подрубать сейчас в самый раз. Варево показалось мне необычайно вкусным, крутой чай потрясающ. Папироска на десерт. Да здравствует радость бытия!

А после завтрака пас спешно построили и форсированным маршем повели на запад. Мы шли, и бой приближался к нам что-то слишком быстро. Потому что не только мы двигались к нему, но и он к нам. Да, под давлением немцев паши части отходили. И это в сентябре сорок третьего! И это после стремптельиого преследования!

Тягостно вспоминать, что было потом. Наш полк с ходу ввели в бой. Виданное стократно: изрытое курящимися воронками поле, поваленные, расщепленные деревья, горящие постройки хуторка.

Немцы били из артиллерии и "ванюш", снаряды и мины накрывали, секли осколками неубранные трупы наших бойцов. За льняным, дымившим на корню полем в дубняке взревывали немецкие тапки и самоходки. Над лесом карусель воздушного боя, объятый пламенем и дымом, упал краснозвездный "ястребок", за ним, как привязанный, упал "мессоршмптт" со свастикой, два взрыва огромной силы потрясли округу.

Перед вечером мы заняли мелкие окопы, полуразрушенные, заваленные землей, принялись углублять их. Работали лопатками, как говорится, с огоньком: поскорей бы зарыться поглубже, иначе при таком обстреле не уцелеешь. Закатное солнце было багровое, к ветру, а может, и к большой крови - у меня на фронте родилась эта примета. К несчастью, она часто оправдывалась.

Подтвердилась она и на этот раз. В сумерках гитлеровцы пошли в атаку тапки, за ними автоматчики. Они едва не достигли нашей обороны, по все-таки были отбиты. В полночь снова нас атаковали. Вот этого-то мы и не ожидали. Они не любили и не умели воевать ночью. Они отдыхали ночью, а мы сплошь да рядом портили им этот отдых. И вот - впервые на моей памяти немцы предприняли ночную атаку. Не скажу, что мы провороппли ее начало, однако несколько растерялись - факт.

Мы не спали: углубляли ячейки, рыли траншеи и ходы сообщения, подвозили боеприпасы, эвакуировали раненых. И вдруг на оборону, довольно-таки хлипкую, на ближние тылы обрушился сильнейший артиллерийско-минометыый огонь. Шквал огня! Разрывы следовали один за другим. Темноту словно выжигало кусками, и огненные эти куски сливались в сплошную стену пламени, как грохот отдельных разрывов сливался в сплошной, рвущий барабанные перепопки грохот-ревун.

И следом пз дубняка выползли тайки и самоходки, замелькали цепи автоматчиков. На нашем участке они не прошли, но сосед слева дрогнул, и немцы пробили там брешь, зашли к нам в тыл.

Полк попал в полуокружетше. Мы дрались всю ночь, а утром, потеряв половину личного состава, получили приказ отойти.

Мы отходили, таща раненых на плащ-палатках, натыкаясь на трупы немцев, упирались в бурелом и снова брели. На восток брели. Как в сорок первом. Немцы бомбили, окрест горели оставляемые нами деревни. Горела, наверное, и Ипатовка. Бог миловал, мне не довелось увидеть ее в часы нашего отступления. Но я представлял себе: трещат охваченные пламенем соломенные кровли, рушатся стропила, по улице бегут женщины, старики, дети, а на противоположном конце ее уже бегут немцы с приставленными к животу автоматами. Ипатовка была где-то близко, за лесом, горящая, беззащитная, отданная немцам. В ней, в Ипатовке, встречавшие нас, освободителей, принарядившиеся бабы, пацаны, с голыми, истрескавшимися пятками, кривой старик Филимон Терептьич, угощавший меня самогоном. И я отдал их немцам.

Не хочу тягостных подробностей!

Мы отошли на восток еще дальше, и горящие деревни скрылись за холмами, лишь почерневшее от дыма небо указывало, где пожары. Горело пять деревень, одна из них - Ипатовка. По которой я вышагивал, торжественный и важный, как индюк, улыбался, сиял. Освободитель, тут же отдавший деревню назад.

На выходе из урочища на пас налетели "мессеры", обстреляли из пушек и пулеметов. Крепенько досталось. А меня помиловало.

Везет некоторым освободителям.

Через три дня, подтянув резервы, мы опять перешли в наступление, сбили противника и погнали. Прошли южнее Ипатовки, и я ее вторично не освобождал. Хватит одного раза, век не забуду.

Снова мы взбивали проселочную пыль, а то и катили на колесах, когда артполк давал нам грузовики. Торопились вперед, вперед, чтобы немцы не оторвались. Я трясся в "студебеккере", глотал въедливую пыль, натирал ноги, задыхался от жажды и усталости, и во мне, как затаенная боль, ныла вина перед Ипатовкой. Долго ныла, до конца войны, да и сейчас поет, как старая рана к непогоде.

Ночью в эшелонной теплушке приснилось: рукопашная, я сцепился с немцем, мы катаемся по земле, бьем друг друга, душим, и вдруг я вижу, что это не немец - смуглый, раскосый, скуластый, с выпирающими зубами, - из тех, с кем мне предстоит воевать, из японцев.

Вагон скрипел, покачивался. Звенели на столе кружки. Свет станционных фонарей падал в оконце, плясал на степах, на нарах, на лицах спящих солдат. Знакомые, близкие лица. Чтобы вновь заснуть, я прикрыл глаза. И увидел немца, превратившегося в японца. Японец! Приснится же!

23

Утром, едва продрав глаза, я нацарапал в блокнотике: "Возможно, доживу до почтенного возраста. В этой затянувшейся жизни будет все: радость, счастье, любовь, когда жить бы да жить, и горе, несчастье, беды, когда впору повеситься. Но как бы мне пи пришлось тяжко, я и не подумаю о самоубийстве. Прошедшему войну помышлять о смерти? Да здравствует жизнь!" Ставя восклицательный знак, сломал карандаш.

Было ясное, солнечное утро. За которым последует такой же, наверное, ясный и солнечный деиь. Кстати, что за день нынче?

Хотя бы число? А вчера? Забыл. Сбился в пути со счета. И от этого мне почему-то стало радостно. И еще, конечно, оттого, что внизу спала молодая симпатичная женщина, которую зовут Ниной. Черт дери, все-таки это здорово - ты остался в живых и

тебе двадцать три с половиной. А Нина - хорошее имя!

Она, однако, не спала. Когда я свесился с нар, то увидел, как шевелится плащ-палатка: за ней - движение. Я шепотом позвал:

- Нина!

Она высунулась: в зубах зажаты шпильки, в одной руке гребень, другая сжимает расплетенную косу. Я прошептал:

- Доброе утро, Нина.

Разжав зубы и уронив шпильки на колени, Нина улыбнулась.

- Доброе утро, товарищ лейтенант.

- Ну что за официальности? Это я для своих подчиненных товарищ лейтенант, а ты ж не моя подчиненная, так?

- Так. - сказала Нина.

- Поэтому зови меня Петром, Петей.

- Если вы настаиваете, буду звать Петей. - Она усмехнулась. - И даже Петенькой.

- Вот-вот, - сказал я. - К чему нам китайские церемонии?

Мы ж свои люди. А церемонятся пускай другие.

Какие другие, что за церемонии? Я говорю явно что-то не то.

Хотел сказать ей умное, доброе, душевное, под стать настроению, а говорил какую-то ерунду. На постном масле. А она подсмеивается надо мной Петенька. И выдерживает дистанцию: я ей "ты", она мне "вы". Вот тебе и китайские церемонии.

Колеса выстукивали: ты - вы, ты - вы... Ах, да чепуха это!

На постном масле. Живи и радуйся жизни, лейтенант Глушков, он же Петенька. Радуйся! И я сказал:

- Ниночка, подъем! Скоро завтрак. Подрубаем?

Захныкал мальчик. Нина развела руками - дескать, ничего не попишешь, прошу извинить - и скрылась за плащ-палаткой.

А меня вдруг - как солнечный луч толщу воды - пронизало предчувствие счастья: будет оно у меня когда-нибудь, то самое, что называют личным. Будет! Хотелось задержать, продлить это мгновение. Но мгновение уходило, и предчувствие счастья вытекало вз меня, как кровь из раны. И все ж такп до конца не вытекло, что-то осталось на донышке.

За завтраком мы сиделп рядом с Ниной, она кормила сыпа солдатской "шрапнелью" - ложку себе, две ему, - и я невзначай касался ее руки. Гоша то капризничал, то подлизывался к матери - симпатичный чертенок, рожица измазана кашей. Мне каша не шла в глотку, ел насильно, давился, запивал чаем. И в задумчивости оттягивал кожу на шее, у подбородка. Так, гениальные мыслп:

когда-то настанет конец этому пути, собственно, он все время кончается, с каждым городом, с каждой деревней, с каждым километром - и никак не кончится, но потом наступит настоящий

конец, когда мы покинем теплушки. И начнется другой путь, а за ним иной, и еще иной, и так далее. Гениально? Записать в блокнотик?

После завтрака Колбаковский рассказывал Гоше сказку про волка и семерых козлят в вольной трактовке ("Волк - он знаешь, какой гад, тот же фашист. Фашист с автоматом, а волк с вострыми зубами..."), мальчишка льнул к нему, старшина старался еше пуще, гримасничал, таращил глаза, блеял, шипел и рычал - изображал в лицах. Кто бы мог подозревать у старшины такие таланты!

Мы остались с Ниной за столом: молчали, слушали художественное слово старшины Колбаковского. И внезапно рассмеялись: оба совершенно одинаково подперли подбородок рукой, вроде бы закручинились. Колбаковский недоуменно глянул на нас, ибо мы засмеялись в весьма неподходящем месте - волк начал заглатывать бедных козликов. Старшина в неудовольствии пожевал губу, однако сказку продолжил.

Напротив нас восседал ефрейтор Свиридов, небрежно перелистывал старые, оборванные по краям газеты. Присевшему парторгу Миколе Спмоненко с той же артистической небрежностью объяснил:

- Повышаю уровень, расширяю кругозор.

- Зер гут, - сказал Симонеико. - Но чего ж музыку забросил?

Песни не играешь - и чего-то не хватает.

Точно: чего-то недостает без свпрпдовскпх танго. Привыкли к ним. Ефрейтор Свиридов кинул на Нину томный взор и сказал:

- На музыку, товарищ парторг, настроение отсутствует. Повлекло на политику...

Колбаковский кончил сказку и сиганул в другую область - рассказывал о некоем своем сослуживце:

- Звали его Никита Иваныч, толстый - во, бочка, рожа - во, зрелый помидор, - словом, здоровяк несусветный. А почитал себя за больного, все болсстп-хворостп выискивал, едри твою корень!

И у себя выискивал, и у посторонних. Когда у себя находил - горевал, ежели у людей - радовался. Он и знакомых своих различал по по именам-фамилиям, а по болезням. "Ага, это язвенник...

У этого почки больные... А это тот, у которого грыжа..." Хо-хо!

Старшинский смех не поддержал никто. Кроме Гоши, засмеявшегося тонко, визжаще. Будто понял что-то, чертенок. Ефрейтор Свиридов тягуче, со значением произнес:

- Вот, значит, как все это раскладывается на сегодняшний день...

А я подумал о своей носоглотке. Во время сна она пересыхает

зверски, когда говорю, голос садится, длинные речи не для меня.

Диагноз - хронический катар. Это бывает у лекторов, учителей, вообще у говорунов. Но я-то к ним не принадлежу, а все равно катар. Обидно. За что, граждане? Сослуживец Колбаковского звал бы меня примерно так: "Это который с хроническим катаром носоглотки..."

Вадик Нестеров и Яша Востриков начали что-то рисовать Гоше на тетрадном листе, а мы с Ниной, не сговариваясь, разом встали и отошли к двери. Стояли, облокотясь о бревно, и смотрели, как убегает назад соседняя колея. Я курил. Нина щурилась, может быть, от сносимого на нее папиросного дыма. Я сказал: "Извини.

Нина" - и выбросил папиросу. Она улыбнулась, то ли отрицательно, то лп утвердительно покачала головой. Я спросил:

- О чем задумалась?

- Да так, ни о чем... - И после паузы: - Неправда, задумалась я вот о чем... Сколько сейчас болтают кумушки, да и не только они! Такой-то де фронтовик привез из Австрии чемодан иголок, спекульнул, миллион заработал. На такой-то станции танкисты с платформы навели свою пушку на пивной ларек: угощай пас бесплатно, а то разнесем. Там-то взяли в теплушку девушку, а после, надругавшись, выбросили на перегоне. И прочее...

- Что за гадость! - вскипел я. - Да это поклеп! И ты. комсомолка, повторяешь...

- Гадость. Поклеп. Я сама еду с вамп и вижу, что к чему.

А повторяю я потому, что меня поражает: как можно к тому великому, что свершила паша армия, приплетать такие слухи, клевету такую возводить! И кто этим занимается? Добро б еще граги, а то ведь наши, доморощенные сплетники!

- Извини. - сказал я, продолжая кипеть. - Ты. конечно, вправе повторять, хотя и из твоих уст слушать противно. Пойми, ведь я представитель этой армии, каково мне слышать? Ты правильно все оцениваешь. Но эти болтуны, сеятели слушков... Передавил бы их! К сожалению, они живучи, канальи.

- Откуда они берутся?

- Их питательная среда - мещанство. Мещанина издавна отличает почти физиологическая страсть к сплетне, к дурной сенсации. А-а, ну их к ляду!

- От этого так не отмахнешься, - сказала Нина. - Да, это мещанская стихия. Но откуда берутся советские мещане? А они есть!

М-да. Советские мещане. Они существуют. Действительно, не отмахнешься. Моей категоричности поубавилось. Я промямлил:

- Завершим все войны и начнем разбираться. У нас не только

эта проблема, поднакопилось всего...

- Надо разобраться, - сказала Нипа с уверенностью, которая будто перешла от меня к ней.

За нашими спинами разговаривали солдаты, смеялись, и Гоша смеялся, визжал как поросенок. Перед нами проносились деревеньки, полустанки, речки, озерца, опушки, буераки. И меня наполняло ощущение нескончаемости жизни и нескоычаемости Земли - словно она не шарик, который мечтал облететь Валерий Чкалов, а нечто беспредельное, как вселенная. Это ощущение боролось с мыслью: нет, Земля мала, людям на ней тесно, однако лучше в тесноте, да не в обиде, чем истреблять друг друга, истребиться человечеству проще пареной репы. И мысль росла быстрей ощущения, обгоняя его и подавляя.

Вообще мысли мои в это утро как-то скакали: от предчувствия счастья к носоглотке, от мещан к тому, чтобы сделать войну с японцами последней на планете, и затем снова к будничному - славно бы искупаться в речке пли озере, если б поезд остановился вблизи водоема.

Эта мысль явилась, когда я глядел на разворачивавшееся за насыпью лесное озеро: с трех сторон его окружали березы и сосны, с четвертой, у насыпи, камыш, вода в озере была зеленая, до того плотная, что ветерок не мог взрябпть ее, - деревья и камыш качались, а озеро было гладкое, по нему, будто по льду, скользили солнечные блики. Я представил себе: в трусиках вхожу в воду, и со мной входит, держась за мою руку, Нина в трусах и лифчике, - и мне стало жарко. Я покосился на нее. Плавным поворотом головы она провожала озеро.

Капризничая, затараторил Гоша, а потом засмеялся. Я спросил :

- Нина, а кто Гошип отец?

- Отец?

- Если неприятно, не отвечай, это я так...

- Неприятно? Да. Но я отвечу. Не считаю нужным скрывать, как оно есть... Замуж я выскочила, именно выскочила, потому что плохо знала Виталия. Он старше меня на десять лет, военный летчик, капитан. Познакомились с ним на танцах в окружном Доме Красной Армии и влюбилась, дурочка. Он сделал предложение, я согласилась. Любила его и почему-то боялась. На свадьбе для храбрости пила и потому ничего не помню, лишь наутро все поняла... Стали мы жить. Он служил в прпгороде, приезжал ко мне часто. К себе не брал, объяснил: пет жилья. А через полгода до меня дошло, люди добрые расстарались: у пего в пригороде жена. Невзвидя света я помчалась туда. Не врали - законная жена. А со мной Виталий просто позабавился, хотя и

оформил все ч ость по чести; в загсе регистрировались, дружок добыл ему в штабе чистое удостоверение личности, чтоб в загсе штампик поставили... Ну, что было? Ничего. С ума не сошла, не повесилась, не отравилась, под поезд не бросилась. Родила. И вот живу с ним, с Гошкой. Довольно банальная история...

- Нет, не банальная, - сказал я. - Этот мерзавец носит офицерские погоны! Да как же это так?

- Да вот так, - сказала Нина.

Ах, мерзавец! Пока мы воевали, лили свою кровь, этот хлюст в тылу ходил на танцы, морочил мозги девчонкам, обманывал их, как распоследняя сволочь. Попался бы он мне!

Было тоскливо, тошно. Словно меня самого обманули. Нина положила свою руку на мою и сказала:

- Все быльем поросло, Петя. Не жалей меня.

То, что она запросто положила руку, назвала по имени и на "ты", смутило меня, и я внезапно понял: мы ровесники, но она старше, и ее жизненный опыт в чем-то намного превосходит мой.

Хотя бы потому, что у нее сын. А кто я? Мальчишка, голь перекатная, ветродуй.

Сорвавшаяся с сопки туча накрыла эшелон, и строчки дождя били, как пулеметные строчки. Я притворил дверь. Ливень стучал по крыше, плясал на железе, словно загулявший мужик. В вагоне потемнело, зажгли "летучую мышь".

Покуда мы с Ниной разговаривали, солдаты уложили Гошу спать, и он пускал пузыри за плащ-палаткой. Нина поправила у него под головой подушку, сказала:

- Скоро матери нечего будет делать.

- Нехай, - сказал Симопенко. - Под дождичек парубок знатно выспится!

Дождь вскоре перестал, по Гоша, разметавшись, продолжал пускать слюни по-прежнему. Открыли дверь, и в вагон будто вкатилось солнце: засияло, заиграло на зеркале, оружии, пуговицах, орденах-медалях, ложках-кружках. Старшина Колбаковский провозгласил:

- Вёдро.

- А как вы догадались, товарищ старшина? - со скрытой ехидцей спросил Свиридов.

Колбаковский без слов ткнул рукой в сторону аккордеона, потом в сторону Свиридова, потом скрутил дулю. Кажется, было ясно, что имеет в виду старшина. Не так-то он прост, как представляется некоторым.

А мне представляется иное, отнюдь не связанное с Колбаковсшш. Словно на скамеечке в сквере - супружеская пара, старики, пенсионеры, на копчике носа очки, каждый углубился в

газету.

Затем он говорит: "В хронике происшествий сообщают: в Пензу забрел лось из леса, милиция ловила". Она говорит: "Надо же!"

И опять каждый углубляется в газетный лист. А что, если этим стариком окажусь я? А кто старуха? Вот этого я не знаю.

В Красноярске эшелон простоял часа два. Воинских составов скопилось много, и солдат на перроне было, пожалуй, поболе, нежели гражданских. Чем дальше мы ехали, тем менее пышно встречали нас на вокзалах. Да это и понятно: люди попривыкли к нашим эшелонам, они к ним выходили, но уже без митингов, знамен и духовых оркестров, все стало будничней, без затей.

Оставив разоспавшегося Гошку на попечение дневального, Нина пошла со мной на вокзал. Один состав мы обогнули, через второй пробрались по тормозной площадке, пролезли под вагоном третьего и выбрались на перрон. Жара плавила асфальт, развороченный, как во фронтовом городе, на привокзальной площади удушающе воняло выхлопными газами, как при танковой атаке, листочки кустарника пожухли, как от пожара, цыганки, оборванные, как беженки, бродили толпой и приставали к солдатам: "Молодой, красивый, позолоти ручку, всю правду скажу..." И представьте, некоторые, смущаясь и краснея, гадали. Уж больно хочется человеку узнать свое будущее!

Когда в сорок первом я ехал на фронт, цыганки на станциях вот так же приставали к нам. Всем, кто подставлял ладонь, они пророчили долгую жизнь и полное счастье, - разумеется, после осложнений, вызванных происками пиковой дамы и трефового короля. Ах, сколько их, гадавших, уцелело в июньских боях? Я тогда не стал гадать, хотя впоследствии иногда жалел об этом.

Не стал гадать и сейчас, в Красноярске. Поживем - увидим. А цыганки, как и в сорок первом, предсказывали солдатикам долголетие и счастье. Они добросовестно отрабатывали свой хлеб, похожие на беженок цыганки.

Мы с Ниной выпили газировки, купили газеты, съели мороженого, в коем льда было больше, чем всего остального, и вернулись к эшелону. И тут я увидел комбата и Трушина. Капитан стоял к нам задом - обезображенного лица не видать, фигура рюмочкой, - а Трушин смотрел на нас с явной заинтересованностью. Они закончили разговор, комбат похромал к штабному вагону, Трушин направился ко мне.

"Влип, - подумал я. - Попал, как кур в ощип. Потому - потерял бдительность".

Трушин подошел и как ни в чем не бывало, простецки попросил закурить. Я вытащил папиросу, чиркнул спичкой по

коробку.

Прикуривая, Трушин пристально, из-под век, взглянул на меня.

О, эти неожиданные пристальные, прострельные взгляды он уважал! Со смаком затягиваясь, спросил:

- Как жизнь молодая, Глушков?

- Лучше всех.

- Цветем, значит?

- И пахнем.

Глупая, пустая перекидка словами. Надо - так спрашивай.

И Трушин спросил:

- Кого-то из гражданских везешь?

- Везу.

- Женщину с ребенком?

Уже известно. Стукнули замполиту. От него не утаишься. Нужно идти напрямик. Я сказал:

- Так точно. Женщину с ребенком.

И пустился объяснять, что у Нины украли сумочку, что она комсомольский работник, что отец ее фронтовик, умер от рап и прочее. Трушин выслушал и спросил:

- Бескорыстная помощь? Видов на нее не имеешь?

- Никак нет.

И здесь Трушин удивил меня, сказав:

- Верю тебе. И хоть это не положено, вези до Читы. Если мы через псе проедем...

Он говорил как-то рассеянно, и мне подумалось, что этот разговор не главный, он хочет сказать о чем-то ином, более существенном для него. Трушин сказал:

- Красивый город, красивая река. Красноярск - Красный Яр, микитишь? Краснолесье кругом, воздух смолой пропах. А над городом марево. А Енисей-батюшка каков? Силища! Волге-матушке не уступит!

И опять я подумал: это тоже не главное сейчас для Трушина, он скажет о более существенном, чем речные батюшки и матушки.

И Трушин сказал:

- Как считаешь, Петро, правильно, что мы не пошли в Западную Европу?

Я даже поперхнулся:

- Ты о чем, Федор?

- Да о том же... Меня один гвардии рядовой, разудалая головушка, вопрошает: почему мы не пошли в мае дальше на запад, чтоб занять всю Германию? Я ему говорю: договоренность с союзниками, каждый занимает что намечено. А он мне: зачем

было договариваться, связывать себя по рукам и ногам, мы освободили Восточную Европу, надо было освободить и Западную, не отдавать ее империалистам!

- Так они ж наши союзники, - сказал я.

- И я ему об этом, гвардии рядовому! А он свое: союзники союзниками, но они не перестали быть империалистами, вспомните, товарищ замполит, как они волынили со вторым фронтом, чтоб мы кровушкой побольше истекли...

- Было дело, - сказал я.

- То-то что было! Возражаю разудалой головушке, максималисту, а сам думаю: Англия, Америка и другие потому и примкнули к нам, что расчухали: без нас Гитлер сожрал бы их! Вот теперь и гадай на кофейной гуще: что они там, в своих зонах оккупации, разведут-расплодят? Империалисты! А фашизм лишь крайняя форма империализма...

- Ты что же, осуждаешь или поддерживаешь того рядового?

- Осуждаю, осуждаю. Но не улавливаешь ли ты в его словах некоей сермяжной правды? Не просчитались лп мы, что не пошли за демаркационную линию? Наша армия на сегодня сильнейшая в мире, против нее никто не устоит, с этим надо считаться.

- Слушай. - сказал я, - туда нам нельзя было идти без риска столкнуться с союзниками. И они не рискнули идти на восток, хотя, наверное, зуд у них был. Я даже слыхал, что американцы пе хотели отходить за Эльбу, за разграничительную линию, наши их вынудили.

- Видишь, какие они, - сказал Трушин.

- Но не доводить же до столкновения, до войны с ними! Кстати, нацистские главари до последнего надеялись сшибить нас лбами. Не вышло! Надо сотрудничать, а не конфликтовать. Это наша официальная установка, так ведь? Потому наша армия и не пошла за демаркационную линию.

- Мы не правомочны обсуждать действия командования, - тихо произнес Трушин.

- Согласен, - сказал я.

- Закурим?

Пальцы Трушина, державшие папиросу, дрожали. Он затянулся, выпустил из ноздрей дым. Я перевел разговор: когда еще будет баня в пути? Он ответил: у начальника эшелона нужно спросить.

После папиросы Трушин малость успокоился. Я сказал:

- Поедем в нашей теплушке? Давно ты не ехал с нами.

- Поеду. Давай еще по одной выкурим.

С американцами и англичанами мы пока воевать не будем.

Если они нас не заденут. Не должны бы: все-таки союзники

по антигитлеровской коалиции. Ну, а с японцами воевать наверняка.

Настолько наверняка, что верней не бывает. Какая она будет, эта война? Большая пли малая? Длительная или короткая? Хочется, чтоб была малой, короткой. Правда, и на такой могут убить. Обидно будет: уцелев на большой войне, погибнуть на малой. В этой гибели будет, пожалуй, особый трагизм.

В теплушке Трушин первым делом познакомился с Гошей, а затем уже с Ниной. Пацаненок, пообтершийся в воинской среде, не дичился, разглядывал трушинскую щербатпнку, дал себя погладить по голове, потрогал пальцем гвардейский значок. Нина была озабочена и напугана, узнавши, что перед ней замполит: наверное, в ее представлении это был ба-алыпой начальник, а для меня не очень: я сам командир роты. Поэтому я насвистывал и хлопал Трушппа по плечу: мол, знакомься, знакомься, чего там.

Гладя мальчишку, Трушин ласково улыбался; пожимая руку Нине, ухмылялся. Но и ухмылка у него была добродушная, в сущности, он незлой, хороший человек. Конечно, не без недостатков, А кто без нпх? Быть может, лейтенант Глушков? И смел он, Федор Трушин, честен до ортодоксальности, до конца предан партии.

Да. мы с ним коммунисты, мы с ним русские люди, нам вместе еще одну воину ломить - это что-нибудь да значит. Гоша восседал на колене у Трушина, тот его подбрасывал, будто он на лошади едет: "Н-но!"

Надо сказать, что Гоша скоренько к этому привык - сидеть ва солдатских коленях. Он у Трушина устроился без лишних слов, а от него перекочевал на мои колени. Я тоже дрыгал ногой, чмокал губами: "Н-но, лошадка", обнимал его за плечи и чувствовал под рубашкой худенькое, слабое, доверчивое тело, и меня подмывало поцеловать Гошку.

Накоротке возникло ощущение: это мои сын, а Нина моя жена, - и ушло, когда я припомнил: и Эрна виделась моей женой.

Нет, ничего этого не будет, и у мальчика есть отец с красиво-сусальным именем Виталий, и физиономией он, наверное, смазлив, сукин сын с капитанскими погонами. Мерзавец, каковых в стародавние времена вызывали на дуэль, нынче - отделываются вызовом на парткомиссию.

До того стало муторно, что захотелось выпить, точнее - напиться. И я бы позычил у старшины спиртного, если б не присутствие Трушина и отчасти Нины. К тому же я давал себе обещание не пить, слово, как известно, не воробей. Ладно, не буду напиваться, блюдем сухой закон.

А потом завязался разговор, вызвавший одобрение

замполита, и он похвалил парторга Симоненко, комсорга и меня, как командира подразделения. За что? За целенаправленную политико-массовую работу в роте. Не уверен, что наша троица так уж направляла работу, но разговор, точно, сложился нужный. Не помню, кто его затеял, - я прислушался, когда он уже был в разгаре.

Говорил Микола Симопенко:

- Хлопцы, дюже справедливо толкуете: у нас с самураями счеты-пересчеты издавна. Они издавна зарились на наши земли.

В гражданскую войну хотели оттягать Далыпш Восток и Забайкалье, да не вышло, Красная Армия вышибла их!

Его перебил ефрейтор Свиридов:

- А чего они вытворяли, товарищ парторг! На Дальнем Востоке да в Сибири! Вот я сибиряк и могу попомнить рассказы свидетелей, старикашек...

- Не старикашек, а стариков. - поправил Спмонепко.

- Стариков! - отмахнулся Свиридов. - Не в этом соль... А уж коли про соль помянул, то елухайте: японцы сыпали ее на раны красноармейцам, которые в плен попали. А то еше вырезали звезды на лбу, на груди. А еще насильничали наших женщин прямо на народе... У, псы!

- Филиппок Головастиков то же сказывал. - внес свою лепту Логачеев. - У него родные дядья сложили головушки в боях с японцами. В гражданскую.

- А я вот что вычитал, - сказал Вадик Нестеров, тушуясь от всеобщего внимания. - Из книги... Японцы сожгли в паровозной топке Сергея Лазо!

- Сколько героев сгубили японцы! - сказала Нина. - П белобандпты атамана Семенова. Л американцы. Сколько братских могил в одном Забайкалье! У меня отец юношей партизанил, многое порассказал... Японским и американским интервентам вовек не отмыть свои лапы от крови!

- Американцев не будем касаться, - сказал Симоненко, направляя разговор в нужное русло, - на текущий момент о японцах речь.

- Ну что японцы? - сказал старшина Колбаковский. - С ними ясно. Всю Отечественную продержали на наших дальневосточных границах Кванту некую армию. А в ней миллион, не меньше. Выбирали час, чтобы вдарить с востока. Да мы смешали ихние планы, раздолбали Гитлера...

Вмешался Трушин, не выдержал:

- Простите, товарищ старшина, что перебиваю. Но хочу сказать попутно: и мы были вынуждены держать крупные войска на Дальнем Востоке, противостоять Квантунской армии. А как

они были необходимы под Москвой, под Ленинградом и Сталинградом, под Харьковом или Курском!

- Ваша истина, товарищ гвардии старший лейтенант, - сказал Колбаковский. - Добавлю: всю Отечественную япошки устраивали провокации на границе, помотали нам нервы. А возьмите события пораньше, на Хасапе и Халхин-Голе. Это тридцать восьмой год, тридцать девятый. Лезли на нас и получили по морде.

Самураи! Банзай! Однако и нам это стоило жертв... Я считаю Отечественная война берет начало с Хасана. А потом пошло цепью: Халхип-Гол. финская, сорок первый - сорок пятый, теперь вот сражаться с Квантунской армией...

- И это будет последнее звено в цепи, - вновь вмешался Трушин. Разобьем Квантуискую армию, освободим Китай, Корею и прочие страны, оккупированные японскими милитаристами, и завершим войны! Последний, решающий рывок, товарищи! Разгромим ненавистных самураев!

Трушин так и шпарил открытым текстом про вероятного противника. Какой там вероятный, когда в точности обозначен: самураи. Трушин закончил зажигательно, это он умеет. Стало быть, будем воевать. Как велит долг. В этом можете не сомневаться, товарищ заместитель командира батальона по политической части, товарищ гвардии старший лейтенант.

В почти четырехлетней войне с гитлеровцами было то, что я назвал бы кровообращением дивизий, армий, фронтов. Подразумеваю следующее: тебя ранили, эвакуировали в тыл, из госпиталя ты далеко не всегда попадал в свою дивизию, даже в свою армию, бывало - вообще попадал на другой фронт. В этом смысле мне, домоседу, везло: несмотря на госпитальные отлучки, войну я провел на одном фронте - Западном, впоследствии ставшем Третьим Белорусским. Армии, естественно, менялись, тем паче дивизии.

В последние месяцы войны на западе наша дивизия входила в состав 39-й армии. После Кенигсберга эта армия, по слухам, целиком перебрасывается на Дальний Восток. Следовательно, такова моя воинская судьба - пройти еще одну войну. Только и всего - повороты воинской судьбы. Так же, товарищ гвардии старший лейтенант?

Ночью я проснулся с мыслью: на повой войне убьют, и я, мало что взявший от жизни, ничего не получу больше. В вагоне было тихо, все спали, включая дневального. Среди сопения и храпа мне почудилось легкое дыхание Нины. Милая, симпатичная, привлекательная женщина. Совсем близко от меня. Я ведь тоже молод, иолна грудь орденов и медалей. А? Почему бы не спуститься к ней за плащ-палатку?

Подгоняя себя, я слез с верхних пар и, сторожко оглядываясь, отвел плащ-палатку. Гошка лежал у стенки. Нина - рядышком, свернулась калачом, волосы рассыпаны. Наклонюсь, обниму ее, поцелую в губы. Наклонился, но не обнял и не поцеловал. Потому что вспомнил об Эрне. Стоял дурак дураком, с протянутой рукой - милостыню просил. Нашел подходящий момент для воспоминаний. Да - вдруг, резко - увидел: после моего поцелуя лицо немки оживает, будто окропленное живой водою, услышал: "Иди ко мне, Петья..." Ну что тебе нужно от меня, Эрпа? Мы же далеки друг от друга и никак по связаны. Нет, Эрпа, связаны! И я не свободен от тебя. Не сердись же на меня, Эрпа. И ты, Нина, не сердись.

Нина словно услыхала мою мысль, повернулась, открыла глаза, шепнула: "Уходи" - и отвела мою руку. Не отталкивала, не ругалась. И ее шепот и та мягкость, с какой она отстранила меня, сразу подействовали. Я сказал:

- Спи, спи.

И полез наверх. Укладываясь, увидел: ординарец Драчев, не разлепляя век, во сне поднял голову и уронил. Миша Драчев не одобрял меня, когда я хаживал к Эрне, а теперь что волнует? Спп и ты, Миша, не переживай, приятных тебе сновидений. Я также вздремну. Ничего худого не случилось. И не случится. Не убьют меня, черта им лысого! Я еще покопчу белый свет!

Утром мне не было стыдно перед Ниной. Да и она вела себя так, будто не было ночного визита. Да что визит? Ерунда. Чем он кончился? Нам нечего стыдиться, право. Тем более подобное пе повторится, оно лишнее. Надо ехать, следить за порядком в роте, заботиться о подчиненных и готовить себя и их к войне. Словом, не отвлекаться.

А все-таки я вру: мне было стыдно - перед той, далекой, перед немкой, перед Эрной. Да-да, ничего ночью не произошло. Потому что вспомнил об Эрне. Вовремя вспомнил? А если б произошло?

Как тогда бы ты отнесся к себе, Глушков? Нет, пока что, пока время не поработает всласть, ты будешь верен памяти женщины, которая имела несчастье оказаться немкой. И которую ты любил, как будто она была русская. Любил. И, наверное, любишь. И, наверное, будешь еще любить. Хотя бы в мыслях, хотя бы на расстоянии.

А зря все Яле спустился к Нине. зря. Наверное, долго буду жалеть об этом. Да и стыдно мне не только перед Эрной, если говорить по совести... Ну, ладно, Глушков, не отвлекайся!

И мы ехали - километр за километром - на восток.

Ели, спали, выползали на остановках. Никто не напивался.

Еслп отставали от эшелона, нагоняли на пассажирских.

Воровства больше не было - то ли Трушин припугнул, то ли еще что. ЧтоОи не сглазить, скажу: пока не было. Проводили политинформации, занятия по уставам и матчастп оружия (солдаты клевали носами.

да и сам я клевал). На досуге забавлялись с Гошей, играли в шахматы и домино, читали журналы и книги, слушали великого исполнителя, заслуженного артиста ефрейтора Егоршу Свиридова.

Он выклянчил-таки у старшины аккордеон, соскучившись, рванул мехи. Репертуар начал с новинки: "Где же ты теперь, моя Татьяна... тпр-лим, тпр-лим, тпр-лим, тир-лпм..." - танго, патока и мед, слюни про то, как "встретились мы в баре ресторана", про "дни золотые", которым наступил капут, и про прочие пироги. Замполит Трушин, проходивший по перрону, однако, обрезал заслуженного артиста:

- Свиридов! Чтоб я не слыхал эту "Татьяну"! Репертуар белоэмигранта Лещепко! Идейно вредная вещь!

- Учту, товарищ гвардии старший лейтенант, - пробормотал озадаченно заслуженный артист. - У меня другие в запасе.

И нажаривал знакомое, испытанное, не белогвардейское, которое к идейно вредным уже не причислишь, - "На карнавале музыка и танцы", "Мы с тобой случайно в жизни встретились...", "Мой милый друг, к чему все объяспепья...", "Орхидеи в лунном свете", "Брызги шампанского".

С Ниной я говорил мало. Чаще смотрел на нее. Думал: "Скоро она слезет. В Чите. Промелькнет в моей жизпп, как мелькали. Незадерживаясь, сотни солдат, офицеров, местных жителей и немногие женщины, что любили меня. Всех я их встречал для того, чтобы расстаться, какой-то непрерывный поток. А как хочется, чтобы рядом постоянно, всегда-всегда находились твои друзья, твоя женщина, твои дети. Устал я от мельтешения лиц, характеров и судеб. Честное слово, устал".

24

Году этак в семидесятом, через четверть века после войны, .мы будем с женой отдыхать в Крыму. Загорать, купаться, гонять теннисный мяч, есть фрукты и пить вино. И однажды, гуляючп по берегу, выйдем к одинокой воинской могиле. В ней будет лежать не оп, а она. Девушка-партизанка. Тогда, при казни, ей было двадцать, она сверстница Нины и моей жены, она была комсомолка, как и они. В этой могиле при иной судьбе могла лежать Нина, могла лежать моя жена. Но лежит неизвестная мне девушка, партизанская разведчица, расстрелянная карателями в сорок втором году. Сколько лет и ветров прошумело над могилой!

Мы стояли с женой у ограды, смотрели на обелиск, а теплый предвечерний воздух разрывали музыка, смех, шутки жизнерадостных курортников. И мне померещилось, что той, покоящейся в земле, хочется сказать счастливой, беспечной, легкомысленной толпе: "Если можно, будьте немного тише. Чтобы я могла услышать морской прибой..."

В Иркутске я вспомнил, что Свиридов так и не попросился в отпуск. Я к нему: в чем дело? Он объяснил: лги л не в Иркутске, а в Братске, это еще пилять да пплять на север, и отпуска не хватит, но не в этом соль, соль в том. что он детдомовец, из Братска давно умотал и никого там нету, к кому звала б душа. Он так и сказал: "Звала б душа", - и глаза у него стали грустные. Вот не ведал, что они у Егоршп Свиридова могут быть такими.

Неразговорчивый Рахматуллаев, слыша нашу беседу, не удержался, сказал:

- Вах, если б это была моя родина, пешком пошел бы, пополз бы. Чтоб хоть издали увидеть Узбекистан...

В Иркутске нас нагнал Головастиков. Он сошел с пассажирского поезда, свежевыбритый, с чистым подворотничком, в надраенных сапогах, трезвый, как стеклышко, и хмурый, как осеннее небо. В одной руке он нес битком набитый вещевой мешок, в другой - бутылку водки. Солдаты встретили его дурашливыми криками "ура". Толя Кулагин спросил:

- Досрочно обернулся?

- Управился, - сказал Головастиков, каменея лицом. - Много ль надо, чтобы исполнить свои делишки?

Я присматривался к нему напряженно. Во что вылилась его поездка? Не учинил ли чего с неверной женой, черт бы их съел, этих неверных жен! Буду ждать, не полевая виду, что тревожусь.

Головастиков кипул пятерню к пилотке:

- Товарищ лейтенант! Разрешите доложить? Рядовой Головастиков прибыл в распоряжение.

Я козырнул ответно, подал руку. Головастиков сжал ее. Потом сунул мне бутылку:

- Вам подарочек, товарищ лейтенант. За то, что уважили, отпустили...

Нашел что дарить. Я отрицательно покачал головой:

- Благодарю, по...

- Уважьте, товарищ лейтенант. От души...

- Спасибо, Головастиков. Но не пью. Завязал. Выпейте уж лучше сами с товарищами, всем понемногу.

- Не. Я тож завязал. Будь она проклята, окаянная. Тож не пью больше.

- Давай сюда, - сказал Колбаковский, - мы ей найдем

применение.

Толя Кулагин блеснул разномастными глазами:

- Товарищ старшина, меня не обделите!

- Разберемся без подсказок, сами грамотные. Но гарантирую; коллективной пьянки не будет.

- А индивидуальная? - не отставал Кулагин.

Старшина зыркнул на него, сухо произнес:

- Товарищ Кулагин, я б на твоем месте не претендовал. Потому - у тебя здоровье не дозволяет, подорвано в плену. Ты что, враг своему здоровью?

- Об моем здоровье не печалуйтесь, - сказал Кулагин. - И плен не пристегивайте.

Головастиков распатронил вещмешок, стал угощать Гошу, меня, солдат. Свиридов стонал от восторга:

- Гляди-ко! Шаньги! Шанежки! Шанечки! Гляди-ко! И клюква! И медвежатина!

Нину Головастиков не угощал, за него это сделал Колбаковский. Все жевали, хвалили. Кулагин брякнул:

- Небось жипка собирала?

- Кто ж еще? - Головастиков скрипнул зубами. - Не убил я ее, курву. А ведь дело прошлое, товарищ лейтенант, ехал-то я, чтоб прирезать... Головастиков начал громоздить этажи мата, во, покосившись на Нину и на меня, спохватился: - Мысля была одна - зарезать! У меня трофейная финочка наточенная, лезвие - четыре пальца, аккурат до сердца достанет...

Я аж похолодел. Значит, это все могло быть? Значит, и Головастиков и я были на волосок от трибунала? Ну и ну! Неужели пронесло? Слава тебе, господи. Если ты есть.

- Я все прикидывал, все прикидывал. И в теплушке, и в трамвае уже. Как войду в дом, как скажу: "Молись, курва" - и фгшочкой ее, финочкой...

Солдаты притихли, перестали жевать. Нина с испугом смотрела на Головастпкова. Я подумал, что зря он выкладывает, но прерывать не буду. В конце концов, пускай выговорится, быть может, полегчает.

Головастиков больше не матерился, однако пи разу он не назвал жену по имени, только "моя курва".

- Ну, вошел я в комнату, она мне на грудь... Нечайком обнял, учуял ее тело. И не поднялась рука. Опосля легли с ней, она у меня сладкая, курва-то моя. Льет слезы, причитает, кается, а я злюся, что раскис перед бабой... Ну, пожил я денек и чую: не могу. И быть с иен не могу, и зарезать не могу. На рассвете собрался, она гостинцы соорудила. С тем и отбыл... - Головастиков скрпппул зубами так, что у меня мороз пробежал по

коже. - Опосля войны не возвернусь к ней. Потому - все-таки зарежу, ежели будет рядом. Через педелю, через месяц, через год, а зарежу. Потому - не прощу. Я ведь, знаете, через что с моей курвой спознался?

Спас ее от хулиганов, вечером в парке пристали, хотели снасильничать. Я услыхал крик, напролом в кусты, раскидал шпану, ну, и мне досталось, плечо ножом раскровенили. Встречаться мы зачали с ней, обженились... Спрашивается в задаче: надо было спасать ее от снасильников, чтоб она опосля снюхивалась с кем ни попадя?

Э, все это пустой разговор, лягу-ка я сыпануть...

Он лег на пары, укрылся с головой шинелью. Это в жару-то.

Никто его не стал утешать, да и меж собой солдаты, словно по уговору, не касались рассказанного Головастпковым. Видимо, в этом был немалый такт: почувствовали глубину чужой беды, которую лучше покуда не бередить скоропалительными выводами, дежурными утешениями и советами.

Спустя десять минут Головастиков откинул шинель, сел, вытер пот со лба. Сказал:

- Через ту курву матерь с сестрами не повидал. Про теток и говорить нечего. Мысля была - побыстрей бы уехать из города, от греха... Но город, доложу вам, Новосибирск, стало быть, все же такп разглядел. Родина ж моя... Разросся Новосибирск сильно.

- Это точно, - поддакнул Логачеев. - Едем по Сибири, видим: много в городах заводов всяких. Понимаем: оборонная промышленность! Без нее и войну как выиграешь?

- Тыл крепко помог, выиграли, - сказал Мнкола Симоненко. - Знамя Победы над рейхстагом! Вот мы какие!

- Да уж, такие, - опять поддакнул Логачеев.

Я слушаю солдат и радуюсь разговору. Правильно, хватит о жрачке и неверных женах. Почаще надо вспоминать о минувшей войне, о пашей великой Победе! Надо, чтобы мы всегда были достойны этой Победы!

Состав не отправлялся. На запад уходили пассажирские поезда и на восток, на запад шли товарняки с каменным углем, с лесом, на восток воинские эшелоны. А наш стоял, будто железнодорожное ведомство забыло о нем. Иркутск утопал в зелени и пыли.

Сквозь тополевые купы проглядывали купол собора, купеческие особняки, стеклобетонные сооружения тридцатых годов и деревянные бараки позднейшей формации. Мостовые были не замощены, деревянные тротуары полусгнли. Ну, это не центр, в центре должны быть камень и асфальт. Проехавшие повозки взбили тучу пыли, темно-бурой, хрусткой на зубах,

позывавшей на чих. И мы чихали, и чихал пьяненький слепой, колобродивший возле погрузочно-разгрузочной площадки. Было жаль его: шатается, куда идет - не видит, натыкается на забор. Я подошел, ухватил его за локоть, вывел на улицу. Одетый в списанное, выцветшее хлопчатобумажное - "хебе" обмундирование, в стоптанных сапогах гармошкой, он зиял слизисто-краспыми глазницами, лез целоваться, бубнил:

- Браток, я танкист, сгорел под Белгородом, а ты кто?

Затем отпустил меня и зашагал по улице шатающейся, неосмысленной походкой пьяного. Пьяный слепой. Это было больпо видеть.

На привокзальной толкучке я купил Гоше игрушку - резинового чертика; надув его, выпускаешь воздух, и чертик пищит:

"Уйди! Уйди!" Поднатужился и выторговал Нине омуля. Он тут был и жареный, и копченый, и вареный, и соленый, с душком и без. Я выбрал копченый, на прочее великолепие деньжат не наскреблось.

Нина обрадовалась омулю и здесь же стала делить его на всех.

Представляете - рыбешку на тридцать с лишним гавриков! И Гоша обрадовался подарку. С ходу овладев технологией, он без устали надувал чертика: "Уйди! Уйди!" - завороженно прислушивался.

Пока чертик не лопнул: Гоша перестарался, надувая. Что тут было! Море слез, океан горя. А я не очень переношу детские слезы. Клял себя: купил бы непрактичней игрушку, остолоп! Колбаковский подарил Гоше фонарик, и мужик утихомирился. Но до этого слез вылил море не море, а ведро, это точно.

Мы съели омуля, лопнул чертик, опробован подарочный фонарик, а эшелон все не отправлялся. Я снова вылез из вагона, пошел на базарчик, хотя делать там мне было абсолютно нечего. Побродил по рядам и наткнулся на Ранку. Батальонная повариха, перетянутая в талии, сияя медалью "За боевые заслуги", одинокая, гордая, величественная, плыла по толкучке, словно мстя своим одиночеством, гордостью и величественностью всем этим невоевавшим теткам и воевавшим мужикам, которые на фронте надоедали ей своей любовью, а теперь отвернулись, кобели. не знаю отчего, но я побоялся встретиться с Ранкой, отвернул в сторону. Хотя мне-то что?

Болтаясь по толкучке, прозевал отправление. На станции разноголосица паровозных гудков, и я не уловил своего. Случайно оглянулся - эшелон идет, выстукивают последние вагоны. Я чесанул, догнал, меня за руки втащили к себе связисты.

Еле отдышался. Отставать командиру роты не к лицу. Состав вскоре остановился, и я перебежал в свою теплушку. Нина сказала с укоризной:

- Разве можно так, Петя?

- А что?

- Как что? Поезд пошел, а тебя нет.

- Не буду отставать, слово офицера!

Пустячный разговор, а мне стало приятно. Значит, немного ей нужен. И на том спасибо.

Эшелон шел левым берегом Ангары, встречь течению. Оно было стремительное, у порогов вода закипала, пенилась. Колбаковскии не преминул выложить: в Байкал впадают триста речек, а вытекает одна - Ангара. Яша Востриков засомневался:

- Триста? А не сто? Я вроде где-то читал...

- А может, и сто, - согласился Колбаковскии. - Вон у Свиридова спытай, он родом здешний.

- Говоря по-французски, хрен его знает, - сказал Свиридов. - Меня это как-то не интересовало вплотную.

Справа над железнодорожным полотном нависали скальные глыбы, слева оно подчас шло впритык с Ангарой. Так было и с Байкалом: справа угрожающие скалы, слева, в нескольких метрах, голубая прозрачная вода. Эшелон и остановился перед семафором как раз в таком месте - Байкал рядом. Братва с гоготом и улюлюканьем выскочила из теплушек: есть шанс искупаться.

Наиболее ретивые подбежали к воде, сбросили обмундирование, в трусах и подштанниках полезли - и выскочили как ошпаренные:

озеро оказалось студеное. Я усмехнулся, вспомнил, как фантазировалось: войдем с Ниной в воду, она будет в трусиках и лифчике и будет опираться на мою руку. Опять усмехнулся. Нила даже не сошла на землю, стояла с Гошкой у кругляка, смотрела на меня.

Я нарвал букетик красных цветов, похожих на маленькие лилии, преподнес Нине. Она сказала:

- Чудесные саранки! Спасибо, Петя.

Я встал возле нее, и мы начали глядеть сверху на берег, где копошились солдаты, на расстилавшееся на многие километры озеро, стиснутое лесистыми берегами, на дымчатый горизонт. В разгар нашего созерцания Гошка сказал:

- Мама, хочу а-а.

Я остался у кругляша один. И вдруг сознание одиночества пронзило меня, как недавно пронзило предчувствие счастья. Да, я одинок, очень одинок, хотя и кручусь среди множества людей.

Это нелегко. Но когда-нибудь это кончится. После войны, когда наступит мир и жизнь потечет по мирным законам. Ну вот и успокоил себя. Уже потом до меня дошло: в этом что-то комичное - Гошкино "хочу а-а" и следом вселенские страдания по поводу моего одиночества.

Паровозный гудок развеял глубокомысленные рассуждения лейтенанта Глушкова и всколыхнул незадачливых купальщиков на бережке. Спешно натягивая штапы и сапоги, солдатушки рванули к эшелону. А машинист видать, дядька озорной - нарочно еще сигналил, гудок за гудком, подбавляя паники.

Берег обезлюдел. Ленивая накатывала волна, у песчаной кромки переворачивала выдранное с корнем дерево. Чайки, всамделишные, морские, падали к воде, выхватывали серебристо сверкавшую рыбу. Вдали белел косой парус. Старшина Колбаковский сказал:

- Товарищи хлопцы, споем про Байкал? Эту - "Славное море, священный Байкал...". Кхм! Голосу нету. Свиридов, запевай!

- Слов не помню, товарищ старшина,

- Тю! Местный - и не помню слов?

- Зато он все танги знает, - сказал Кулагин, подначивая.

Свиридов высокомерно вздернул брови, поглядел на Кулагина, как бы говоря: и ты туда же, рак с клешней! Колбаковский сказал:

- Товарищи хлопцы, когда поезд проезжает мимо Байкала, завсегда эту песню играют. Поедем по Забайкалью - беспременно сыграем "По диким степям Забайкалья...". Ежели не проспим.

А сейчас - приготовились, начали, три-четыре...

Колбаковский запевал, путая, перевирая слова, остальные подтягивали не весьма уверенно. Молчун Погосян высказался:

- Замечательная песня! У нас в Армении, под Ереваном, есть свое озеро, очень похожее на Байкал. Севан! Поменьше, конечно...

- Я где-то читал, что Байкал самое глубоководное озеро в мире. - сказал Яша Востриков.

Свиридов и на них, Погосяна и Вострикова, глянул надменно, через губу обронил:

- Промежду прочим, доподлинные сибиряки ни в жисть не скажут про Байкал "озеро", скажут "море". Он и есть море!

- Мы ж не сибиряки, - пробормотал уязвленный Востриков.

Байкал не хотел пас покидать. Он то мелькал сквозь деревья, то открывался песчапым, пляжным скосом и менял цвета: голубой, синий, зеленый - будто поворачивался к нам разными гранями. И еще: в одном месте, в бухте, он был тихий, зеркальный, а в другом месте, за мыском, уже ходили волны, пенились барашки.

Эшелон приближался к нему и отдалялся, нырял в тоннели и вырывался на свет, паровоз радостно, по-оленьи, трубил.

На прибайкальских станциях все больше было чалдонов и бурят, и Колбаковский посулил:

- Поедем по Бурятии - сплошняком будут буряты.

Свиридов не сморгнув сказал:

- А я предполагал, в Бурятии сплошняком будут итальянцы.

- Почему итальянцы? - спросил Колбаковский и понял: Свиридов ехидничает. Старшина показал ему кулачище, но большего сделать не в состоянии, ибо аккордеон находился в руках у Свиридова. Не отнимать же принародно.

Трубит паровоз, стелет над составом дымную гриву. И проносятся бессчетные и безвестные речки и села, леса и поля, горы и равнины. Огромные пространства преодолел эшелон, и огромные пространства лежат впереди. На все четыре стороны немереные просторы. И мне подумалось, что на этих великих просторах должны рождаться великие люди. И они рождались, украшая собой и прославляя своими деяниями родину. Их в нашей стране немало.

Но еще больше простых смертных. Впрочем, что это обозначает - простые смертные? Не приемлю этого понятия. Все люди смертны, и все люди сложны. Но есть, разумеется, выдающиеся и есть обычные. Обычные - если каждый порознь. А все вместе - народ, великий народ. Включая, само собой, и выдающихся. Короче: великая страна - великий народ. Горжусь, что принадлежу к такому пароду.

И опять проносились сопки в сосняке, распадки, где прыгал с камня на камень бурливый поток, лесопилки, огороды на песках - картошечка на них первый сорт, - молочнотоварная ферма и одинокая береза на бугре, словно отбежавшая от своих подруг, с зеленым платком на белых плечах. И Свиридов, будто угадав мои мысли насчет платка, заиграл "Синий платочек". Который падал с опущенных девичьих плеч. Спасибо, не пел. Только наигрывал. Что в этом мотивчике? А я слышу, как его поет любившая меня женщина, и словно я уже иду по институтскому коридору, остриженный под пулевку и оттого лопоухий. А потом был старшина Вознюк, была его сестра, намного старте меня, был эшелон из Лиды на фронт и была вся война. Да, я прошел всю войну. И снова смогу пройти? Наверное. Если надо. Надо!

День складывался удачно, без происшествий. И вдруг в УланУдэ случилось чепе, точнее - едва по случилось. Переволновался я здорово.

Вокзал в Улан-Удэ небольшой, а перрон - футбольное поле, гуляй - не хочу. Мы с Ниной и Гошей прогуливались по этому

перрону, не торопились эшелон на первом пути, рядышком, без паровоза, - лузгали семечки, которыми нас угостил Миша Драчев, и беседовали втроем. Вернее, я спрашивал Гошу, оп отвечал не мне, а матери, и она уже говорила мне. Примерно так: "Гоша, хочешь карамельку?" - "Мам, а он как думает? Конечно, хочу", - "Георгий не возражает против карамельки". Мы с Ниной смеялпсь, парень был пасмурен, суров - не выспался.

Прошли перрон из конца в конец и тут увидели толпу, выплеснувшуюся с площади. Возбужденные крики, брань, военный патруль, милиция. Я оставил Нину с Гошей, раздвинул толпу и ахнул: в центре ее были Свиридов, Логачеев и верзила в штатском с закрученными назад руками, верзилу охраняли милиционеры.

Свиридовым и Логачеевьш занимались патрульные.

Я крикнул:

- Свиридов, что стряслось?

Он не услышал. Обернулся Логачеев, махнул рукой: мол, чего спрашивать, лейтенант? Стоявший позади меня пожилой кривоногий бурят сказал:

- Ты начальник? Шибко подрались.

Железнодорожник-усач сказал:

- Задерживали они его, ну, и схлестнулись...

Кто кого задерживал? И зачем? Что схлестнулись, вижу: на физиях кровоподтеки, гимнастерки порваны, запачканы. Верзила тоже помят.

Толпа поперла к комендатуре, и я туда. Подбежал бледный, злой Трушин, заорал мне в ухо:

- Драку заварили! Позор! А ты, раздолбай, прогуливаешься с дамочками!

- Да не шуми ты! Сам раздолбан! Пойдем к коменданту разберемся.

- Поздно разбираться! Распустил личный состав!

Но прежде чем разобрались, я бегал за комбатом, вместе бегали к дежурному по вокзалу, к диспетчеру, к начальнику станции, к военному коменданту, чтоб эшелон задержали до выяснения обстоятельств происшествия. А выяснили довольно быстро. И вот что. По площади бежал уголовник-рецидивист, а за ним гнался милиционер. Услыхав крики: "Держи, держи!" - Свиридов бросился наперерез преступнику, тот взмахнул пожом, по Свиридов дал ему подножку. Преступник сразу вскочил, накинулся на Свиридова, однако подоспел Логачеев и выбил нож. Дальше шла рукопашная в чистом виде, без оружия. В итоге железнодорожный комендант приказал отправлять эшелон, комоат объявил благодарность Свиридову и Логачееву, а Трушин

сказал мне:

- Радуйся, ротный! Порядок! Здорово все разрешилось!

- Здорово-то здорово, по тебе бы не грех извиниться.

- Перед кем это?

- Передо мной, например. Наорал с бухты-барахты...

- Еще чего, извиняться! Да ты кто, солдат либо кисейная барышня?

Пришлось признать, что я солдат, а не барышня. Ну что за спрос с него, с Федьки Трушина? Так уж он устроен. Не помру без извинении.

Нина зашивала гимнастерки Свиридову и Логачееву. Старшина Колбаковский бурчал:

- Герои! Лезут на рожон не глядючи, казенное имущество портют. Будете требовать новое? Выпь да ноложь? Но где оно у меня, где склады?

А я думал: ведь и Свиридов мог погибнуть от бандитского ножа, и Логачеев. Не струсили ребята, пошли на риск. Вот уж нелепо было бы, оставшись в живых на фропте, погибнуть так в тылу. Смелые ребята. Молодцы!

Солдаты одобряли поступок Свиридова и Логачеева, но как-то шутейно, со смешком: дескать, с уркой связались. Нина, орудуя иголкой, рассказывала, что в Новосибирске, Иркутске, Чите и других сибирских городах есть банды "Черной кошки", которые грабят и убивают, вообще за войну бандитни поразвелось. Я пе очень верил в эти "Черные кошки", но что после войны придется бороться и с беспризорностью, и с воровством, и с бандитизмом это факт. Одной победы мало, чтобы они исчезли. А затем я стал размышлять о смелости. На фронте смелость вызревала постепенно. У меня, к примеру, она прошла три этапа. Первый этап - трусил, и это прорывалось. Второй показная храбрость, покрасоваться любил. Третий - разумная осторожность, берег себя, но не по трусости, тут был разумный, взвешенный рнск. Правда, не всегда представлялась возможность быть разумно храбрым, приходилось бывать и безрассудно храбрым. Смотря по обстоятельствам.

И Свиридов с Логачеевым действовали по обстоятельствам. Главное - не струсили.

Мы проезжали Забайкальем, по старшина Колбаковский что-то не затягивал "По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...". Он не спал, философствовал:

- Чем путь-дорога хороша? Отоспишься, отъешься, передохнешь. Чем путь-дорога плоха? Писем не получаем! На месте, понятно, все получим, гамузом. Но сейчас-то, сейчас каково без писем? Невмоготу! Кто возражает?

Возражавших не было. Даже и те не возражали, кому писем неоткуда было получать. Вроде меня.

На станции Петровский завод (город именовался Петровск-Забайкальский) Нина сообщила мне: сюда на каторгу были сосланы декабристы. Нина рассказала, что на кладбище есть их могилы, а в городе домик княгини Волконской, в нем она останавливалась, когда приезжала к мужу. Из Петербурга ехала. Через всю страну.

На перекладных. Кладбище было на сопке, а напротив, на той стороне железной дороги, дышал внизу жаром, дымил, сверкал огнями металлургический завод - соседство двух эпох.

- Декабристы были и в Чите, - сказала Нина. - Там есть часовня декабристов, площадь названа их именем. Какой отваги и благородства были люди!

Я кивнул и подумал, что подвиг декабристов изумителен, этих дворян, поднявшихся за народ. И вот теперь, много лет спустя, народ, за который они шли на эшафот и каторгу, стал хозяином своей страны и показал всему миру, как нужно отстаивать свободу и справедливость. Помню по портретам мужественные, породистые лица, проницательные глаза, глядящие куда-то вдаль. Что они там видели, декабристы?

Эшелон мчал по Читинской области. Из сумрака смутно выступали очертания сопок, разъезды и полустанки швыряли навстречу россыпи огоньков. Перед тем как лечь спать, я обошел нары, пригляделся к спящим. Лица их не были породисты, аристократичны, но от этого они были не менее притягательны.

Я смотрел на них и сознавал: это лик народа, неумирающего, вечного. Я связан с ними так же, как и они со мной. Возникшее было чувство разобщенности, отчуждения я должен перебороть. С этими людьми мне жить, воевать и, если выпадет, умереть. Это среди них, с их простецкими, а то и некрасивыми чертами, были и капитан Гастелло, и Александр Матросов, и Юрий Смирнов, и Иван Кожедуб, и Олег Кошевой, все большие и малые герои только что отгремевшей войны. И кто может предугадать, что падет на их долю в новой войне, на которую они едут вместе со мной. Мне не спалось. Вспоминал о расстрелянной в Ростове маме и о погибшем в Смоленске лейтенанте Сырцове, думал о Гошке, который разговаривал во сне, - впечатлительный, чертенок, - и о бледной, худенькой, в рванье девчушке, махавшей нам, когда эшелон шел по Белоруссии. Оттесняя другие, росла и крепла мысль: ладно, мы отвоюем, отмучимся, но дети-то должны жить, не ведая войн. Неужели на планете не настанет мир? За что же тогда мы воевали?

Нет, мир будет! Для всех на земле. Дети, вы еще скажете нам

спасибо.

Первый день мира!

Кенигсберг горел. Над городем вставали, переплетались дымные столбы, самый большой в центре, подле Королевского замка.

Мы с ординарцем Драчевым прошли по развороченной бомбами улице, на зубчатых башнях, на балконах, на флюгерах стреляли на влажном апрельском ветру красные флаги и флажки победы, и на закопченных, поклеванных осколками стенах сохранившихся домов - масляная краска: "Wir kapitulieren nicht!" Врете, капитулировали. Детыре дня подолбала вас наша артиллерия и авиация, затем штурманула пехота с танками - и сдались как миленькие.

А ведь немцы считали этот город-крепость неприступным. Мне Эрна рассказывала, как доктор Геббельс (доктор, а?) выступал по радио: Кенигсберг никогда не встанет на колени! Ему вторил гаулейтер Кох: Пруссия - это железные ворота Германии, и они не откроются перед русскими! Что-что, а трещать по радио и в газетах гитлеровские заправилы умели, демагоги и заклинатели.

Но слова - это одно, дела - другое. Кенигсберг пал под нашими ударами. Иначе и быть не могло.

Некогда было шататься по городу, заходить в дома. Но в один мы с Драчевым все-таки зашли. Дом был в глубине двора, увитый декоративным кустарником, будто замаскировался. Дверь сорвана, окна высажены. Хозяев не было. Мы побродили по комнатам - паркет, люстры, картины, зеркала, чучела птиц, оленьи рога, кабаньи морды, в распахнутых шкафах на плечиках костюмы и платья, внизу попарно обувь, на кухне - кафель, полотенца с вышитыми изречениями, на полочках посуда, бутылки.

Чистенький, аккуратненький, отлаженный быт обывателей, в который ворвалась война. Вышитые полотенца висят, а хозяев нет.

Где они, что с ними? И я подумал, что возмездие заявилось в Германию, хоть и задержалось в пути, шло целых четыре года, но все же вот оно, во всем - в том числе и в судьбе этого дома и его обитателей. И я подумал также: "Суть не в том, что возмездие настигло именно немцев. Оно настигло наших врагов. Они могли быть и не немцами. Но немцы посягнули - и поплатились. И всякого, кто посягнет на мою страну, ожидает такая участь, ибо моя страна непобедима и бессмертна!" Может, я и не столь высоким штилем думал, но об этом.

Мы вышли с Драчевым из дома. Немки катили по мостовой

тележки со скарбом, - их испуг обещал завтрашнюю благосклонность. Ветер дул с залива, обещая разогнать дым пожарищ, когда они ослабеют. Блеклое низкое небо нависало над городом, обещая с весной подняться, засиять и вынести на себе солнце.

За углом мы увидели сорванные, перекрученные рельсы, сошедший с них, завалившийся трамвайный вагон с обгорелыми боками. Драчев присвистнул:

- Трамбабуля! Тыщу лет не катался, товарищ лейтенант!

- Еще покатаешься, - сказал я. - Только билет не забывай брать.

- А точияком, товарищ лейтенант! Я завсегда зайцем норовил. - И Драчев зашелся в счастливом, беспечном смехе.

Короткая летняя ночь была на исходе. После продолжительных, выматывающих своей неопределенностью стоянок эшелон шел ходко. Вагон болтало, раскачивалась "летучая мышь", звенели ведра, котелки, кружки. Дневального, попробовавшего встать - прикрыть дверь, кидало из стороны в сторону, и оа ворчал:

- Качка, ровно на пароходе...

На остановках он по моей просьбе спускался, узнавал название станции, докладывал мне, а я сообщал Нине, хотя она и так все слышала. Такой тройной, что ли, разговор. Этак вот втроем мы беседовали в Улан-Удэ: я спрашивал Гошу, он отвечал Нине, а Нина говорила мне. Сейчас Гоша спит, Нина и я сидим у его ног на парах. Я молчу. Нина, оживленная, треволнения позади, Читу не минуем, - комментирует донесения дневального: перевалили Яблоновый хребет, очень крутой, паровоз-толкач отцепился, без толкача на хребет не въедешь, пригород проехали, вон-вон, слева. Я вспомнил: в пригороде служил сукин сын Виталий, капитан-мерзавец, подогреваю себя этим воспоминанием, но оно проходит как-то боком, не весьма задевая.

Нина уже собрала вещички, оделась. Накинуть жакет - и готово. Гошу разбудим, оденем перед самой Читой. Уже скоро. Нина произносит:

- Вот и доехали. Спасибо тебе, Петя.

Не хочется говорить, однако я отвечаю:

- Не за что. Да еще и не доехали.

- Считай, я дома! Сейчас будет озеро Кенон, за ним - Чита-первая. это товарная станция. А после - Чита-вторая, пассажирская.

- Тебе где сходить?

- На Чите-второй.

Разговор меня почему-то утомляет, и я умолкаю. Нина

принимается расталкивать Гошу, он хнычет спросонок, капризничает.

Помогаю одевать пацана, он роняет голову, спит сидя. Нина сердится, трясет его:

- Проснись, засоня!

- А я проснулся! - говорит Колбаковский и свешивается с нар.

Ложась спать, он наказал разбудить его, когда Нина приедет.

Не дождался, сам проснулся. Встал, зевая, и Драчев. Ко мне:

- Товарищ лейтенант, дозвольте, и я провожу?

- Нет, - отвечаю, - я справлюсь.

- Нехай товарищ лейтенант проводит!

Оказывается, и Микола Симоиенко пробудился. Хотят попрощаться с Ниной. Ну что ж, пожалуйста. А провожу ее до дома я один.

Все правильно: слева мокро зачернела под береговыми фонарями вода Кенон. Справа, на сопке, - домишки, тоже под лампочками, это Чита-первая, железнодорожный поселок. На Чпте-первой пас продержали полчаса. Эти тридцать минут для меня и мчались, и канителились. Мчались потому, что не хотелось расставаться с Ниной, а оно было неизбежным, расставание. Канителились потому, что хотелось быстрей совершить это неизбежное и тем спять с себя некий груз, стать независимым. Глупо? Возможно. Смешно? Не так уж чтобы.

Паровоз прогудел, вагоны дернулпсь, загремели буфера. Поезд медленно-медленно прошел до железнодорожного моста, простучал по нему над речкой, которую Нина назвала Чптинкой, - маленькой, чепуховой, - и, не успев набрать скорость, сразу же за мостом стал тормозить. Нина взволнованно сказала:

- Чпта-вторая!

Сопровождаемые Колбаковскпм, Спмопепко, Драчевым и в последний момент вскинувшимся Свиридовым, мы вышли на перрон.

Нина несла сумку, у меня на руках блаженно посапывал Гоша.

Воротами рядом с вокзалом выбрались на площадь, здесь ребята остались: кричали вслед Нине всяческие пожелания, махали пилоткамгг. она помахала им косынкой.

- Сюда, налево, - сказала Нина. - Пойдем по Бутппской, отсюда недалеко, три квартала, не беспокойся.

- А я и не беспокоюсь.

- Не отстанешь? Потопали резвей.

Площадь была заасфальтирована, а улица - где кирпич, где пе мощена, сапоги утопали в песке. Справа серел глухой забор стадиона, слева чернели рубленые избы, белели четырехэтажные

дома. Тополя смыкали кроны, не пропуская жиденький свет уличных фонарей. Город, раскиданный по сопкам, спал. Тишина. Безлюдье. Протарахтела полуторка, резанув фарами, - и опять тихо.

Мы молчали. Пипа шла чуть впереди, и я смотрел на нее.

В сущности, мне осталось это делать совсем не долго. Она уйдет из моей жизни так же, как и вошла в нее. Надо было б что-то сказать ей, да не находил слов. И она должна была что-то говорить мне. Но тоже не говорила. А может, ничего и не нужно этого?

Улица вела наверх, и мне было видно, как Нина подается вперед, преодолевая подъем. Помочь бы ей. Взял бы под руку, кабы не Гоша. Он прижался ко мне. уткнулся носом в грудь. Чем дальше, тем тяжелей становился, стервец.

Боря одышку, Нина заговорила. Вот это драмтеатр. Областной.

Это радиокомитет. Это площадь Ленина, о которой рассказывал старшина Колбаковский, вон штаб Забайкальского фронта, вой горсовет. Я думал: "Разве об этом надо говорить?" - ц отвечал ей:

- Угу. Понятно. Ясно.

Свернули за угол, под каменным сводом прошли в тесный, замусоренный двор, поднялись но деревянной лестнице, расхлябанной и сношенной, на второй этаж, в конце коридора Нина открыла ключом обитую войлоком дверь. Для чего-то я отметил: по одну сторону коридора все двери обиты войлоком, по другую - мешковиной.

В комнате была затхлость, сырость. Нина открыла форточку, включила свет, сказала:

- Клади Гошку вот сюда.

Я положил, куда приказали, - в детскую сетчатую кровать.

С ней была состыкована койка, застеленная байковым одеялом, двое взрослых вполне помещались на ней. Нина сказала:

- Спасибо тебе, Петя. Ты хороший человек!

- Да ладно тепе, - сказал я.

- Спасибо, и ты должен возвращаться, я боюсь, как бы не отстал... Да, погоди! Напишу свой адресок на всякий случай. Может, черкнешь когда...

Я сказал, что не люблю писать письма, она не ответила: подала листок. Я сложил его, опустил в карман гимнастерки, застегнул пуговицу.

- Иди, Петя, иди. Не заставляй меня переживать.

- Ну, коли так, до свиданья. Гоша, будь здоров! - Я церемонно, шутовски козырнул детской кроватке, где пацан спал без задних

ног, и повернулся к Нине.

Она подошла ко мне, положила руки на плечи и поцеловала в губы.

- А теперь прощай. Иди к эшелону.

- Прощай, Нина, - сказал я и шагнул к двери.

На улице я запрокинул голову - окно светилось, по никого в нем не было. По-граждански засунув руки в карманы, я стал спускаться по улице Бутина. Небо на востоке желтело, предутренняя свежесть знобила, первые пешеходы, невыспавшиеся, смурные, глядели будто сквозь меня. Внизу, на станции, перекликались паровозы.

Эшелон и не думал отправляться. Паровоза не было, теплушки закрыты. Осмотрщики лазали под вагонами, проверяли буксы.

Один такой чумазый, с молоточком, вынырнул из-под нашей теплушки:

- Закурить не найдется, товарищ генерал?

- Как не найтись, товарищ генерал-директор тяги! Держи!

Осмотрщик хохотнул, сверкнув белыми зубами на черномазой роже, кинул в рот папиросу. У меня першило в горле, словно часовую речь толкал, хронический катар. Я пооттягивал кожу под подбородком, докурил. Осмотрщик вагонов сказал:

- Силища прет на восток, а, лейтенант? Кисло придется самураям! Они предчувствуют, крысы. Японский консул в Чите - так тот кажин день сидит здесь с удочкой под мостом у Читипки, эшелоны считает. Считай, считай, все едино хапа Г(удет!.. Ну, заболтался я с тобой, паря...

- Послушай, - сказал я, - случаем, не знаешь, куда эшелон пойдет?

- На Хабаровск, на Маньчжурку или в Монголию?

- Вот именно.

- Случаем не знаю, но догадываюсь - в Монголию. От Борзи по однопутке на Соловьевск, оттель на Баян-Тумэнь, к тарбаганам в гости! А оттель уже своим ходом в Маньчжурию, к хунхузам в гости! - Он хохотнул и полез под соседнюю теплушку.

Небо наливалось синью и желтизной, воздух светлел, и четче стали контуры сопок, окружавших город. Из вокзала вышел комендант со свитой, величественный, с внушительным, пивным животом майор, в свите - тощие сержанты, они прошествовали вдоль эшелона. На привокзальной площади чихали автомобильные моторы, и забубённый бас куролесил: "Когда б имел златые горы и реки, полные вина..." Прощай, Чита! Чи та, чи не та.

Я залез в теплушку, выпил чаю. С чего жажда? Сел к столу.

Раскрыл иллюстрированный журнальчик: на фотографии Красная площадь, Мавзолей, слово "Ленин". Трибуны Мавзолея пустынны, обычно же печатают снимки, где трибуны заполнены руководителями.

Веки слипались. С чего так устал? Ночь не поспал? Подумаешь!

Бывало, и по трое суток не спал. Не худо, однако, прилечь.

Лег и уснул. И сразу увидел Гагру, Черное море и утонувшую девочку. Проспал я не более часа. Рассвет еще не утвердился, оконце светло синело. Колеса постукивали, перебирая стыки. Все привычно. И даже привидевшийся сон в дороге привычен. Но на этот раз я не плакал, пробудился с совершенно сухими глазами.

Я уставился на окошко. Из синего оно превратилось в голубое, из голубого в желтое, из желтого в розовое. Солдаты еще не просыпались. Я приподнялся на локтях, оглядел спавших. Спустился на пол и оглядел спавших на нижних нарах. Знакомые лица людей, с которыми скоро - это неизбежно пойду в бой. У каждого своя судьба, свой характер. Каждый из них личность. Как и я.

Наверное, не всегда бывал к ним справедлив. Как и они ко мне.

Но вот сейчас, не кривя душой, могу сказать: люблю их такими, какие они есть, - святые и грешные. Они и в этой теплушке, и в соседней, куда я, увы, редко заглядывал, и в теплушках других рот. У нас разные характеры и судьбы, по одеты мы одинаково, в армейское, у нас одно оружие и одна цель.

Я подошел к двери и откатил ее. Оттесняя запахи портянок, кожи, табака, ружейного масла, в теплушку вторгся горький и тревожащий запах полыни. Эшелон описывал дугу вдоль безлесной, травянистой долины, отграниченной сосновыми сопками. Из-за двугорбой сопки выкатывалось солнце, приплюснутое и набрякшее багровостью, сулящее перемену в погоде, такое солнце я не раз видел на войне. На топ войне. А может, этой и не будет? Может, просто устроим военную демонстрацию, попугаем японцев, они и дрогнут, пойдут на попятную? Ведь мощь у нас колоссальная, замполит Трушин прав. Ну, а если все-таки война состоится?

Конечно, состоится. Тогда пусть она станет быстротечной и победоносной - так будет меньше жертв. Но и при этом - лучшем, быстротечном - исходе на войне, как известно, могут пострелять.

А где стреляют, случается, убивают. Знаете ли вы об этом, Вадик Нестеров. Яша Востриков и остальные семнадцатилетние?

Я стоял у кругляша, ежился от утреннего холодка, табачил натощак, и багровое солнце вставало пад миром, и тревожно и

горько пахло полынью.